



АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР

ЖИТЬ ВМЕСТЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР

ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Избранные очерки и эссе

Омск
2013

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6
Л42

Лейфер А.Э.

Л42 Жить вместе. Избранные очерки и эссе / Вступ. ст. В. Физикова. – Омск, 2013. – 384 с.
ISBN 978-5-8042-0333-8

«Книга избранных очерков и эссе А.Э. Лейфера, выходящая к семидесятилетию автора, отмечает в его жизни и судьбе время, когда пришла пора не столько «разбрасывать камни», но – «собирать их», когда хочется благодарным словом помянуть всех, кто поддержал тебя добром...» – пишет в предисловии литературовед, кандидат филологических наук В.М. Физиков.

В книгу вошли произведения разных лет. Первая часть сборника «На добрый воспомин» включает очерки, печатавшиеся ранее. Во второй части «Я – блогер» в основном представлены эссе 2011–2013 годов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-8042-0333-8

© Лейфер А.Э., 2013
© Министерство культуры
Омской области, 2013

Талант задушевной памяти

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. Пушкин

Книга избранных очерков и эссе А.Э. Лейфера, выходящая к семидесятилетию автора, отмечает в его жизни и судьбе время, когда пришла пора не столько «разбрасывать камни», но – «собирать их», когда хочется благодарным словом помянуть всех, кто поддержал тебя добром. Вполне логично, что начинается это «избранное» художественным очерком об основании Омска: Александр Лейфер начинал свой путь в отечественную культуру прежде всего многолетними занятиями в области исторического и литературного краеведения и, конечно, не случайно был в числе создателей Омского литературного музея. И эта «первая любовь» проходит через всю жизнь, являясь и основой художественного метода его документальной прозы, всегда опирающейся на реальные факты и невымысленные материалы (письма, мемуары, найденное в архивах).

Продолжая дело своего Учителя А.Ф. Палашенкова, автор воссоздаёт как историк и литератор и эпоху рождения первой Омской крепости, и события последних десятилетий, увлекая читателя правдивыми деталями быта, точным знанием психологии многочисленных персонажей, удивительным впечатлением полной достоверности повествования.

Два литературных портрета крупным планом выделяются в нём: Андрея Фёдоровича Палашенкова, учёного, музейщика, краевед-литератора и талантливого сибирского поэта Вильяма Озолина. Ценность очерка о Палашенкове не только в подробном, любовно выписанном многогранном характере нашего земляка, истинного подвижника русской земли, но и в том, что Александр Лейфер впервые вводит в научный и читательский оборот множество не публиковавшихся ранее уникальных материалов из личных и государственных архивов. В очерке привлекает и ярко выраженная нравственная позиция автора: не спокойно-академический тон, а глубокая сердечность пронизывает рассказ о друге и учителе. Лейфер не скрывает и горькой иронии по адресу тех, кто при жизни с трудом «терпел» Андрея Фёдоровича, да и культуру в целом.

Документальная повесть об омском шестидесятнике, сибирском поэте Вильяме Озолине, родившемся в городе на Иртыше, но оказавшемся здесь «чужаком», о личности яркой, крупной, истинном экстраверте и вместе – сыне репрессированного «врага народа», тоже поэта Яна Озолина, – занимает особое, центральное место в «Избранном» Александра Лейфера. Эта книга в книге, уже дважды изданная ранее (2003 и 2006 годы), особенно дорога автору, а потому, пожалуй, и самая сердечная из всего им написанного. В ней создан не только обаятельный и объёмный портрет многолетнего близкого друга, но и впервые осмыслена история его непростого духовного развития. Точнее, две судьбы – героя и автора – развёртываются параллельно. А заодно пишется картина литературных, и не только, нравов многих десятилетий в Сибири и Омске.

Озолин, «выдавленный» из родного города, где нельзя ему было ни вуза окончить, ни получить достойной работы, ни публиковаться, уехал жить в Читу, потом в Барнаул, не оставляя мечты вернуться. Множество человеческих судеб, полузабытых событий, тенденции и закономерности литературного процесса последней трети XX века явлены здесь читателю. Уверен, в частности, что многих заинтересует резкое, бескомпромиссное объяснение Озолиным причин раскола единого в советские годы Союза писателей. К чести автора, который давно придерживается демократической идеи плюрализма, уважительного отношения к чужому и даже чуждому мнению, Лейфер не всегда и не во всём разделяет жёсткую позицию Вильяма, стремясь, тем не менее, понять её: «...вступать в запоздалый спор со своим другом не стану. Он был, как и все мы, растерян...».

Судьба Озолина проясняет и такую важную особенность, характерную для писателя любого уровня в России: когда поэтам не хватает воздуха, время их убивает. Так было с Блоком, Маяковским, Твардовским... Думаю, время «помогло» уйти до срока и Вильяму Озолину, чуждому среди своих на родине, где преобладало сдержанно неприязненное, прохладно настороженное отношение и к его полубогемному образу жизни, и к творчеству. А потом скитания по геологическим партиям и дальним морям, вечное «латанье дыр» для скудных заработков, остро воспринятые «идеологические холода» после короткой хрущёвской «оттепели»...

Высокая драма жизни Озолина объясняет и пережитое в поздние советские времена талантливыми омскими живописцами Николаем Третьяковым, Валентином Кукуйцевым, Николаем Брюхановым, обвинёнными идеологами от тогдашней власти в формализме

и так называемом абстракционизме со всеми вытекающими последствиями.

Не пропустите, читатель, в конце первого раздела книги Александра Лейфера короткие записи из блокнотов разных лет, по форме способные напомнить странный эссеистический жанр стихотворений в прозе, а по сути скрепляющие разнородные составляющие книги в единство злободневной и в то же время извечной нравственной проблемой и душевной заботой – потребностью разглядеть **в любом человеке человека**. Она, полагаю, восходит к этическому космосу русской классической литературы и, в частности, к Достоевскому, давнему и любимому «герою» многих исследований и трудов Александра Лейфера. Помните? «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Убедён, что и наш земляк мог бы подписаться здесь под каждым словом. И неслучайно эссе Лейфера, сложенные вместе «из разных блокнотов», дало заглавие всей книге. И потому я бы выделил в ней животворное духовно-нравственное тепло и принципиальность гражданской позиции.

Так, очень важна для автора душевная память о родовых семейных корнях. Снова и снова, продолжая одну из главных тем своей предшествующей книги «Блог-пост, или Кровь событий» (Омск, 2012), возвращается автор к истории своей семьи. Пишет о своих дедах, матери Зинаиде Васильевне Болотовой, окончившей в Омске знаменитый Худпром, художнике и преподавателе педучилища. Об отце Эрахмизле Яковлевиче Лейфере, физике, в числе первых удостоенном звания заслуженного учителя России. И рассказ ведёт так искренно, на таком уровне исповедальности, побуждая читателя к доверительному чтению. Как уважительно и любовно пишет он, например, о своей бабушке Глафире Алексеевне Болотовой – в её маленьком домике на окраинной 3-й Восточной улице внук и вырос. Думаю, многих читателей тронет за живое сюжет о том, как молодой студент Саша Лейфер добивался для бабушки, давно оставшейся без мужья-кормильца, пенсии, и с какой важной гордостью она потом получала и откладывала про чёрный день ежемесячное пособие в семь рублей, что «отвалило» ей щедрое государство. А как психологически точно и мягко в этом совестливом повествовании объясняется, почему внук Глафиры Алексеевны, живший по соседству с осквернённой в советское время церковью, «не внял тихим увещаниям» бабушки и остался атеистом, хотя и не столь уж воинствующим. Кажется, что это нравственная история многих из нас...

В простых и близких каждому рассказах о семье, школе, улицах детства и юности родного, «единственного на земле города Омска», в воспоминаниях об учителях и Учителях, о друзьях и товарищах – журналистах, музейщиках, литераторах, художниках – во всём этом дорогом сердцу «вспомине» щемящее чувство задушевной сопричастности чужой судьбе, волнение, переживание за другого человека, пусть даже и незнакомо тебе, но ожившего в слове. Бережное отношение к человеку, всё более редкое, к сожалению, в нашей нынешней жизни, является, на мой взгляд, **нравственным стержнем** всей книги Александра Лейфера. И в горестных заметках о переменах в душевном состоянии сибирского крестьянина, которыми делится с Лейфером-журналистом наш земляк, известный в России прозаик Александр Никитич Плетнёв, уехавший от городской суеты в деревенскую глубинку, – звучат те же боль и сострадание: «...современный крестьянин очень устал, во многое перестал верить, он лишён сил ко всякому сопротивлению, иногда доходит до скотского, крайнего состояния... Разрушено всё так основательно, что слишком большие нужны изменения – и внутренние, в человеке, и экономические, чтобы всё снова поднять. Как подняли после коллективизации, после войны, когда сам человек ещё был прочен. А сейчас человек сбит с толку, не может понять, в чём заключаются его интересы...».

И дорогого стоит полстранички из книги Лейфера, где автор рвёт сердце думами о нескончаемой войне в Чечне, на Кавказе. Не выдерживая сдержанно эпического тона, свойственного для книги в целом, он в сердцах восклицает: «Как не понимают наши респектабельные политики то, что с самого начала было ясно любому полуграмотному старику: этот народ победить нельзя... Всё оказалось зря: тысячи сгоревших солдатских жизней... Всё зря, ибо люди по-прежнему гибнут».

Можно понять автора, который, исповедуясь перед нами как на духу, признаётся: кажется, что сейчас все внешние условия для нормально-го литературного труда есть, а «дело идёт плохо, с натугой, в лучшем случае – рывками. Нет в моей жизни, видимо, главного – душевного, внутреннего покоя. А у кого он сейчас есть?»

Завершая эти вступительные заметки о книге Александра Лейфера, подчеркну: автор, нашедший свой жанр и стиль доверительно-искреннего, честного письма, поддерживает интерес читателя выразительностью деталей, характеристик, замечаний. Так сохраняется в его слове памятное и пережитое. Предположу, что он мог бы, подобно Герцену, автору «Былого и дум», сказать о себе: «Если я этого не напишу, со мной умрёт истина!»

Вадим ФИЗИКОВ,
кандидат филологических наук

НА ДОБРЫЙ ВСПОМИН

ЛАРЕЦ ПОРУЧИКА КАЛАНДЕРА

В прошлом, 2012-м, году налетели вдруг на меня коллеги-телевизионщики. Надеюсь, слово «налетели» их не обидит. Другого не подберу, так как мало того, что появились они внезапно (тут-то как раз ничего удивительного – именно так они всегда и появляются). Дело в том, что на этот раз больно уж неожиданным оказался для меня сам предмет разговора. «Давай-ка вспомни, – огорошили они меня, – о своём рассказе "Ларец поручика Каландера"».

Вот те раз!..

Исторический рассказик этот я написал аж в 1969 году. В книжки свои ни разу не включал. Правда, через двадцать пять лет, в середине девяностых, к рассказу вдруг проявили интерес и один за другим перепечатали его два местных, давно уже теперь не существующих журнала – «Земля сибирская, дальневосточная» (1994) и «Город» (1997). И снова двадцать почти лет молча покоился «Ларец» в старых газетно-журнальных подшивках. С тех пор, после «Города», я его и не перечитывал.

Есть у рассказа маленькая, но с очень хорошим, с редким и прекрасным человеком связанная, предыстория. То ли в конце 1967-го, то ли в начале 1968 года познакомился я с краеведом Андреем Фёдоровичем Палашенковым (1886–1971), стал бывать у него в деревянном домишке на тихой улице Успенского. А тогда только что его книжка вышла – знаменитые среди любителей местной истории «Памятники и памятные места Омска и Омской области». Которые он мне вскоре и подарил. Начал, помню, в тот же вечер читать, а в самом начале книги, сразу же после двух страничек, посвящённых основателю Омска полковнику И.Д. Бухольцу, – страничка и про его помощника, строителя Первой Омской крепости – «Артиллерии поручик Каландер». И заканчивается эта страничка цитатой из отчёта сибирского губернатора Матвея Гага-

рина в Сенат: «...А который поручик Каландер был, по воле Божии утонул, едучи к Тобольску, и в таких людях есть скудость».

Эта строчка из отчёта и «зажгла» меня. Вскоре я написал рассказ и напечатал его в «Омской правде», где тогда работал. Проиллюстрировал эту публикацию мой товарищ – редакционный художник Виктор Резниченко.

А короткий телесюжет с моим бессвязным рассказом об этом, извините за тавтологию, рассказе после визита телевизионщиков прошёл по 12-му каналу – в цикле «Живая история». Боюсь только, что вряд ли кто-нибудь что-нибудь из него понял. Поэтому и приглашаю к «исходнику».

Артиллерии поручик Каландер выбирал место. Он шёл по берегу навстречу медленно текущей воде и мерил глазом высоту обрыва. Люди, рубившие тальник, уважительно кланялись высокому светловолосому человеку в заляпанных грязью ботфортах. Все знали, чем занят сейчас швед: вчера был нарочный курьер из Тобольска от князя Гагарина Матвея Петровича с одобрением – строить на Оми-реке крепость.

Каландер, хватаясь за кусты, стал взбираться наверх. Лез долго, с передышками. Дрожали колени, не хватало дыхания – сказывалась страшная ямышевская осада, болезнь.

Наконец он забрался, прошёл ещё саженой пять и оглянулся.

«Дефензия* отсюда хороша», – сразу же подумал он.

Действительно: правый луговой берег виден весь, левая низкая стрелка, где построены два временных редута, – как на ладони, и сзади, только вырубить немного березняка, – тоже попробуй подступись – поле ровное, не овражистое, хоть фузею, хоть картечь применить можно. А главное – Иртыш виден далеко и вверх, и вниз – незамеченным никто не подберётся.

* Сектор обстрела.

Ночью Каландер зажѣг толстую серую свечу, а потом достал заветный чѣрного дерева ларец, который хранил ещё со времѣн учёбы в королевской академии военных наук. О, как смеялся бы рыжий мастер-столяр из далѣкого Стокгольма, если б ему сказали, что вещь его работы стоит сейчас на грубом берѣзовом столе, в сырой землянке, посреди дикой Сибири!..

Щёлкнул хитрый замочек – Каландер откинул крышку. Наверху лежал толстый фолиант – роман Рюдбека «Атлантида» – все четыре части, отпечатанные в Стокгольме на хорошей бумаге и переплетѣнные вместе. Каландер сам не знал, зачем до сих пор он хранит эту гадость, этот напыщенный, лживый бред. Интересно, что написал бы почтенный романист, если бы вдруг воскрес и увидел, как русская конница подмяла под себя колонну Шлиппенбаха, как в Полтавский лагерь ворвались калмыки, и один из них, радостно визжа, набросил аркан на шею двадцатипятилетнего поручика Каландера – недавнего восторженного почитателя «Атлантиды»?

Нет, пожалуй, он не выбросит этот тяжѣлый, обтянутый телячьей кожей том. Если Провидению будет угодно, чтобы артиллерийский инженер Каландер, сын бедного дворянина из Гѣтеборга, вернулся на родину, он напишет свой роман, он отпечатает его на последние деньги. Роман будет называться «История моего ларца, в котором хранилась "Атлантида" – книга великая, мудрая и поучительная». Пусть все почувствуют, как пахли десять тысяч мѣртвых соотечественников под июньским солнцем Малороссии, пусть чихнут от пыли, которую поднимали волочащиеся по московской мостовой знамѣна и штандарты полков его величества...

Каландер машинально раскладывал на столе бумагу, чертѣжные инструменты, перья и свинцовые карандаши. От тяжѣлых мыслей желание работать пропало. Он набросил мундир и вышел на воздух. Майская ветреная ночь была холодна. Перекликались часовые, кое-где краснели костры.

Самой реки в темноте не было видно, но ветер тянул с Иртыша, и близость большой и упругой воды чувствовалась по ровному прохладному дыханию.

Каландер озяб, спустился в землянку и сразу взялся за чертёж.

К утру план был готов.

Подполковник Иван Дмитриевич Бухольц довольно кричал над Каландеровой работой. Чем больше он рассматривал чертёж, тем больше тот ему нравился. Над плёсом Оми, недалеко от левой иртышской стрелки, стояла крепость. Она имела вид пятиугольный – совсем как у искусного француза господина Вобана, фортификатора во всей Европе признанного и известного. С четырёх сторон – ров глубокий, а пятая сторона из-за речного обрыва сама по себе неприступна. За ровом по валу палисад стоит, за ним – рогатки, надолбы от конного и пешего. А по углам пять болверков* обозначены, если в них батареи поставить – хороша дефензия будет.

Место пятиугольник изрядное обхватывает, можно будет и казармы, и казённые дома, и госпиталь, и цейхгаузы поставить. Форштадты с трёх сторон ровные, обширные, есть где и вширь податься... Ай да швед! Угодил!

Два года с лишним знал подполковник этого грустного, малоразговорчивого человека, и уже не раз благодарил Бога за то, что мудрецы из московской военной канцелярии дали тогда для экспедиции именно Каландера. Швед немало знал в баллистике, навигации, истории, геометрии и словесности. По-русски говорил бойко – научился за семь лет плена.

Более же всего поручик в фортификации был искусен. Тогда на Ямышевских озёрах их уцелело семьсот человек из трёх

* Бастионов.

почти тысяч. А могли и все погибнуть, не построй Каландер перед зимовкой так быстро ретражемент*. Всего-то и работали двенадцать дней, на пустом месте да на скорую руку делали, а ведь не смог джунгарский контайша** взять Ямышев, хоть и нагнал людей своих тысяч десять. Сколько ни ходили басурманы на приступ, сколько ни старались, – стоял ретражемент все три месяца. Если б не учинилась над людьми болезнь, если б не голод, держались бы, пока сикурс*** от Матвея Гагарина не подошёл. Но пришлось Ямышев с болью в сердце разрушать и вниз до Оми-реки ретираду держать. Так и не добрались до Яркента, не поглядели песочного золота. Но с Ямышева-озера все до последней фузеи, до последнего седла увезли, ничего неприятелю не досталось.

Инженера на дощаник в беспамятстве внесли. До конца всё держался, сам ходил людям указывал, под какой угол сколько пороху подложить. Сам хотел и взорвать свой Ямышев, да не успел – и его хворь скрутила. Так бы и умер Каландер, если б не канониры московские, с которыми он ещё до Сибири служил. Пока плыли – лечили его как умели, уток по берегам стреляли да утиным наваром поили, грудь пареными травами растирали.

...По ночам поручик бредил. Подполковник Бухольц пошведски знал ещё с Нарвы. С жалостью слушал он, как над разлившейся иртышской водой несутся проклятия какому-то Рюдбеку, раздаются женские имена, чёткие слова уставных команд... «Ваше королевское величество! – часто кричал больной. – На шее у Швеции петля! Излечили ли вы ногу, ваше величество, ведь в Турции хорошие лекаря?» Каландер очнулся тогда на третью неделю, а к концу пути поправляться стал – на стоянках гулял по берегу, с удовольствием ел горячую стерляжью уху. По приезде он быстро построил редуты и с нетерпением стал ждать губернаторского решения.

* Укреплённый лагерь.

** Титул монгольских (джунгарских) ханов.

*** Помощь.

Но вот и решение есть, и чертёж готов.

Бухольц обмакнул перо и вывел в верхнем углу плана свою подпись. Хотя яркентского золота не добыли, зато быть теперь городу на Оми-реке, спокойней спать теперь людям тарским, тобольским и чернолуцким.

Да и есть ли оно в Яркенте – золото?..

Вот уже три месяца ходит Каландер по стройке, меряет, проверяет, смотрит, как да что. Дело продвигается быстро. Руки солдатские по работе стосковались, топоры и лопаты так и играют. Вал люди дорыли, палисад ставить заканчивают. Пора уже болверки рубить начинать, а вместе с ними и казармы, чтоб в землянках не ночевать, гауптвахту, канцелярию...

...Седьмой месяц строит Каландер крепость, и уже скучно, уже тоскливо ему. Все главные работы сделаны, инженерного глаза уже не нужно. Сержанты всё с полуслова понимают, долго объяснять да особо проверять потом нет надобности. И всё чаще ходит Каландер по окрестностям, что-то прикидывает, о чём-то думает...

А думает он о том, что после многих викторий русскому государству теперь один путь – расти и мощнеть, что раз уж царь Питер, войну ведя, находит силы новые города строить, – не сломить теперь Россию. И пусть жалко товарищей, которых он закапывал в горячую полтавскую землю, пусть стыдно и больно за Швецию – русские правы, а не Карл, сидящий сейчас в Турции, у чужого стола. А раз уж ему, Каландеру, такая судьба выпала – вторую в жизни родину получить, надо этой родине по-солдатски служить.

А прикидывает инженер Каландер, что место здесь для города очень выгодное, пути хорошие – Омь-река вверх куда вьётся, Иртыш откуда спускается – мало кто знает. Скоро

сюда люди потянутся – и военные, и торговые. Пяти зим не пройдёт – мала станет крепость, которая сейчас кажется огромной.

И задумал Каландер большое дело: изучить ландшафт и составить чертёж целого города. Строить его с размахом, по-европейски, из кирпича – глины много кругом.

С кем бы поговорить обо всём этом? Не с кем. Все кругом заняты, дома достраивают, готовятся к зимовке. А сам подполковник Бухольц Иван Дмитриевич другими делами озабочен, к отъезду готовится в Тобольск, а оттуда в столицу – перед правительствующим Сенатом о несчастной яркентской экспедиции отчёт держать.

Не с кем поговорить...



Рисунок Виктора Резниченко

Бухольц уезжал. Прощаясь, уже на морозном ветру снял треуголку и трижды поцеловал шведа. Каландер тоже растрогался, смутился. Ни тот, ни другой не знали, что больше не увидятся никогда.

И уехал Иван Дмитриевич...

Всю зиму Каландер чертил, подсчитывал, составлял проект. Если его план понравится в Тобольске, если его затвердят в Санкт-Петербурге, он попросит в награду лишь одно: разрешение съездить на родину. Конечно, не сразу – потом, когда кончится затянувшаяся война, а в том, что она кончится скоро, Каландер не сомневался.

Он должен ещё раз увидеть землю, которая дала ему жизнь. Вряд ли он сможет там остаться навсегда, вряд ли. Его потянет обратно – к русским, к городу, который он построил. Но он должен вновь взглянуть на зелёные холмы Швеции, на её озёра, быстрые порожистые реки, услышать ещё раз, как поют девушки на празднике начала рыбной ловли, как вторят им колокольчики, скрипки и луры... Он должен побывать в родном провинциальном Гётеборге и узнать, живы ли его отец и мать...

...Лёд ушёл только с Иртыша, Омь ещё стоит – грязная, уставшая. Но поручик Каландер уже торопит омское начальство: велите смолить лодку, дайте ему деташемент* в пять человек – он поедет в Тобольск, к губернатору Гагарину с чертежом.

...Который день уже качается на иртышских валах утлая плоскодонка. Выгребают солдаты на Север – к столице городов сибирских. И сидит в плоскодонке голубоглазый человек, держит на коленях ларец заморской работы...

В январе 1719 года сибирский губернатор князь Матвей Гагарин представил в Сенат очередное ведение**. Кроме всего прочего, в нём было сказано: «...А который поручик Каландер был, по воле Божии утонул, едуци к Тобольску, и в таких людях есть скудость».

1969 г.

* Отряд.

** Отчёт.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ



«Библиотечные преступники» – так называется небольшой сборник статей, вышедший в Харькове в 1924 году тиражом пять тысяч экземпляров и являющийся сейчас немалой редкостью. Он состоит из трёх статей и предисловия. Статья В. Штейна «Библиотечные преступники» дала название всему сборнику. В него входят также работы профессоров А. Белецкого «Надписывающие на полях книги» и М. Алексеева «Гибель книг». В статьях этих приводится немало интересных, порой просто поразительных и забытых ныне фактов. Вот некоторые из них в моём изложении.

История книги свидетельствует, что массовые её уничтожения никогда не прекращались от глубокой древности вплоть до наших дней. Войска Цезаря сожгли Александрийскую библиотеку. В 406 году брошены в огонь книги Сивилл. В XI веке по повелению шведского короля Олая были сожжены рунические книги. В 1508 году при взятии Гренады испанский великий инквизитор Хименес предал огню пять тысяч Коранов. В 1510 году император Максимилиан повелел сжигать все еврейские книги, кроме Библии. Римляне сжигали книги и евреев, и христиан, христиане истребляли античную литературу; крестоносцы уничтожали драгоценные собрания Востока, а испанцы жгли и топили арабские; английские пуритане уничтожили много монастырских книжных собраний, и даже Кромвель сжёг библиотеку Оксфордского университета.

Есть факты и из русской жизни. В декабре 1888 года в Уральске было предано сожжению 1445 томов книг, которыми три дня топили печи местного хозяйственного управления. В числе уничтоженных изданий: Спенсер, Милль и полные комплекты «Отечественных записок», «Современника», «Дела» и др. Это постыдное деяние было оформлено актом за подписью трёх лиц.

Обычай пользоваться книгой в качестве упаковочного материала известен уже в глубокой древности. В 1854 году в египетской пустыне на груди одной из мумий был найден комок папируса: это были стихи одного из знаменитых поэтов древности Алкмана, произведения которого почти целиком утрачены для нас. Быть ли благодарным неизвестному гробовщику? Если бы ему не пришло в голову воспользоваться поэтическими произведениями Алкмана в качестве нагрудника для мумии, быть может, время не сохранило бы для нас эти вдохновенные строки античного поэта. В XIV веке один итальянский учёный, играя в волан, заметил, что его ракетка отделана античным пергаментом: он прочитал на ней отрывок из утраченного сочинения римского историка Тита Ливия. Учёный тотчас же побежал к мастеру ракеток и узнал, что все остальные части рукописи также пошли на отделку ракеток, а потому бесследно исчезли. В Российской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге хранится книга XIV века, приобретённая в одной из деревень Мезенского уезда Архангельской губернии. Некоторые листы её имеют следы употребления при клейке стен обоями. В 1869 году академику И.И. Срезневскому были присланы из Финляндии сто шестьдесят шесть оборванных и обгоревших листов: это были остатки сорока восьми древних русских книг, среди которых находились экземпляры, датированные XI и XII веками, большинство из них в течение многих лет служили переплётами и обёртками финляндских деловых бумаг, закладками и ярлыками. По-видимому, они были унесены шведами из новгородских книгохранилищ.

После смерти известного русского учёного И.П. Сахарова книги и остатки его бумаг были проданы по весу на петербургском толкучем рынке. Удалось спасти очень немного, в частности, жалкие остатки его богатейшей коллекции снимков с рукописей. Столь же печальна была судьба книг и бумаг другого русского книголюбца, одного из первых русских библиографов – В.Г. Анастасевича. После его кончины вся драгоценная библиотека и оставшиеся манускрипты оказались завязанными в кули и в ожидании наследников свалены в какой-то сарай. Целых двадцать лет пролежали они там в сырости и гнили, пока, наконец, полиция не решилась их продать с публичного торга. Никто из литераторов не был извещён об аукционе, и явились одни маклаки и маляры, которым была нужна бумага под обои. Они-то и купили кули по тридцати копеек за пуд. Уже когда было всё продано, об аукционе узнал библиотекарь Публичной библиотеки Ивановский. Он бросился к малярам, но было поздно: значительная часть купленного уже пошла в дело. С большими усилиями Ивановскому удалось кое-что спасти. И можно себе представить его чувства, когда в одном спасённом куле (а поступило в продажу много десятков), оказалось несколько экземпляров редчайшей книги Розенкамппа о Кормчей книге, много старинных латинских и иных сочинений, а главное – огромное количество библиографических карточек с чрезвычайно ценными заметками Анастасевича и его обширная переписка с современными литераторами.

Некто Пассиенен в XVIII веке, ревизуя швейцарские монастыри, произвёл в их библиотеках грандиозные хищения. В тех местах, где за ним особенно следили, Пассиенен предпринимал псевдонаучное изыскание, требовавшее продолжительных занятий. Для этого он просил, чтобы его заперли в библиотеке, из окон которой он выбрасывал особенно редкие книги и рукописи своим подручным, расставленным в подходящих местах. Изошрившись сам в подделках такого рода, он и близко не допускал знатоков к составленному им драгоценному собранию.

В 1871 году в библиотечных кругах прогремело дело, известное под названием «пихлериады». Бывший приват-доцент, библиотекарь Петербургской публичной библиотеки, учёный Алоизий Пихлер был пойман, когда уносил из библиотеки средневековое издание Творений Амвросия. При обыске на квартире Пихлера было обнаружено множество ящичков с упакованными в них книгами — для отправки за границу. Всего в ящиках нашли свыше... четырёх тысяч библиотечных экземпляров. Суд приговорил А. Пихлера к лишению прав и ссылке в Тобольскую губернию. Только вмешательство баварского правительства спасло Пихлера от фактического отбывания наказания и дало ему возможность окончить жизнь хоть и в великой нищете, но на свободе и на своей родине.

Бывают случаи, когда в основе книговредительства лежат, так сказать, мотивы высшего, идейного порядка. Известна такая, например, происшедшая ещё до революции не совсем обыкновенная история. В одной библиотеке был кем-то составлен довольно значительный отдел черносотенной литературы в стиле шмаковских «Еврейских речей». Долгое время этот отдел не привлекал читательского внимания, но затем находящаяся в нём литература неожиданно стала самой спрашиваемой. Только много времени спустя были установлены истинные причины такого интереса. Оказалось, что все книги из этого отдела, сохранившие свои переплёты и мрачные заголовки, каким-то чудом переменили своё истинное содержание. Под каждым переплётом были обнаружены совершенно не отвечающие заголовкам книги из каталога запрещённых изданий или, как они раньше назывались, «произведения подпольной литературы». Кто был истинным вдохновителем и исполнителем этого «преступления»: революционный ли кружок, действовавший в районе библиотеки, или кто-либо из библиотечного персонала, — так и не удалось установить.

А вот ещё случай. Старательно приходил посетитель в читальню и всё спрашивал первый том «Капитала» Марк-

са. В силу каких причин решил этот человек перенести свои занятия с книгой в другое, более удобное или более безопасное место, неизвестно, но чтобы обмануть бдительность библиотекаря, он принёс другую, равновеликую по объёму книгу в читальный зал, вырвал из переплёта «Капитал» и вставил в пустую папку переплёта другой книжный блок. При обратной сдаче библиотекарь не заметил подмены. Когда же она наконец обнаружилась, об этом случайно узнал некий купец Н., который очень обрадовался и тут же объяснил причины проявленных им чувств: «Есть эта самая книга у меня. Купил я её, думал, полезной будет мне в деле, потому "капитал" на ней написан. Начал читать – вижу: никакой выгоды от неё не будет, да и написано как-то тяжело. Желая подарить её вам в библиотеку». Долго потом ещё была эта книга в пользовании читателей и стояла на ней пониже заглавных строк – «К. Маркс. Капитал» – знаменательная надпись: «В дар библиотеке такой-то от купца такого-то».



*Рисунок
Виктора Резниченко*

В Испании повесили одного книжного торговца, который убил обладателя некой редчайшей книги, существовавшей лишь в одном экземпляре: все улики были налицо, убийство в целях грабежа доказано. Впрочем, преступник и не запырлся. Он прямо сказал, что ценил научные сокровища больше всего на свете, что, убивая людей, действовал только для спасения книжных драгоценностей. Для себя он не просил никакой пощады, а повторял только мольбу о сохранении в прежнем составе его книжного собрания. Перед оглашением судебного вердикта во время прений сторон обнаружилось, что существует и второй экземпляр этой книги. Подсудимый,

сохранявший до того времени полное спокойствие, внезапно стал безутешно рыдать. Когда же председатель выразил свою радость по поводу того, что в преступнике наконец заговорила совесть, он поспешил заметить, что его горе глубже и причина его слез – обнаружение второго экземпляра этой редчайшей книги. Этот случай напоминает другую историю одного французского библиофила. Он, впрочем, убивал не людей, а книги. Если он находил второй экземпляр уникала, то покупал его и сжигал.

В 1909 году московскому окружному суду пришлось иметь дело с неким «потомственным почётным гражданином» М.М. Козновым, вначале усердно работавшим над изучением гравюр в московском Румянцевском музее, а затем так же усердно занявшимся их хищением. Он продавал их, чтобы поддержать свое оскудевшее состояние. Всего Козновым было похищено гравюр на сумму свыше десяти тысяч рублей. Любопытно, что суд не только оправдал Кознова, но и оставил без удовлетворения предъявленный музеем иск.

Удивительная вещь – настоящими и опасными врагами книг были и ценители, и знатоки. Иные библиофилы и коллекционеры собирают красивые переплёты, другие – выходные листы: часто они вырывают из книги портреты, гравюры и иллюстрации, и, если такая страсть становится маниакальной, она грозит неисчислимыми потерями. Английский коллекционер Джон Бачфорд, рассказывал В. Адарюков, собирал одни только выходные листы, собирал без устали, объезжал всю Англию и тратил на это огромные деньги. Этим варваром было собрано таким образом сто переплетённых томов одних выходных листов. Собрание это находится сейчас в Британском музее. Знаменитый правовед и ценитель искусства Д.А. Ровинский собирал гравированные и литографированные портреты, вырывал их из книг и говорил, что этим он даёт возможность интересующимся только этой книгой задёшево купить дефективный экземпляр.

Страшным врагом книжных коллекций библиотек, особенно крупных, хранящих ценные и редкие издания, является вор-профессионал. Он ловок, знает все обычаи и правила библиотеки не хуже её служащих, хорошо осведомлён о недостатках техники по выдаче и хранению книги и не останавливается ни перед какими препятствиями. В недавнем прошлом в одной из крупнейших библиотек была создана целая подпольная организация, действующая под руководством опытного и знающего «книголюб». Если кому-то нужна была именно та или иная книга, а её оказывалось трудно или невозможно достать, шли к нему с просьбой выручить. Благожелательный «книголюб», если разыскиваемого издания у него не было, справлялся по особой тетрадочке, в какой библиотеке её можно достать (в тетрадке и шифры библиотечные были для удобства представлены), и посылал агента «подстрелить» нужную книгу. Хозяин этого «предприятия» получал значительные барыши, хотя «стрелки» его не очень щедро вознаграждались. Когда же они пытались указывать на незначительность своей «заработной платы», хозяин им внушительно разъяснял, что они воры и что стоит ему, хозяину, кое-кому шепнуть, чтобы карьера их была навсегда прекращена.

Следует признать весьма удачным опыт борьбы с вредительством, проделанный вскоре после революции в Екатеринославле и повторенный затем в Ленинграде. Для создания отрицательного отношения людей к порче книг были собраны испорченные книги из библиотек,



Рисунок Виктора Резниченко

уложены в гробы, пронесены так по городу и похоронены затем на центральной площади. Во время похорон был устроен многолюдный митинг, на котором пропагандировались книги и необходимость борьбы с книговредительством, приведшим изувеченные книги в могилу.

О многом не написали авторы этого скромного сборника – «Библиотечные преступники». Многое знали, но, видимо, не смели сказать. О другом же знать не могли – ведь шёл всего лишь 1924 год. Просто не наступило ещё время, когда вечное издевательство над Книгой продолжилось в новых формах. Впрочем, и старыми не брезговали тоже.

Вспомнить можно многое: гибель сотен, если не тысяч, библиотек в дворянских усадьбах во время революции и Гражданской войны.

Руководящие указания Надежды Константиновны Крупской об изъятии из библиотек сочинений всех философов-идеалистов – от Платона до Достоевского.

Спецхран.

Книжные костры в фашистской Германии.

Да что там Германия! Фактов преступлений перед одним из величайших достижений человеческого разума – Книгой – предостаточно и в наших родных, сибирских, палестинах...

В Омском историко-краеведческом музее хранится маленькая, в несколько страниц, рукопись бывшего директора музея, замечательного краеведа и знатока книги Андрея Фёдоровича Палашенкова (см. ниже очерк «На добрый воспомин»). Я читал её давно, поэтому деталей не помню, но суть передам.

Перед войной, только начав работать в музее научным сотрудником, Андрей Фёдорович приехал в командировку – в Тобольск. Там, зайдя по делам в какое-то учреждение, он с ужасом увидел, что несколько человек занимаются странным и страшным делом. Они берут из большой груды лежащих перед ними старинных книг по одной, отрывают переплёт, сам блок кидают в одну сторону, переплёт – в другую. «Что вы делаете?» – в изумлении спросил Палашенков. В ответ прозвучало: «Устарели, никому не нужны, места занимают много, приказано их сжечь, но перед этим нужно оторвать переплёты, так как картон может пригодиться, – всё-таки ценный материал!..».

Палашенков умолил этих трудяг остановиться, бегал, хлопотал, убеждал и добился своего. Потом доставал ящики, грузил спасённое на пароход, истратил все деньги на это – и казённые, и личные.

Это были книги главным образом из библиотеки Тобольской духовной семинарии, а также из библиотек некоторых других учебных заведений города, закрытых при советской власти.

Завершает воспоминания такой эпизод.

Уже в Омске некая партийная деятельница (кажется, она курировала музей) попросила показать ей привезённое из Тобольска. А посмотрев, сказала: «Как мне вас жаль, Андрей Фёдорович, вы столько потрудились, так умучились, а ведь тут ни одной хорошей книги...» «Наивный» Палашенков (вчерашний политзек) выразил по этому поводу крайнее удивление: грамотная ведь женщина...

Сейчас эти книги – подлинные жемчужины в собрании научной библиотеки Омского музея. Я держал в руках некоторые из них, например, одну из входивших когда-то в личную библиотеку славного сибирского историка Петра Словоцова с его собственноручной дарственной надписью.

Профессор-биолог Кемеровского мединститута Евгений Дмитриевич Логачёв (1926–1992) после войны учился в Ом-

ске. Учился он в медицинском институте, но часто бывал на территории института сельскохозяйственного, где жила его будущая супруга. Однажды осенью 1948 года он проходил мимо огромного оврага, что простирался на северо-запад от парка Омского сельхозинститута (сейчас по дну бывшего оврага ездят машины). Оттуда тянуло дымом, и Логачёв увидел разложенный костёр и человека возле него, а рядом с костром... большую кучу книг. Спустился, поднял одну, другую, третью. Все были по генетике. Недавно прошла печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ, разгромившая «вейсманистов-морганистов». И из институтской библиотеки изгнали их труды. Книг было много: один рабочий возил их в овраг на подводе, другой жёг.



*Е.Д. Логачёв
в молодые годы*

Логачёв стал упрасивать отдать ему хотя бы часть. Согласия не последовало, мол, опасное дело, политическое. Вот разве что...

Логачёв намек понял, уговорил мужиков сделать перекур, помчался в ближайший магазин и вывернул там свой тощий студенческий кошелёк. Хватило на литр.

«Бери, сколько унесёшь», – благосклонно было сказано ему. Парень Логачёв был здоровый и унёс порядочно.

Много лет спустя бывали случаи, когда познакомиться с этими книгами к Логачёву в Кемерово приезжали из других городов: их нет в крупнейших библиотеках. Всё было уничтожено по всей стране. Это было, так сказать, государственное варварство. Древним такой размах и не снился.

– Всех пускаю, – рассказывал мне Евгений Дмитриевич, – только ни одна книга, пока я жив, за порог квартиры не уйдёт.

Омский историк и архивист Евгений Николаевич Евсеев (род. в 1927), мой давний приятель, поведал такую историю.

Дело было в первой половине пятидесятых годов. Однажды он пошёл на городскую толкучку. Ходил, бродил и увидел совсем ещё молодого парня, торгующего книгами. Они лежали прямо на земле – на подстеленном брезенте. Евсеев одну купил. Это был роскошно изданный «Витязь в тигровой шкуре». Тут же, отойдя в сторону, стал листать. И вдруг увидел замкнутые штампы Омской областной библиотеки имени А.С. Пушкина. А незадолго до этого библиотеку крупно ограбили. Евсеев знал все подробности об этом происшествии, поскольку в библиотеке работала его жена.

Моментально вернулся он к парню, заставил собрать товар и поволок торговца в базарный оперпункт. Но тот изловчился, вырвался и убежал, оставив книги.

Евсеев всё-таки пришёл в оперпункт, начал объяснять, показывать книги, убеждать, что за вором следует организовать погоню.

– Да что ты со своими книгами, – сказали ему, – вот у этого человека кошелек украли, у того – валенки, у женщины сумку разрезали. Забирай книги и не мешай работать...

Среди брошенного вором оказалось ещё несколько книг из нашей Пушкинки. Их, как и «Витязя», Евсеев сдал в библиотеку (расписка до сих пор целая).

Но на этом история не закончилась.

Примерно через год Евгений Николаевич пошёл в кино. Встал в очередь за билетами, народу было довольно много. Как всегда, кто-то вскоре полез к кассе без очереди. И Евсеев увидел, что лезет не кто-нибудь, а именно тот парень с толкучки. На счастье, тут же рядом с кассами оказался старшина милиции. Евсеев объявил ему, что к чему, и парня повели в отделение.

И опять же дело показалось властям пустяковым, в милиции им явно не хотели заниматься. Только под давлением тогдашнего директора библиотеки Ефросиньи Хребтовой

(1902–1980), человека в городе известного и авторитетного, произвели в доме вора обыск и нашли на чердаке немало библиотечных книг – главным образом тома словаря Брокгауза и Ефрона. Видимо, «книголюба» привлекло их золотое тиснение. Книги вернулись в свой библиотечный дом, а вот наказать преступника так и не удалось.

В начале 1977 года в одном из райцентров Омской области, Любино, внезапно умер Иван Семёнович Коровкин – известный сибирский фольклорист, краевед, литератор и педагог. В Омск об этом не сообщили, и в писательской организации узнали о несчастье, когда в Любино уже отметили девять поминальных дней. Но всё равно доцента пединститута, фольклориста Татьяну Георгиевну Леонову, также бывшую учительницу, хорошо знавшую Коровкина, Евгению Николаевну Жданович и меня командировали в Любино. Мы купили венок и поехали.

Все мы знали, что у Ивана Семёновича хорошая библиотека, богатый архив и, естественно, с тревогой думали о том, что с ними стало за эти дни.

Зашли в дом, поздоровались, глядя на плачущую вдову: покойному всего-то было пятьдесят восемь.

Украдкой прошёл я на кухню и открыл дверцу приготовленной к топке печки: она была полна бумаг. Увидев эту картину, я осмелел и, пачкаясь сажеей, стал вытаскивать содержимое печи.

– Да зря вы, зря, – услышал я за спиной голос вдовы, – там только самое ненужное.

– А я всё-таки посмотрю.

Письмо Елены Вяловой-Васильевой – второй жены поэта Павла Васильева, фольклорные записи, что-то ещё, сейчас уже не помню, оказалось среди «самого ненужного». Пом-



*И.С. Коровкин
(1919–1977)*

ню, что набралась порядочная стопка. Сколько раз за эти дни топилась таким образом печка и что в ней сгорело, знает один только Бог...

Побывав на кладбище, мы пошли в райком партии и объяснили ситуацию. Нам дали ключ от пустого секретарского кабинета и «Волгу». В несколько рейсов мы вывезли архив. Грузили, не разбирая, не читая, – всё подряд. Иногда случайно попадалось на глаза: вот письма поэта и учёного Петра Драверта, вот Твардовского, вот – дневниковая запись самого Ивана Семёновича, вот – чья-то рукопись...

«Забирайте, всё забирайте, – радостно говорила вдова, – мне эту комнату белить надо, квартирантов пускать – всё подмога».

Архив благополучно пролежал в запертом райкомовском кабинете до тех пор, пока его не забрали профессионалы – сотрудники областного госархива. Сейчас там – личный фонд Коровкина.

А тогда, закончив с бумагами, мы принялись за книги. Их вдова намеревалась продать. Разделили библиотеку на две части: ту, которую можно продать кому угодно, и ту, которую надо продать целенаправленно, – для будущего омского Литмузея имени Ф.М. Достоевского. Во вторую вошли книги с автографами, литература о Достоевском, редкие издания, литературоведение, довоенная Литературная энциклопедия и т. п. – набралось довольно много.

К электричке еле успели.

Однако все наши труды по разбору библиотеки оказались напрасными: краеведческий музей не сумел оперативно решить вопрос с покупкой и вывозом книг. А пока тянули, приёмный сын Коровкина, алкоголик, сетками таскал на пропой книги – как из той, так и из другой части. Спасти потом удалось лишь крохи.

Сейчас, когда вдова, полуграмотная женщина, и сын ушли туда же, где находился и сам Иван Семёнович, стоит ли говорить какие-либо слова...

Было время, когда в одном из коридоров старого здания уже упоминавшейся библиотеки имени А.С. Пушкина стояли четыре больших застеклённых шкафа, личная библиотека поэта и учёно-естествоиспытателя Петра Драверта. Книги там есть редчайшие. Я любил, устав от работы в читальном зале, выйти в коридор и просто постоять возле этих шкафов, полюбоваться золотым тиснением корешков. Здесь находились автографы друзей Драверта – Вернадского и Ферсмана, многих сибирских литераторов, коллекция книг о Наполеоне, редкая сибирская периодика, даже издания восемнадцатого века.



*П.И. Драверт
(1879–1945)*

В один прекрасный день шкафы из коридора убрали. И сделали это не случайно.

Незадолго перед тем один из читателей задержался в читальном зале до самого закрытия библиотеки, а потом ухитрился спрятаться. Оставшись один в здании, вскрыл дравертовские шкафы, не спеша выбрал, что пришлось, так сказать, по душе, и стал ждать утра, чтобы смешаться с первыми посетителями. Как уж он думал пронести украденное через контроль, неизвестно.

Как бы то ни было, «букинист» был пойман. Книги вернулись на свои полки, а вот шкафы убрали из коридора от греха подальше куда-то вглубь здания.

Однажды автору этих строк довелось входить в музейную бригаду, принимавшую у наследников известную коллекцию «Есенинианы». Её хозяин Иван Синеокий внезапно скончался. Коллекцию купил музей. И хорошо сделал: ценного в ней немало. Чего стоит одна многолетняя переписка с людьми, знавшими Есенина, изучавшими его творчество... Но, помню, и меня, и моих коллег озадачил один экспонат. Это был конвюлет, в котором оказались собраны все упоминания

о Есенине, встречающиеся в Полном собрании сочинений В. Маяковского. Они, эти упоминания, статьи, цитаты из примечаний, стихотворные строки и т. д. были... аккуратно вырезаны из собрания сочинений Владимира Владимировича. Как не вспомнить, что ещё в 1924 году авторы сборника «Библиотечные преступники», писали, что библиофил и коллекционер может быть заядлым врагом Книги!

1994 г.

ВЕРИТЬ В ДУШЕ...

Из семейных историй

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Старые документы... Сколько их перебивало в моих руках – тысячи и тысячи. Взятые с полок знаменитых и не очень знаменитых архивов, принесённые из музейных запасников и рукописных отделов библиотек, вынутые из заветных деревенских сундуков, из-за божниц, порой из развязанных застиранных платков. Сколько раз очаровывал меня их скупой, но несгибаемый тон, их неповторимый запах. Особая оторопь охватывает перед остановленным временем. Чувством нескончаемости, властности жизни и на самого-то себя заставляет посмотреть как бы со стороны: ты-то, собственно, кто такой? Откуда пришёл, что и зачем делаешь, куда уйдёшь, что после себя оставишь?..

А тут и вообще особый случай. Лежащие передо мной документы взяты не из официального хранилища, а из собственного семейного архива. В них – отблески жизней близких мне людей.

Большая, величиной с добрую половину газетной страницы, плотная бумага. Истончённая временем, лопнувшая на сгибах и сплошь изжелтевшая. Померкло и золотое тиснение, которым были выполнены фигурная рамка, гербы – имперский и губернский – и само крупное название – «Похвальный лист». Но осталась, не выветрилась за сто с лишним лет присущая этой бумаге торжественность. Знали своё дело мастера из Вятской губернии.



ской типографии, изготовившие бланк «Похвального листа» в 1893 году.

Можно представить себе, как вручают этот солидный документ притихшей деревенской девятилетней девчонке, которая вся-то замерла, затихла, вся-то превратилась в слух.

«Производившие испытание в Слободском женском начальном народном училище удостоили ученицу Глафиру Ашихмину за весьма хорошие успехи и благонравие сим похвальным листом мая 28 дня 1893 года.

*Законоучитель священник Павел Замятин,
учительница Е. Бобровская».*

Мне представляется, что читал текст именно этот Павел Замятин – молодой, с ухоженной лопатистой бородой, краснотелый. Его поставленный басок раздавался над маленьким училищным двором, только посредине вытоптанном детскими ногами, а по бокам – зелёным от подрастающей молодой травы. Замерший строй принаряженных девчушек, взволнованные лица учительниц. А вокруг мощно бушует молодое провинциальное лето. И ничего ещё нет – ни, понятное дело, меня, ни матери моей, которая родится аж через пятнадцать лет, ни предстоящих в обозримом будущем жутких катаклизмов, которые потрясут и старый городок Слободской, и всю несчастную Россию.

Куда-то потом подевались священник Замятин и учительница Бобровская?..

Пока же взвилась детская душенька, затрепетала. И побежала моя будущая бабушка домой, не чуя под собой ног, свернув в трубочку этот свой первый и, как оказалось, последний документ об образовании.

Помню, она много раз со слезами на глазах рассказывала мне, как неслась тогда в родную деревушку после вручения «Листа», как умоляла отца и мать разрешить учиться дальше: две учительницы, сёстры-бобылки, приглашали её

к себе в дом, живя в котором и помогая им по хозяйству, она смогла бы продолжить учёбу. Но не умолила, не пустили. Нужно было как-то тянуть дальше немалую семью, где всё держалось на матери, днями и ночами не разгибавшейся над стиркой чужого белья. А их отец – весёлый мой прадед – больше гулял, играл на ярмарках в лотереи, продавал на корню сено с покоса – единственного своего владения. Работал же он только иногда, по вдохновению, правда, работой своей в округе славился: понимал в земле, чувствовал её и хорошо копал колодцы, погреба, котлованы и траншеи на стройках, а когда приходилось, – и могилы. Заработанное лишь частью шло в дом, остальное уходило на ту же ярмарку да в кабак. Мало ли соблазнов было в находившемся рядом торговом городке для развесёлого жителя пригородной деревушки Котельниковой, которая и пригородом-то по-настоящему не стала, и деревней быть перестала, а жила себе между небом и землёй: за грибами-синявками к похлёбке в полчаса бегали – чуть ли не за огородами росли, а службу церковную городскую отстаивали. Так что семейство выручало в основном материно корыто.

И уж прощаясь со своим непутёвым прадедом, приведу недавно вычитанные слова В. Лебедева – талантливого, говорят, вятского литератора: «Слобожане из вятских самый вятский народ». Во как!

Вот и требовались детские ручки будущей моей бабушки – разносить бельевые заказы и получать новые, летом собирать на продажу землянику, помогать по дому, исподволь учиться шить. («Всё приданое себе сама справила», – хвасталась она мне потом.)

Вот и плакала она каждый раз, когда, много лет спустя, рассказывала



Г.А. Болотова

о своей несбывшейся дальнейшей учёбе, о том, как во сне решала задачки, как буквально бредила всем этим. До того, как отказали глаза, свободно читала она газету, знала наизусть (ещё с тех пор, с училищных времён!) десятка полтора стихотворений. Это от неё, полуграмотной, впервые услышал я строки Пушкина и Лермонтова. Про бурю, которая небо мглою кроет. Про царицу Тамару, которая прекрасна, как ангел небесный, но, как демон, коварна и зла. Они в училище пели эти стихи, взявшись за руки и гуляя кругом. И письма мне, хоть изредка, но писала, когда я уехал в другой город учиться в университете. И надо ли говорить, что чаще всего это были не просто письма, а записочки, которые лежали на дне посылочных ящиков с продуктами – рядом с радостно-красной десяточкой?.. (Эх, стыдно, стыдно вспомнить, на что у нас уходила чаще всего эта скромнейшая старушечья десятка. Слышишь ты меня, прадед?!) Хотя и говорила бабушка до конца дней своих на странной, с тех пор мне не встречавшейся «вятско-сибирской» смеси, которую и передать-то трудно: чёрик, изнахратить, камалашки, дековаться, изгиляться, передряга, востриться, мымра, помлить... Кто переведёт эти слова? А я переведу, хотя некоторых – проверял – и у Даля-то нет.

Как я прикидываю, это начальное народное трёхклассное училище можно, пожалуй, приравнять к нашей довоенно-послевоенной семилетке. Впрочем, к чему сравнивать да приравнивать, в этом ли дело...

Скажу-ка лучше о том, что бабушка моя с её «Похвальным листом» научила читать-писать ещё одного человека – собственного мужа, то бишь моего деда Василия Васильевича. Был он семьдесят восьмого года рождения, то есть на семь лет её старше.

Как уж и где они познакомились и сговорились, врать не буду – не знаю. Знаю только, что был дед родом из того же Слободского уезда Вятской губернии, а точнее – из 4-го, Ивановского, починка Стуловской волости. Это я опять

списал из старых документов, а вот что со слов бабушки помню. Говорила она – семья у деда была небедная – и отец, и братья скорняжничали, шили верхнее из овчины да и другую одежду. И свёкор выбором деда был очень даже недоволен: берёт беднячку, из семьи, где сплошь одни девки. Плюс к тому и женится не в очередь – тогда один из старших дедовых братьев ещё холостым ходил. Да и жить с молодой намеревается отдельно – опять из семьи тянет, а не наоборот. Обида эта осталась навсегда, она вскоре и выгнала деда и бабушку из родных российских мест – вначале на Урал, а потом и в Сибирь. Ведь не раз приезжали к молодым отец и братья с разборками, однажды чуть вообще не убили деда по пьяному делу. Вот и решено было уехать от греха подальше. Поехали за земляками в Миасс, а потом уже, после сильного миасского пожара, дальше – в Омск.

Но, прежде чем сделать дело доброе – научить своего неграмотного муженька читать и писать, бабка научила его другому.

– Васюра, когда я за него вышла, ну совсем не курил. Я, дура молодая, подсмеивалась над ним: что, мол, ты, как малый малец, не куришь, от тебя и мужиком-то не пахнет. Дошутилась: зачал курить. И так с годами пристрастился – от одной другую прикуривал, как с соской ходил. В уборную, прости господи, пойдёт – и тоже с ней. Я, бывало, говорю: «Запалишь ты нас, Васюра». А он: «А кто меня курить научил?! Молчи уж!..» В последние годы казённым уже не накуривался, свой табак стал в огороде садить.

Помню я это табачное дедово снаряжение – корытце и сечку – табак рубить.

Помню, сохранил и другое – пачку его писем, точнее – открыток, которые он посылал семье из германского плена.

Но об этом надо отдельно.

ВОСЕМЬ ШЕСТЬДЕСЯТ

Я родился в конце декабря 1943 года. Как мне рассказывала покойная мать, дед не особенно умилялся моей особой. К детскому ору он не привык. Да и как и где было привыкнуть? У самого было две дочери – моя мать и другая, Тоня, умершая от скарлатины девочкой ещё аж при Колчаке. Мать родила меня, своего единственного ребёнка, поздно, когда ей было уже тридцать пять. До этого детей в доме не было, и поэтому мои крики и пiski раздражали деда. Умом он, конечно, понимал, что сердиться на ребёнка нехорошо, но поделаться с собой ничего не мог. Если я начинал орать днём, он кричал, закуривал, одевался и шёл во двор огребать снег. Если это случалось ночью, он опять же кричал, опять же закуривал и уходил в «мастерскую» – так называлась у нас пристройка к кухне, где стояли швейные машинки деда. Он был портной высокой марки, шил всё – от женской блузки до овчинного полушубка, но в последние, военные годы бросил это занятие, опасаясь, что в такое время, если власти, которым он и в мирные-то времена не доверял, накроют, то уж не просто обложат налогом, а могут наказать и покруче.

Деду было тогда шестьдесят шесть лет. Работал он в ту зиму сторожем на лесозаводе. Лесозавод (или, может быть, его сплавная база) располагался в Затоне, где сейчас зона отдыха «Зелёный остров». Из рассказов матери и бабушки я понял, что перед той зимой то ли из-за гололедицы, то ли по какой другой причине много деловой древесины не было вытащено на берег, а вмерзло в лёд. Её тотчас же стали поворачивать, выдалбливать – с топливом в городе было плохо. Чтобы к весне не повыволбили всё, руководство завода распорядилось поставить поблизости сторожку. Ходить к ней нужно было по льду.

Так вот, однажды в феврале сорок четвёртого года, когда мне было два с лишним месяца, дед не вернулся с работы.

В первый день бабушка не побеспокоилась, подумала, что сменщик попросил его отдежурить за себя, как уже бывало, но, когда дед не пришёл и на следующий день, побежала на завод.

– А что ты, бабка, бегаешь, ищешь, – сказал ей какой-то грубый, бессердечный человек, – вон он, твой мужик, с позавчерашнего дня в воде мокнет.

В Затоне среди льда чернела полынья, возле которой стояли дедовы санки. После, когда подрос, я катался на них с горок.

Февраль в ту зиму был на редкость тёплым. К оттепели добавилось то, что расположенный рядом судоремонтный завод спустил в Затон горячую воду. Отдежурив, дед шёл домой, везя с собой санки с парой полешек дров, сторожам это разрешалось. Он решил срезать угол и угодил прямо в припорошенную снегом полынью.

Говорят, там было всего-то метр восемьдесят. Но этого вполне хватило.

Обидно, что погиб он именно от воды. Он, трижды бежавший из германского плена в Первую мировую и переплывший Рейн, Вислу и десятки других рек Европы (об этом как-нибудь в другой раз).

Водолаз полдня не мог найти деда: залезал и вылезал обратно.

– Пообещайте ему литр, – подсказали бабушке уже под вечер знающие люди.

Обещание подействовало: дед тотчас же был найден. Воды в нём при вскрытии почти не оказалось, а на утопленника он был совсем не похож. Можно предположить, что смерть наступила, скорее, от сердечного приступа, чем от того, что вода попала в дыхательные пути. Впрочем, какая разница...

Прошло много лет. Не помню, на каком я учился курсе – на втором или на третьем. Приехав домой на очередные зимние каникулы (учился я в другом городе), узнал, что и мама,

и бабушка – каждая по-своему – озабочены некоей новой заботой – пенсией, бабушкиной пенсией.

Какая может быть пенсия, если человек никогда не работал на государственной работе, а только по дому, по хозяйству, шил частным образом, приторговывал огородным урожаем, сиренькой из сада.

Бабушка объяснила мне это так:

– А вот был депутат. На что, спрашивает, живёте-то, бабушка? С огорода, говорю, милый человек, да вот и дочка даёт, хоть и сама пенсионерка уже. Расспросил меня, рассказала, как дед Васюра утонул. Вот он и говорит: пенсия вам, бабушка, давно уже полагается – за потерю кормильца. Муж ваш, говорит, погиб, можно сказать, на производстве, государство должно вам помогать. Одним словом, Шуранька, депутат сказал: хлопотать надо.

Поясню, что жила тогда бабушка отдельно, в том же самом дедовом домишке на окраине и с депутатом беседовала одна, без матери.

Ни она, ни мама прямо после не посылали меня «хлопотать». Давление в эту сторону было, выражаясь сегодняшним языком, ненавязчивым, но, как я теперь понимаю, неуклонным.

Для меня, тогда сопливого юнца, даже то, что пенсиями ведает собес, было новостью. С того райсобеса и началось моё знакомство с могущественным миром нашей дорогой отечественной бюрократии – знакомство, продолжающееся и по сей день.

– В каком году погиб дед? – спросили меня в собесе. – В сорок четвёртом?! Где же вы были двадцать лет?!

Я начал объяснять, что вскоре после похорон (которые, кстати сказать, разорили наше семейство основательно) бабушка ходила и узнавала про пенсию. На неё накричала какая-то дама, сказала, что ей, никогда не работавшей, никаких пенсий не положено, что идёт война, а вот некоторые всё норовят урвать от государства...

– Ничего у вас не получится, – выслушав, сказала мне собесовская чиновница – зрелая и весьма привлекательная крашенная блондинка.

Видимо, вот такая же и отвалила в сорок четвёртом году мою полудеревенскую диковатую бабушку от положенного по закону.

– Сколько работаю, таких случаев, чтоб за пенсией через двадцать лет приходили, не припомню. Чуть ли не на другой же день прибегают.

Я догадался подчеркнуть, что идею о пенсии подсказал бабушке депутат.

– Депутат? – переспросила искусственная блондинка несколько озадаченно.

– Да, депутат. Начинайте, говорит, хлопотать, а не будет получаться, я сам подключусь. – Меня понесло, я начал импровизировать: – Фамилию его я не знаю, бабушка не запомнила, но это можно уточнить, можно с ним специально встретиться. Солидный, бабушка говорит, такой мужчина...

В результате моего монолога, во время которого слово «депутат» я старался произносить почаще, всё-таки выяснилось, с чего надо начинать. Начинать надо было с места последней работы деда, то есть с лесозавода. Нужно было попытаться найти его документы, а если их нет, подыскать минимум двух свидетелей, помнящих деда. Эти свидетели должны были на суде (!) подтвердить факты его работы на предприятии и его гибели. Это и будет основанием для начисления пенсии.

Далее я выяснил, что лесозавода как такового давно уже нет, он влился в одну из мебельных фабрик.

В отделе кадров фабрики тоже долго не могли меня понять. Долго рассматривали то, что осталось от служебного пропуска деда на лесозавод. Пропуск пролежал в кармане хозяина несколько дней под водой, что-то смылось, но главное всё-таки можно было прочитать. Вот он и сейчас передо мной, этот листочек бумаги. Такой вклеивается внутрь

всяких удостоверений, в том числе и пропусков. Фотокарточки нет. Но есть типографски напечатанное название предприятия. Есть (и хорошо читаются, видимо, были написаны химическим карандашом) фамилия, имя и отчество владельца: Болотов Василий Васильевич. И название цеха – сплавной. Три раза пропуск продлевался: есть три печати и три подписи директора завода. Подпись, как это чаще всего бывает, неразборчива, но первая буква читается чётко – «В».

Долго рассматривали кадровики эту диковину. Сразу же сказали, что никаких документов по лесозаводу у них нет, но, оказавшись людьми отзывчивыми, стали прикидывать, кого можно пригласить в свидетели.

– А что долго думать, – сказал кто-то из них, – пойду позову...

И были названы женские имя и отчество главного бухгалтера фабрики. Имя и отчество, которые я сегодня, к стыду своему, не помню.

Минут через десять в отдел кадров вошла пожилая невысокая худощавая женщина. Я помню несколько аскетичное лицо, тёмные с сильной проседью волосы. У женщины не было одной, кажется, левой, руки.

Я привычно приготовился уже в который раз рассказывать про деда, про депутата, про собес, про...

– Я помню этот случай, – прервав меня, сказала женщина. – Я согласна быть свидетельницей.

Видимо, ей всё объяснили по дороге.

Второго свидетеля мать нашла сама, уже без меня – каникулы кончились. Найти его помогла та же главный бухгалтер. Им оказался сам бывший директор лесозавода, а потом и фабрики, который тоже помнил эту историю. Фамилия его была, кажется, Ванчук, не случайно выше я подчеркнул, что первая буква в подписи на дедовом пропуске – «В».

Два этих добрых человека пришли в суд и подтвердили, что да, работал на лесозаводе такой сторож – Болотов Ва-

сий Васильевич, который в сорок четвёртом году утонул, провалившись под лёд, когда возвращался с дежурства.

Всё это я узнал из материных писем.

Наступили летние каникулы, и я опять приехал домой. К большому своему неудовольствию, выяснил, что пенсионные дела предстоит продолжить, что, хотя все необходимые документы собраны и уже находятся в собесе, бабушке необходимо пройти какую-то общественную комиссию. Надо пойти на эту комиссию вместе с ней.

Не знаю, как выглядит и где находится сейчас собес того района, в котором жила бабушка. Тогда он располагался в большом деревянном мрачном доме с просыревшими стенами, имеющими масляные удручающего цвета панели. В большой прихожей стояли и сидели озабоченные пожилые люди, всем им предстояло сегодня пройти эту самую комиссию. Заняв очередь, мы стали ждать. Я заметил, что бабушка сильно волнуется, и взял её за изработанную тёмную руку.

– Ну чего ты? Ну спросят и всё...

– Боюсь я, Шуранька, ничего мне не дадут, только обругают, ведь сам знаешь – ни дня на них не рабатовала. Зря я всё это примыслила.

Начал волноваться и я.

Подошла наша очередь, и мы вошли в большой кабинет, почти зал. За длинным столом, покрытым красным, сидели люди и смотрели на нас.

– А вас мы не приглашали, молодой человек, – поднявшись, сказал мне высокий пожилой мужчина с орденскими планками на пиджаке, – подождите в коридоре.

– Разрешите я поприсутствую, она малограмотная, да и не привыкла ко всему этому, может, я помогу ей отвечать.

– А я говорю: подождите в коридоре, – застрожился мужчина, – мы сами сумеем поговорить с вашей бабушкой, и дело её нам известно.

Пришлось выйти.

Вскоре я услышал через дверь, что мужчина кричит.

«Так ведь это он на неё», – тупо сообразил я, опять попытался было войти, но меня опять выгнали. В каком-то полусне я лишь увидел ярко залитый солнцем кабинет, испуганное лицо мужчины с орденскими планками. Лица сидящих за столом других людей были в моих глазах, как пятна. Бабушку, мою бедную, худенькую и маленькую бабушку, не удосужились даже посадить на стул.

Теперь я уже стоял прямо под дверью, весь превратившись в слух, и, когда орденосеиц опять заорал что-то про тунеядство, про государство, про «никогда не работала», молча зашёл в кабинет, обнял бабушку за плечи и повёл её, плачущую и дрожащую, сквозь любопытные взгляды других посетителей прочь на улицу. Меня самого тоже трясло.

– Всё! – кричал я матери дома. – Увольте, больше я этим не занимаюсь! Она что – с голоду помирает?! Ты же отдаёшь ей половину пенсии!.. Скоро я работать начну...

– Как ты не понимаешь, – вздохнула мама, – как же ты не понимаешь: она хочет иметь своё. За мужа. От государства.

Каникулы кончились, я уехал. А вскоре из дома пришло письмо: пенсию всё же начислили. Восемь рублей и шестьдесят копеек. Бабушка очень довольна и чуть ли не гордится, когда почтальонка приносит ей эти деньги. (Для сравнения: стипендия моя была тогда двадцать два рубля, из которых полтора автоматически вычиталось за общежитие.)

– Вот, Шуранька, милушка моя, – не раз говорила потом бабушка, – каждый месяц восемь рубликов, как с кустика.

Было всё это в шестьдесят третьем или в шестьдесят четвёртом году. Когда же в семьдесят втором бабушка умерла, в её комодке мы нашли деньги. Сумма была равна сумме пенсии за все эти годы, оттуда не было взято ни рубля.

Примечание 2013 года

Если по-хорошему, то надо бы название этого текста изменить. Надо бы назвать его не «Восемь шестьдесят», а

«Шесть девяносто одна». Цифру 8-60 я взял, что называется, из головы. А голова — источник ненадёжный. Недавно нашедшийся в старых бумагах официальный документ — «Пенсионное удостоверение» Глафиры Алексеевны Болотовой утверждает, что сумма назначенной ей пенсии была несколько иная. Которую я несколько завысил. Ну, да ладно — не будем буквоедами...

ВЕРИТЬ В ДУШЕ...

Стало известно: здание кинотеатра «Экран» на улице 8-й Ремесленной возвращается Омско-Тарскому епархиальному управлению Русской Православной церкви. До 1939 года здесь был Никольско-Игнатьевский храм.

Тридцать девятый год. Оказывается, довольно долго терпели омские власти эту в конце концов всё-таки оказавшуюся «лишней» церковь. Совсем немного не достояла она до войны, во время которой бывший семинарист Джугашвили начал делать ставку и на чувства религиозных людей. Впрочем, закрыли бы позже — при Хрущёве. Дело не в этом.

А дело в данном случае в том, что через пять почти лет появился на свет я, ещё примерно через столько же я начал уже кое-что соображать и запоминать — ощущать себя, громко говоря, во времени и пространстве. Бабушкин дом, в котором я рос, находился недалеко от новоявленного кинотеатра — за несколько кварталов; во всяком случае, крыша сего очага

культуры была видна с нашего огорода. Именно на этом огороде я и получал первые понятия о том, что церковь в нашем государстве от государства этого отделена самым бесповоротным образом.

Весной или осенью, когда на крыше бывшего пристанища Бога, лишённой всяких признаков куполов и крестов, появлялись маленькие фигурки маляров, а, может быть, кровельщиков, бабушка то и дело, отрываясь от своих грядок, разгибала натруженную спину и в двадцатый, а может быть, в сотый раз начинала ругать этих христопродавцев и святотатцев последними словами. (Слова, правда, весьма изредка, и в самом деле вырывались такие, какие, вроде бы, совсем неуместны ни в присутствии ребёнка, ни тем более – при обсуждении церковной темы.) То, что на том свете эти маляры и так будут гореть в геенне огненной, для бабушки было совершенно ясно, но, не чая, видимо, стать свидетельницей этой в общем-то туманной и, скорее всего, довольно отдалённой во времени кары, она желала ничего не подозревавшим мужикам немедленно свалиться с крыши и сломать шею или уж на худой конец – руки и ноги.

Иногда её принималась успокаивать жившая на задах нашей усадьбы соседка – тётя Таня, тоже огородница и тоже бывшая прихожанка осквернённой церкви.

– Глафира, – увещевала она бабушку, – ну что ты опять грешишь, что себя изводишь-то?! Ну чего уж теперь... Уж который год пошёл, а ты всё не успокоишься. Да и опять же: разве ж эти мужики церкву закрывали?.. То ж начальство...

Не знаю, бывала ли бабушка в кино до тридцать девятого года, как-то не догадался спросить, а теперь уж и не спросишь, некого. Но совершенно точно могу сказать, что после антихристового расширения омской киносети за счёт отобранного здания на 8-й Ремесленной, сама мысль о посещении кинотеатра вызывала у неё содрогание и отвращение. Я думаю, если какой-нибудь злодей вдруг захотел бы бабушкиной неминуемой и мгновенной смерти, ему достаточно было

бы обманом или силой завести её в зрительный зал «Экрана» или любого другого кинотеатра, и она тут же скончалась бы от разрыва сердца. Даже меня, слепо и безумно любимого, она встречала не совсем приветливо, когда я приходил домой после очередной киношки:

— Что казали-то вам, опять кошечек-собачек? — спрашивала она с плохо сдерживаемой издёвкой.

Позже, с появлением телевидения, такое отношение было автоматически перенесено и на него, что являлось, на мой тогдашний взгляд, некоторым перехлёстом и несправедливостью. (Хотя — с другой стороны — что, кроме гадостей, говорили с «голубых экранов» о вере в Бога до недавнего времени?..)

Когда я родился, мама, чуть ли не единственная интеллигентка на всю нашу окраину, называемую в обиходе Игнатовкой, строжайше запретила бабушке окрестить меня — и явно, и тайно. Моя некрещённость, естественно, мучила бабушку, но послушаться своей образованной дочки она так и не посмела, видимо, просто боялась, что у той будут неприятности. Однако попытки спасти меня от вечных мук или по крайней мере облегчить приговор Страшного суда с её стороны предпринимались, и не раз.

— Шуранька, — говорила она мне, когда рядом никого не было, — ты — пионер, я понимаю, но ты потихоньку в Боженьку всё-таки верь, верь. Верь в душе. А он, он всё поймёт, ведь ты, милушка моя, ни в чём не виноват. Это я — великая грешница: надо было всё же сносить тебя на Тарскую улицу.

На Тарской улице, как известно, находилась и находится по сей день одна из двух церквей, оставленных тогда функционерами самого передового учения моим землякам от четырёх с лишним десятков храмов, существовавших в нашем городе до декрета восемнадцатого года.

Однако я не внял этим тихим увещаниям. Её веру, её иконы в переднем углу, крестные знамения, которыми она

осеняла меня, нехристя, перед дорогой или перед каким-нибудь очередным экзаменом, я кощунственно воспринимал как род некоей игры. Хватало такта не сопротивляться и не смеяться над всем этим, но не больше.

Ещё в начальной школе первая наша учительница Варвара Семёновна сказала нам, детям окраины, где самыми большими праздниками всегда были Пасха, Троица и Рождество:

– Наши советские лётчики выше всех летали на небо, и никакого Бога там нет!

Тогда-то этого аргумента мне, естественно, вполне хватало. Но знала бы дорогая наша Варвара Семёновна, что и сегодня, четыре десятка лет спустя, в арсенале моего пещерного неверия аргументов в принципе прибавилось не так уж много...

В университете мы с другом записались в атеистический кружок. Записались не с целью возвращать нашему безбожному обществу одурманенные души сектантов и православных, а в тайной надежде, что дадут почитать Библию. Библиотека нашего университета, которая строилась ещё в те времена, когда его ректором был сам Лобачевский, была богатейшая, но с какими-то странными, а точнее – непоследовательными порядками. Не давали Библию или, допустим, «Историю русской церкви» Никольского (недавно, кстати, переизданную и свободно продававшуюся) – это, положим, понятно. Но одновременно мы прочитали всего Фрейда, издававшегося у нас в конце двадцатых годов довольно активно. Или другое: студентам не выдавалась периодика с 1918-го по 1957 год, но стоило как-то одному из нас выправить полуфиктивную бумажку о том, что периодика якобы необходима для курсовой работы, как запрет был снят на все оставшиеся годы, и мы прочитали многое из того, что только

сейчас начинает выплывать на свет. Но в сторону Библии в весёлые хрущёвские времена наша негибкая идеология смотрела ещё суровее, чем при знатоке вопросов ленинизма и языкознания.

– Библию все мы, разумеется, знать должны, – сказал нам руководитель кружка – молоденький аспирант с кафедры философии, – но сначала мы проверим вас в деле.

И мы пришли к уполномоченному по религиозным делам, который действует в каждом большом городе, осуществляя связь между мощью государства и отрубленной от него в 1918 году церковью. Полный, лысоватый человек вытащил из шкафа обыкновенный картофельный мешок, чем-то на треть наполненный. Часть содержимого он вывалил на свой полированный стол. Это были какие-то квитанции или корешки от них, связанные шпагатом в небольшие пачки.

– Вот как у нас с вами много ещё работы, ребятки, – сказал нам хозяин полированного стола. – Вот какой у нас ещё народ тёмный.

Это были финансовые документы, остающиеся в церквях для отчёта после обряда крещения и получения за его свершение соответствующей платы. Благодаря тому, что на корешке указывалась фамилия (и даже чуть ли не адрес – ?), можно было «выявить» среди родителей окрещённых младенцев коммунистов и комсомольцев и предать их другому обряду – обряду перевоспитания и покаяния, но уже в ином – комсомольском или партийном храме.

Не помню, что мы сказали уполномоченному, кажется, что, мол, придём в другой раз. Но ряды воинствующих безбожников на очередном занятии атеистического кружка несколько поредели: мы с другом рассудили, что упражнения с церковными квитанциями прямиком приведут нас к котлам с кипящей смолой и что сама Библия тут уж не спасёт.

Библия, а точнее – главнейшая её часть – Евангелие, впервые попала ко мне во владение в те же достославные

студенческие годы. Попала не без греха. Причём грех был, если можно так сказать, двойным. Первый – правда, не мой – это традиционное отечественное неистребимое и непреодолимое утреннее желание выбить клин клином. Второй, уже мой, грех – использование непреодолимости данного желания в корыстных целях.

Я, имея в кармане последний перед стипендией трояк, стоял в книжном магазине и, как евнух на гарем, смотрел на товар букинистического отдела. В этот момент к прилавок подошёл выбритый не позже, чем поза-позавчера, гражданин и начал, явно волнуясь, разворачивать газетный свёрток. И я, и продавец – известный всему городу старый книжный жук – молча смотрели на его дрожащие руки. И из помятой газеты явилось на белый свет Евангелие. Откуда было знать его алчущему телесного и душевного равновесия владельцу: только много лет спустя, только на пятом году плюрализма терпимость государства по отношению к божьим делам зайдёт настолько далеко, что оно разрешит букотделам принимать у населения и подобную литературу?..

Медленно, как бы нехотя, я шёл по торговому залу за идущим к выходу незнакомцем. Шёл и чувствовал затылком взгляд продавца, который, разумеется, понял, что будет дальше. Но я всё шёл, невольно вдыхая амбре, невидимым шлейфом тянувшееся за беспутным торговцем святым словом.

– Что там у тебя? – спросил я у него уже на крыльце.

– Да вот, понимаешь, не принимают... Старинная, понимаешь, книга, а не принимают, – быстро заговорил мужичок. В его глазах появилась надежда.

– Видишь ли, она у тебя в неважном состоянии...

Книга была уже у меня в руках. Ординарное издание 1911 года – действительно несколько потрёпанное.

– Да в каком уж таком неважном?! Читать-то можно, если понимаешь... Уж и пару хрустов не дашь?

Я вынул свой трояк.

– Парень, ты это... у меня сдачи нету, пошли разменяем?

Я великодушно махнул рукой.

– Ну, парень!.. Ну, дай бог тебе здоровья!

И он зашагал с решительностью человека, совершенно точно знающего, что он сейчас будет делать.

Для тех читателей, которые начали посещать определённые отделы продмагов не раньше, чем в годы развитого застоя, специально сообщаю: в описываемые мной времена человеку ещё хватало для счастья двух рублей и восьмидесяти семи копеек.

Ладно, хватит ёрничать.

Сейчас, слава богу, Евангелие или даже вся Библия стали доступными.

Только поможет ли это мне и таким, как я?..

Таким, у которых с самого начала безжалостно и методично вытравлено в душе нечто такое, что вряд ли подлежит воскрешению.

1996 г.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

В 2010 году челябинский историк Оксана Нагорная выпустила в Москве, в издательстве «Новый хронограф», книгу «Другой военный опыт». В ней рассказывается о событиях почти вековой давности – о российских военнопленных Первой мировой войны, оказавшихся в германских лагерях. Оказывается, было таких бедалаг почти полтора миллиона. В аннотации к книге говорится, что автор пишет не только о деятельности различных ведомств, занимавшихся военнопленными, сделана попытка затронуть также и «историю «маленького человека»: его переживания при столкновении с чуждой культурной средой, лагерный быт, взаимоотношения внутри сообщества пленных, язык, религиозные практики, реакцию на политические потрясения в Восточной Европе, а также трагедию возвращения в революционную Россию».

Трагедию возвращения...

Глухой ночью конца ноября 1919 года на станции Куломзино под Омском не спал человек. Он то и дело выходил из душного и переполненного помещения на холод, закуривал и смотрел в ту сторону, где был Иртыш и взорванный недавно отступавшим колчаковским арьергардом железнодорожный мост. До Куломзино он добрался накануне вечером и узнал, что за реку, в город станут пускать только после рассвета. Идти самостоятельно знающие люди не советовали: часовые, выставлявшиеся на ночь у разрушенного моста, могли под горячую руку и пристрелить.

До рассвета было далеко. И приезжий, затягиваясь, до рези в глазах всматривался в темноту. Будь его воля, он полетел бы туда сейчас на крыльях. Где-то там, в спящем за Иртышом городе, должны ждать его два единственных на всей вздыбленной и враждебной земле родных человека – жена и одиннадцатилетняя дочка.

Это к ним он стремился столько лет, лишь на третий раз убежав из германского плена, нелегально пробираясь вначале через половину Европы, переходя по ночам границы, а потом медленно двигаясь вслед за фронтом на восток по разворошённой гражданской войной, ставшей чужой и непонятной России. Он мало смыслил в том, что происходило вокруг. Просто неистово хотел домой. Просто неотступно и каждодневно думал: живы ли?

На вид приезжему было чуть за сорок, и среди других пассажиров, до отказа забивших станцию и одетых большей частью разномастно и потрёпанно (мужчины в основном в шинелях всех армий мира), он выделялся добротной гражданской одеждой. Зря он так вырядился, хотя и хотелось явиться домой не оборванцем. Чем ближе подъезжали к ещё находившемуся на военном положении Омску, тем подозрительней к нему становились люди с винтовками, то и дело проверявшие в вагонах и на станциях документы. Утром, перед тем, как пропустить в город, наверняка станут проверять ещё раз – и, может быть, строже, чем в дороге.

Зайдя после очередного перекура в помещение, мужчина устроился в углу и решил перебрать свои бумаги, чтобы при проверке сразу же показать самые важные.

Паспорт, выданный в 1914 году – ещё до войны, лучше спрятать подальше: большой двуглавый орёл на нём может по нынешним временам только навредить. А вот эта бумага, полученная в Казани у чрезвычайного уполномоченного по приёму бывших пленных, производит на таких же полуграмотных, как и он сам, проверяющих благоприятное впечатление. Портрет нового правителя страны – лысого в пиджаке и широком галстуке – держат свободными от молота и снопа руками рабочий в фартуке и крестьянин в лаптях. И крупная надпись: «Освобождённые германской революцией, добро пожаловать в революционную Россию!» Хотя и предписывает эта красивая бумага «всем волостным и деревенским Советам и Комитетам бедноты» всего-то лишь перевозить

недавнего военнопленного «на лошадях от деревни до деревни», службу свою она служит хорошо – портрет лысого вождя безотказно действует на проверяльщиков самым благотворным образом.

Освободила его никакая не германская революция, а верная кормилица – портновская игла, которой он заработал вначале на первый побег, а потом – после неудачи – и на второй, и на третий. Портной он был классный и шил всё – от исподнего белья до овчинного полушубка. Только это и спасало: хоть в Германии, хоть в российских городах обносившимся за войну людям хотелось одеваться получше.

В Германии вначале ему сильно повезло – из лагеря взяла в свой замок какая-то важная немецкая графиня – ей тоже нужен был хороший портной. Он обшивал и двух её великовозрастных сыновей, и всю многочисленную прислугу. Жил – как сыр в масле катался. Регулярно переписывался с Омском через Красный Крест (доходили даже посылки). Но... Но невыносимо потянуло домой.

Когда поймали после первого побега, избили и отправили обратно в лагерь. После второй неудачной попытки опять избили до полусмерти, посадили в тесный, как клетка, карцер и, отлив водой, сказали: убежишь ещё – будут судить и, скорее всего, – время военное – расстреляют. Снова отлежался, снова заработал марок и снова побежал. На этот раз был напарник – уральский татарин Сидгарей, может, это и помогло...

Каких только бу-
маг не повыдавала ему



*Предписание Казанского губернского
Совета «перевозить тов.
Болотова на лошадях от деревни
до деревни». Оборот. 1919 г.*

в разных российских городах придуманная новой властью специальная организация – Пленбеж... Всегда долго читают вот эту, мелко заполненную, которую сам он разбирает с трудом, – «Карточку военнопленного», выданную ещё в Уржуме. Из неё можно узнать, что рядовой 324-го Клязьминского полка Василий Васильевич Болотов был взят в плен раненым 15 сентября 1915 года. Служил он в конной разведке. К моменту прибытия в Уржумский пункт Пленбежа 4 февраля 1919 года в Москве и Казани получил полушубок, пальто, валенки, шаровары, гимнастёрку, рубаху, кальсоны, портянки, утиральник, папаху и двадцать пять рублей денег.

Самый главный его документ теперь – «Билет военнопленного», выданный на первой родине – в городе Слободском под Вяткой. Подкормившись у имевшихся там дальних родственников, двинул дальше на восток: в билете отмечены и другие города его причудливого маршрута: Пермь, Тюмень, Ишим, Екатеринбург...

В Екатеринбурге задержался особенно долго: никак не хотел Колчак сдавать Омск. Устроился у земляков, опять сел за родную портняжную работу. И, конечно же, не было никаких вестей из-за линии фронта, эта неизвестность мучила больше всего.

В один из вечеров его уговорили сходить развеяться в театр. И там прямо во время действия на сцену вдруг вышел

Рис. 29/111 29. *Билет*

ТАБЛИЦА на основании: *Билет*
 данных военного личного
 архива, документов

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ
 О ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦАХ

Регистрационно-Статистическая и Справочная часть
 МОСКВА, Поварская 15

Билет военнопленного
 или гражданского пленного.

1. Фамилия *Болотов*
 2. Имя и отчество *Василий Васильевич*
 3. Военное звание: *сдат. офицер, чиновник, лицо медич. звания рядовой*
 4. Гражданское состояние ¹⁾ (звание или состояние)
 5. Военная часть: название: *Клязьминского № 324 в полку*

Примечание. до получения
 паспорта, лицам на жительство
 сдают билет.
 Хранить при себе

288
 (регистрац. кар.
 или справочной
 книги)

¹⁾ Заполняется только для гражданских шаровых.

Билет военнопленного В.В. Болотова. 1919 г.

затянутый в чёрную кожу человек и, извинившись перед актёрами, поднял руку и прокричал в зал, что непобедимыми красными полками опрокинута белая столица Омск!

Не досмотрев спектакля, бегом побежал на квартиру, дрожащими руками собирал чемодан и прямо ночью, несмотря на угрозы погодить до утра, ушёл на вокзал: вскорости могли пойти поезда на восток.

Последняя екатеринбургская бумажка – аттестат отдела снабжения Губпленбежа: «удовлетворен продуктами на трое дней».

Приезжий спрятал документы, опять закурил и вышел, перешагивая через спящих вповалку людей, на мороз. Небо за Иртышом уже чуть посветлело. Где-то в городе ещё спали и ничего не знали два человека – солдатка Глафира Болотова и одиннадцатилетняя девочка Зина. Моя будущая мать.

Деда не стало, когда мне было всего несколько месяцев. Его образ, впитанный из постоянных рассказов бабушки и матери, с детства занимал прочное место в моём сознании. Сохранились все документы, о которых шла речь выше, несколько десятков писем, отосланных из плена, несколько фотографий. На одной из них он снят вместе с молодым высоким парнем в заломленной форменной фуражке. У деда на самом видном месте протянута поперёк кителя шикарная двойная часовая цепочка с брелоком. Вид у обоих лихой: в гробу, дескать, видали мы ваш плен!



*В.В. Болотов (слева)
в германском плену. 1917 г.*

Особо стоит сказать о посылавшихся из плена письмах. Собственно говоря, это не письма, а небольшие стандартные, предназначенные специально для русских военнопленных открытки. Любящие во всём прежде всего Орднунг хозяева испещрили их надписью «Тут не писать!». Места под текст оставалось совсем немного. А писать деда научила бабушка после того, как вышла за него замуж (сама она окончила трёхклассное народное училище).



*В.В. Болотов
в последние
годы жизни*

«Здравствуй, дорогая Граня и дорогая доча Зина, – начинал дед крупными полуграмотными строчками. – Шлю я вам свой сердечный привет и желаю быть здоровыми». Добрая половина отведённой под письмо площади уже заполнена. Спохватившись, дед продолжает, но уже мелкими буквами: «Дорогая супруга Граня получил я ответ 2 письма в которых было изве[стие] про посылки...» Всё! Писать практически уже негде, а ведь толком ничего так и не сказано. Дед дописывает на оставшейся микроскопической полоске открытки «досвидание» и вставляет в отведённое место свои координаты:

«Лагерь Нейгамер (Нейгамер? – А.Л.), барак №....., военнопленный № 202, Ламсдорф». По такому примерно «сценарию» составлены почти все эти письма-открытки.



Одна из открыток, посланных из лагеря военнопленных. 1917 г.

Я раздобыл адрес автора книги «Другой военный опыт» и осмелился написать ей, задав единственный вопрос: не попадалась ли случайно не так уж часто встречающаяся фамилия «Болотов» в той горе архивных документов, которую она переворотила, собирая материал для своего исследования? Но, увы, ответ Оксаны Сергеевны был отрицательным: «Уважаемый Александр, спасибо Вам за письмо и информацию. К сожалению, зафиксировать все фамилии из 1,4 миллиона русских солдат и офицеров, попавших в немецкие лагеря, не представлялось возможным. В связи с гибелью центральных немецких архивов обрывочные сведения приходится собирать по крупицам в региональных центрах. В огромном фонде Центропленбежа в ГАРФе есть списки, но они также не систематизированы. Сожалею, что не могу помочь, Оксана Нагорная».

1999 г., 2012 г.

ПЛЕТНЁВ И ГОРБУНОВ

Летние беседы из 98-го года

Пятнадцать лет назад я работал в «Вечернем Омске» и вёл в газете рубрику «И это всё о нём...». «Им» оказывался то бизнесмен, то политик, то человек творческий... Две такие беседы я включил и в эту книгу. На мой взгляд, сегодня они напоминают не только о людях, которым посвящены, но отчасти отражают и само то время – «преддефолтные» летние месяцы 1998 года.

КИПЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

В конце 1970-х годов в Омской писательской организации всё чаще стал появляться новый, бывавший пока только проездом человек. Подкупала его необычная биография: шахтёр, дальневосточник, в прошлом – деревенский житель, сибиряк. Он вошёл в литературу ярко и стремительно, выпустив в 1973 году во Владивостоке первую, сразу же обратившую на себя внимание книгу прозы, напечатавшись в лучших «толстых» журналах, издавшихся в Москве.

Вначале он просто присматривался к нашему городу. Затем переехал сюда совсем. И очень скоро омские чиновники от литературы и руководившие ими «комиссары» из разного уровня парткомитетов поняли, какого трудноуправляемого и неудобного человека они получили «в подарок». Резкий и независимый в суждениях, он сразу же занял свою особую позицию. Говорил, что думал, на собраниях и во время встреч с читателями, не примкнул ни к одной из литературных «группировок», не стал добиваться квартиры в престижных кварталах, был равнодушен, а порой и непочтителен к устоявшимся местным литературным авторитетам.

Его же собственный авторитет в литературе всё креп, особенно после появления романа «Шахта», который был отме-

чен премией, неоднократно переиздан, переведён на иностранные языки, экранизирован.

А в самый разгар перестройки Александр Плетнёв неожиданно для многих просто исчез. Купил дом в глухой, не обозначенной на карте деревне и в городе стал появляться лишь изредка.

Одно из таких редких появлений – осенью 1997 года – наделало немало шума. В Омске проходил подаваемый с большой торжественностью выездной пленум Союза писателей России. Выйдя к трибуне во второй день работы пленума, Плетнёв буквально взорвал своим выступлением размеренный и благодостный ход помпезного писательского форума, обсуждавшего почему-то всё больше проблемы религиозные. Говорил он о своих потенциальных героях – жителях затерявшейся среди берёзовых колков, не заслужившей ни при развитом социализме, ни при недоразвитом капитализме асфальтированной дороги деревеньки Андреевки – людях изверившихся, годами не видящих собственной зарплаты, спивающихся, полунищих. Людях, с которыми он, известный писатель, живёт теперь одной жизнью...

Дорога к Плетнёву, вопреки опасениям, больших трудов не составила: автобус до Любино, тут же – местный автобус до поворота на Андреевку, шесть километров пешком по сухому грейдированному просёлку. И вот уже меня облаивает рослый пёс.

Сидим за кухонным столом – хозяин, его супруга Надежда Константиновна и я, – перебираем лесную клубнику утреннего сбора, нынче на неё хороший урожай. «Помогает» и самый младший внук, окончивший первый класс Никитка: то и дело тянет в рот приглянувшуюся ягоду покрупней – чтоб перебирать нам меньше оставалось...

– **Как здоровье, Александр Никитич?**

– Нынче получше. Нынче, сам видел, из всей скотины остались у меня куры да Зевс, который тебя обляял. Отдыхаю, ягодки вот собираю. А в предыдущие годы и корова была, и бычок, потом – поросёнок, гуси, даже овцы однажды. Тогда напрягался, тогда никакого продыху не было.

– **Как всё-таки пришла в голову сама мысль переехать в деревню?**

– Однажды, где-то во второй половине девяносто первого, мне вернули рукопись из детского издательства. По их же предложению собрал несколько рассказов, повесть «Дивное дело» включил, и получилась рукопись книжки для детей. И вот возвращают... Сопроводительное письмо: мол, дорогой Саша, мы теперь спасаемся коммерческой литературой, как и все другие издательства, извиняемся... Вот тогда-то я и понял, что образу жизни, который до этого вёл, моим литературным заработкам приходит конец. Так и вернулся к земле, к своим крестьянским корням.

– **Давай оставим пока в стороне литературу, а просто поговорим о жизни, которая нас окружает и которая у тебя становится в конце концов материалом для художественных произведений. Вот твой рассказ «Тихое помешательство» – очень страшный рассказ. Он ведь об Андреевке?**

– Конечно. Я вспоминаю прошлую жизнь – тоже бедную, жестокую, но вспоминаю и крестьян тех лет – другие были люди. Никак не могли переступить через неписанные нравственные законы, границы. А современный крестьянин очень устал, во многое перестал верить, он лишён сил ко всякому сопротивлению, иногда доходит до скотского, крайнего состояния. И он не протестует, он спокойно живёт.

Бывало, в первые годы моей здесь жизни подойдёшь к конторе – там всегда спор, там кипят политические страсти. Теперь же – полное спокойствие, никто ничего не обсуждает, ничто никого не волнует. Безразличие. Человек работает,

не получая никакой зарплаты, каждый день ходит на работу, нисколько при этом не возмущаясь. Приучили.

Недавно гляжу: мой сосед в жару идёт на работу в резиновых сапогах, а он и весной, и зимой в них ходил – больше обуть нечего и купить не за что. Они пьют, конечно, к тому же, пропивают всё, что можно и что нельзя.

– Ну, этим-то, положим, при любой власти у нас занимались...

– Да, при любой... Какие-то крупные, волнообразные напасти накатываются на Россию. Они не сразу вышибают из седла, как девятый вал, а постоянно – в течение всего заканчивающегося столетия. Поколения прежние, которые были крепче, уходят, а те, что послабее, остаются. И в целом генетически народ слабеет.

Жизнь – она, конечно, не кончится, будет жить человек на этой же российской, сибирской земле, только какой человек? Который более крепок, более способен к сопротивлению, к самоутверждению.

– Откуда же он возьмётся, такой человек?

– А свято место пусто не бывает. С точки зрения тех же китайцев, наши пространства от Урала до Чукотки – это необитаемая земля, тут двадцать миллионов всего-то населения. Плюс к тому она очень богата, это всем известно. Мы свои богатства осилить сами не в состоянии, каких-то инвесторов всё ждём. Поля приходят в запустение. Ещё на моей памяти,



когда я здесь появился, какие хорошие тут стояли хлеба, а сейчас сплошной осот: удобрять нечем, техника на последнем износе, семян не хватает.

– А тебе не кажется, что мускулы у деревни ослабли ещё и оттого, что она привыкла за последние

десятилетия к постоянным подпоркам: помощь города, списание долгов хозяйствам, государственное дотирование...

– Это всё закономерно, так было во все времена. Никогда государство не выпускало крестьянина из поля своего зрения. Мои родители переехали в Сибирь как переселенцы ещё до коллективизации. Из бедности вырвались, из воронежской тесноты. Государство перевезло их сюда бесплатно, им был построен дом-пятистенки на берегу Омки – выше от Омска за триста километров. И мать вспоминала, что сразу же хорошо зажили. Масло, шерсть, кожи – не успевали продавать. А вот у жены моей, Надежды Константиновны, предки из Черниговской губернии, так их ещё при царе переселяли в Уссурийский край: аж вокруг Африки через Индийский океан везли на Дальний Восток. Как же это было государству дорого...

Всегда не только город «подпирал» деревню, но и деревня город тоже. Да ещё, правду говорят, полмира на себе мы тянули – помогали всем странам, которые хоть какой-то плохонький, но социализм строили. А что сейчас? Разве не утекли на Запад из России за последние годы колоссальные средства? Живём бедно. Вот тот же нефтезавод на омской земле стоит, а трактор в Андреевке иной раз заправить нечем. Потому как рынок. Но рынок рынком, а где же рука государства? Она везде должна чувствоваться – и в деревне, и в институте, и на заводе, и в науке.

– Зимой не скучно тут, в деревне, особенно одному?

– Первые четыре года безвылазно в Андреевке жил. На одну зиму даже совсем один остался – Надежда тоже в город уехала. Но тут была у меня целая библиотека. И вообще, я никогда не чувствую себя одиноким, не чувствую, что меня сильно тянет к кому-то.

– А как с соседями? Повезло?

– Говорят: не покупай дом, а покупай соседа. Сперва мне казалось – какая разница, кто рядом живёт? Ан нет: очень

большие бывают сложности. Как-то приходит один и спрашивает: «Ты у меня лопату не брал?» «Нет», – говорю. А уже потом сообразил: это же он меня вроде как вором выставил, лопата ведь у него в сарае стоит. Всякое бывает.

Но – назвался груздем... Соответствуй. Тут не скажешь: я писатель, это ожидаемого эффекта не произведёт. Жить надо стараться соответственно.

Однажды мне в Омске предложили: «Ты рассказываешь, что деревенским детям носить нечего, давай дадим на эту тему объявление в газете, и люди многое из одежды принесут. Возьмёшь – отвезёшь, раздашь». Я сперва не сообразил, в чём дело: вроде бы задумка-то хорошая, а душа противится. Почему? Потом понял и говорю: «Вы, пожалуйста, привозите всё это собранное сами. Я живу в Андреевке равный среди равных, себя от местных жителей не отличаю. И они меня от себя, как мне кажется, уже тоже не отличают. Поэтому будет смешно и неестественно выглядеть, что Плетнёв вдруг – шеф, благодетель».

Ты, может быть, слушаешь и удивляешься полному отсутствию в моих речах какого-то оптимизма. Но ведь кроме оптимизма есть ещё чувство реальности, его нам не хватает. А этим «оптимистам», которые всё твердят: «Россия возродится», я что-то плохо верю. Не бескорыстно они так говорят.

Оптимистов и патриотов расплодилось сейчас – хоть отбавляй. Профессия прямо такая появилась – патриот. И не такая уж, видимо, невыгодная профессия. Недавно спрашиваю одного своего коллегу по литцеху, поэта: как прошёл твой творческий вечер? «Народу было... – говорит. – Хвалили...». «За что хвалили?» – спрашиваю. «За патриотизм», – отвечает. И никакой уже литературной памяти нет у человека: разве было когда-нибудь, чтобы Тютчева, Блока или Есенина хвалили не за их высший Божий дар, а за патриотизм или ещё за какое-нибудь политическое проявление?

– Александр Никитич, знаю, что к политике ты относишься отрицательно. Но скажи, пожалуйста, почему, на

твой взгляд, именно шахтёры отличаются такой политической активностью?

– Предыстория такая. Всегда почему-то было в народе расхожее мнение, будто шахтёры деньги дуриком гребут... А я тебе скажу: в социальном плане обездоленной людей среди советского рабочего класса не было.

Взять, к примеру, квартиры. Вечно шахтёры жили то в бараках образца тридцатых годов, то после войны вторую очередь подобных же бараков им понастроили. В начале пятидесятых – следующие «жилмассивы» такого же толка... И дед шахтёр, и сын, а потом и внук – все так жили.

Последний раз я был в Артёме в 1992 году, специально съездил на улицу Гоголевскую – обновить впечатления для романа «Лицедейка». И что ты думаешь? Стоят те же звериные логова. И до сих пор в них живут. А заработки вот какие были. Я работал «на лопате», потом взрывником: триста рублей заработаешь – доволен, спасу нет! А условия? Я страшно здоровый парень был, закалённый физическим трудом ещё в деревне, сто двадцать килограммов за вес не считал. И то после смены еле до кровати доходил. Да ещё газу нахватаешься...

А по четыреста-пятьсот рублей зарабатывали только специальные, избранные бригады. Социалистическая система вся держалась на этих передовиках. Вещь это банальная, всем известная – рабочая аристократия называется. Положено на шахту два Героя Соцтруда – и точка. А третий – хоть лоб разбей – Героем не станет!

Большие надежды шахтёры на нынешнюю власть возлагали, только из одной ямы в другую попали... Не платят денег за добываемый уголь да ещё теперь говорят, что и уголь-то не нужен, так как, мол, он нерентабельный, с высокой себестоимостью. Вроде, как уже целая отрасль не нужна стала.

– Тут недавно приезжал в Омск – в гости к родственникам – твой товарищ по шахте «Дальневосточная» Василий Афанасьевич Дегтярёв. Так вот он рассказывал,

что в ваших краях, в Артёме, создано сейчас специальное управление, которое закрывает нерентабельные шахты.

– Что значит «нерентабельные»? Да во всём мире подземная добыча угля нерентабельная. Без государственного дотирования она невозможна. А дотирования нет, вот шахтёры и возмущаются.

– **Хочу порасспросить тебя об отношении к религии. Хотя, вообще-то, в принципе, считаю этот вопрос сугубо личным, интимным – таким, который каждый человек должен без всякого афиширования решать для себя сам. Но раз уж о вере в Бога с высоких трибун теперь говорят... Ты ведь сам неверующий?**

– Удивительное дело: были – и не так уж давно – времена, когда я вставал на писательских собраниях и, будучи беспартийным, критиковал партию. И мне говорили: «Не смей! Не трогай!» А теперь те же люди, вчерашние ярые материалисты и атеисты, одёргивают меня и говорят: «Не смей трогать Бога!» Ведь именно это кое-кому не понравилось в моём выступлении на осеннем писательском пленуме – критическое отношение к новоявленным носителям религиозных идей, вчерашним верным солдатам партии. Я их называю «верующие ельцинского призыва».

Мать у меня была верующая, оставалась такой до конца. А отец, восемнадцатилетним ушёл на германскую войну и провоевал в общей сложности семь лет. После германской ещё крепко и Гражданскую зацепил – в Красной Армии был. Попадал в плен к белоказакам – убежал. Снова воевал. И всю свою веру он на этих войнах, конечно, подрастерял. Хотя крест носил.

Однажды в двадцать первом году попал он в плен к повстанцам Ишимского восстания, этот крест его и спас. Там была повстанческая комиссия, состоящая из стариков. Заходят туда ребята по одному и не возвращаются. Жутко. Заводят и его, и первый вопрос: «Коммунист?» – «Нет». Тут подходит к нему один старик из этой комиссии, как рванёт

гимнастёрку за ворот: «Что у тебя шея-то грязная такая?» Никакая, конечно, шея ему была не нужна, смотрел – есть ли крест.

Не нравится мне потребительское, пропагандистское отношение к религии. Вот теперь говорят: потому, мол, и войну с фашистами выиграли, что была у народа в душе православная вера. Ерунда! Неверующими мои старшие братья воевать уходили, среди их поколения мало было верующих. Что уж говорить о последующих...

Не верю я нынешним новоявленным верующим, которые «прозрели», видите ли, через многие десятилетия. Плутуство это. И в то же время я твёрдо верю, что Иисус Христос – историческое лицо, что основы его учения совершенно правильные. Сам я стараюсь всю жизнь следовать основным христианским заветам. Но считаю: нечего нам задирать рыло в небо и чего-то там просить. В христианских заповедях всё дано, всё сказано. Нужно только им следовать. А это не так уж легко.

– Какие у тебя сейчас отношения с Валентином Распутиным?

– Он давал мне рекомендацию в Союз писателей, поддерживал с первой книжкой «Чтоб жил и помнил». Когда-то предложил мне в письме: «Саша, пора нам переходить на "ты"», я же сам не мог переступить через это первый.

Но идёт время, меняется обстановка – политическая, социальная, нравственная. И вот встречаемся мы с Валентином на пленуме, около раздевалки. И он меня спрашивает: «Ты в Москве-то скоро будешь?» То есть для него той реальности, в которой я живу, не существует. «Как же я буду? – говорю. – На пленум – и то меня никто не приглашал, сам узнал и приехал. Но дело не в этом, Валя, я в трёхстах километрах от братьев живу и пять лет у них не был – не могу доехать, денег нет».

Понимает ли он это? Им как-то всё по-прежнему легко: сегодня – в Иркутске, завтра – в Москве, послезавтра – в Омске, на пленуме... Судя по репликам, которые он подавал, сидя

в президиуме, выступлением он моим был недоволен. Когда я про «Гавриилиаду» сказал, он заметил, что ещё неизвестно, Пушкин ли её написал... У нас все выгоду ищут: когда было надо – Пушкин «Гавриилиаду» написал, теперь вот выгодней говорить, что это, мол, ещё не доказано.

Потом он меня к губернатору на приём приглашал, только я туда не пошёл. Улучил момент – прямо его спросил: «Ты на меня за выступление рассердился, обиделся?» – «Нет, нет, – говорит, – ни в коем случае». Не знаю, насколько уж это было искренне. А переписываться с ним, как и с многими другими, я сейчас не переписываюсь.

– Объясни мне такой парадокс, Александр Никитич. Вот ты говоришь: деревня деградирует, сельскохозяйственное производство падает. Да и сам я видел, проехав нынче весной область от Омска до Тары и от Калачинска до Исилькуля: вдоль всех трактов – брошенные коровники. Почему же тогда в гастрономах и на базарах такое изобилие, какого я, прожив в Омске все свои пятьдесят пять лет, никогда не видел? Ведь не одними «ножками Буша» торгуют, но и родной, местной продукцией...

– В своё время мы мечтали о хлебе: «Эх, наесться бы досыта!». Сбылась мечта – наелись. Мечтали о штанах, о ботинках – пришло время – и оделись, обулись. А потом появилась уверенность, что никогда, несмотря ни на какие засухи, не будет у нас голода. А сейчас такой уверенности нет. Сейчас и голод может грянуть. Частично он уже есть.

Есть у нас в деревне семьи, в которых недоедают. Есть уже на севере хозяйства, не дающие хлеба. И у тех, которые пока ещё его дают, тоже перспективы невесёлые, если ничего не изменится, – я разговаривал с директорами некоторых из них. Государственная политика странная: можете сеять, можете не сеять – как хотите. Скот так же – можете держать, можете не держать... А изобилие – оно в момент может исчезнуть.

А главное: меняется сам народ от этих катаклизмов, регрессирует. Разрушено всё так основательно, что слишком большие нужны изменения – и внутренние, в человеке, и экономические, чтобы всё снова поднять. Как подняли после коллективизации, после войны, когда сам человек ещё был прочен. А сейчас человек сбит с толку, не может понять, в чём заключаются его интересы.

Раньше как было в деревне: помочь соседу – святое дело. Стожок поставить, дров распилить, притащить что-нибудь тяжёлое. Всё это делалось сердечно, без натуги, быстро. Теперь же никто друг другу бесплатно и в морду не плюнет. Это что-то поразительное. Каждое движение, каждый шаг – всё продаётся. Кто-то же в этом виноват? Сам по себе человек так измениться не может, всё меняет социальная среда, условия жизни.

– Восемь лет почти прошло после выхода твоей последней книги, и вот теперь только-только потихоньку начинает молчание Плетнёва прерываться: статья в сборнике об Олеге Чертове, рассказ в газете, в «Складчине-4» пойдёт большой кусок из романа «Лицедейка». Видимо, это не случайная цепочка? Хочется, видимо, высказаться?

– Хочется. Очень хочется. Тем более само время иное: куда ни глянь – всюду драматические и даже трагические коллизии, куда ни повернись – везде слёзы и страдания. И если ты писатель, ты смотришь на всё это не просто глазами зрителя, а пропускаешь через сердце.

Не знаю, бывало ли у тебя такое: иной раз в автобусе еду – кто-то толкается, кто-то грубит, нервничает, раздражается. А глянешь на всё это как бы со стороны, и вдруг закипит в сердце, думаешь: как же жалко тебя, человек! Конец второго тысячелетия, всё мерзкое должно бы уже уйти в прошлое. Уж такое пережито, что каждый из нас достоин самого лучшего, а мы – голодные, злые, оборванные. Потому тут уж, как говорится, не просвищешь соловьём.

– Помнишь, пятнадцать лет назад, накануне твоего пятидесятилетия, я брал у тебя интервью – и тоже для «Вечёрки»?

– Не обижайся, но, честно говоря, не помню.

– А я вот перечитал тот текст перед поездкой сюда: очень наивным он сейчас смотрится. Газета та же, но выходила она в другой стране. И тем не менее: перед 65-летием пожелаю тебе того же, что и пятнадцать лет назад: здоровья и счастливых страниц!

– Спасибо!

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧАРОДЕЯ

Смею предположить, что в недавние «идеологически выверенные» времена мы не смогли бы получить такое явление, как последние полотна омского художника Николая Горбунова. И не репродуцировали бы их наперебой органы печати, не писали бы о них искусствоведы и журналисты, не молчали бы перед ними в выставочных залах задумчивые посетители. Смею предположить, что в лучшем случае стояли бы эти холсты прислонёнными к стене в мастерской автора и время от времени показывались бы коллегам и многочисленным гостям.

Говорю «в лучшем случае», ибо вполне можно предположить, что в случае ином, когда в каждом творце сидел свой собственный, годами и десятилетиями идеологической зашоренности вышколенный так называемый внутренний цензор, он, этот невидимый «цензор», просто-напросто не выпустил бы на белый свет ни «Касьяна», ни «Волкодлака», ни «Путешествия чародея», ни «Хранительницу ночи», ни тем более «Кузькину мать». Рискую, что данное предположение может даже несколько обидеть самого художника. Но, останься незыблемыми порядки, когда судьбу произведения чаще всего решал не коллективный разум худсовета, а при-

ставленный к искусству конкретный чиновник, многое ему, автору, просто могло и не прийти в голову. Чисто автоматически. Пропади он пропадом, этот годами культивируемый в душе творческого человека «идеологический автоматизм»!..

Ладно, не будем об этом. Не станем отбивать хлеб у искусствоведов, которым – хотят они этого или не хотят – но всё равно придётся подробно разобраться во всех плюсах и минусах давившего на отечественное искусство многолетне-го марксистского пресса. Попробуем пока разобраться в конкретном деле: почему в последние годы так громко зазвучал живописец Николай Горбунов.

– Николай Григорьевич, ты ведь родом из Исылкуля?

– Да. В Омске родителям не позволили в своё время устроиться жилищные условия, а в Исылкуле родня была, вот они и приехали туда. Там я и родился, там всё детство прошло, и, как сейчас разумею, жалеть об этом обстоятельстве никак не приходится. Городок был маленький – фактически полудеревня. Природа рядом: лужайки, полянки, всегда босиком, огороды – свои и чужие...

– Когда почувствовал, что рисовать тянет?

– А вот в самом раннем детстве и почувствовал. Помню, ездили мы на Украину – в гости к друзьям отца. И меня, степняка, Урал поразил, который проезжали, – горы, поросшие лесом, скалы... Захотелось это передать на бумаге. Краски были самые примитивные – акварельные, некачественные – с песком, кисточки я из собственных волос изготовил. Нарисовал целую серию изображений, обклеил ими всю свою комнату. Родители похвалили – из соображений, конечно, педагогических.

А потом была исылкульская художественная школа. Именно с ней и связаны самые первые, самые замечательные открытия того художественного мира, в котором до сих пор живу. Почему-то навсегда запомнился этот негромкий стук кисточки о баночки с водой, который раздавался у нас во время занятий.

Учил меня Геннадий Александрович Денисюк – это первый мой учитель. Имел он хорошее образование – Московский полиграфический институт, а до этого – Свердловское художественное училище, волею судеб оказался в Исылькуле. Три раза в неделю я был под опекой этого человека, и сегодня вспоминаю это время как самое значительное в моей жизни. После была мне прямая дорога на худграф Омского пединститута. Поступил, окунулся в полубогемную студенческую жизнь, очень мне всё это понравилось – и новые друзья, и серьёзное отношение к искусству. Учили нас и Босенко, и Штабнов, и Белов – разные люди, разные у каждого представления об искусстве – что, в общем-то, хорошо, так как ни под чьё конкретное влияние я не попал, остался самостоятельным.

– Так на основе чего состоялся тот Горбунов, которого в последние годы знают все, интересующиеся изобразительным искусством? Откуда появились в твоих работах мотивы таинственности, загадочности, мистики? Откуда пришли на твои полотна эти необычные, ирреальные герои – чародеи, домовые, оборотни?..

– Никакой особой задачи – окунуться в этот мир – у меня, конечно, не было, получилось всё естественно. Увлёкся ведической, дохристианской культурой – более древней, чем культура православия, читал об этом, думал. В древних языческих представлениях человека об окружающем нас мире немало поэзии, сильных влекущих образов – недаром так много перешло оттуда в более позднюю русскую культуру, фольклор.

Все эти мои поиски пришлось на конец восьмидесятых годов, когда рухнули всяческие идеологические запреты и ограничения. В такой обстановке и рождались полотна «Домовой», «Кузькина мать», «Чёрный петух»... Легко приходили сюжеты, работалось запоем, одним словом – накатило. Как мне думается, выходило на полотно то, что таилось во мне долгими годами, что рождалось, может быть, ещё где-

то в детстве, исходило от таинственных и страшноватых рассказов наших бабушек, от ночных рыбалок и хождений по окружающим Исилюль лесам...

– Особенно прозвучали твои живописные работы на выставке девяносто третьего года, я не ошибаюсь?

– Верно. Хорошо посещал выставку зритель, хорошо отреагировала пресса. Кроме того, мне удалось выпустить, продав несколько работ, каталог – это тоже

способствовало звучанию выставленного. Получил я тогда немало откликов от историков, от литераторов, от знатоков русского фольклора – чувствовалась их заинтересованность. Ощутил интерес и профессионалов-искусствоведов, коллег по творчеству.

– А что говорили обычные зрители?

– Говорили, что от каждой картины идёт много информации, что мои герои как бы заглядывают в глаза, заставляют остановиться, вести с ними некую внутреннюю беседу и т.д. Не поверишь – были даже обиды, что на такой выставке не отдохнёшь, что она потом не отпускает, заставляет думать.

– Так это же здорово!

– Ну, для кого здорово, а для некоторых зрителей, привыкших относиться к искусству только как к развлечению, не очень. Их в конце концов тоже можно понять. Одна супружеская чета даже зашла ко мне в мастерскую – специально поспорить на эту тему. Говорят: и так наша жизнь такая тяжёлая, а тут ещё ваша выставка, на которую пришли в вы-



*На фоне картины
«Кузькина мать» (1992 г.).
Фото Марка Фрумгарца*

ходной день получить удовольствие, отдохнуть, а картины ваши заставляют голову ломать, душу будоражат, зачем это? Пришлось доказывать свою правоту, говорить, что художник призван вопросы задавать, а не только развлекать и доставлять глазу удовольствие... Что же – теперь и Достоевского не читать?

Много ещё на свете непознанного, и оттого – по-особому поэтичного. И именно здесь художник может немало сказать. В этом смысле я немного недолюбливаю науку, стремление которой – всё по полочкам разложить, не оставить ничего необъяснённым. Ну как бы мы отнеслись к человеку, который, поймав золотую рыбку, начал бы её препарировать, чешую золотую с неё счищать, чтоб узнать, как это чудо устроено? Не лучше ли любоваться такой золотой рыбкой, если уж судьба нам её иногда посылает?..

– **Ты не относишь себя к верующим людям?**

– А вот как, по-твоему: ребёнок – он верующий или нет? Твёрдо убеждён – верующий. Душа у него живая, незамутнённая, и он постоянно находится в состоянии познания жизни, веры в чудо. Ребёнок, например, не может поверить, что когда-нибудь его не станет. Когда он начинает это понимать, значит, он вырастет. Поэтому нам с нашим пионерско-комсомольским детством трудно быть верующим в обычном понимании этого слова.

Внутреннее ощущение веры во мне есть, может быть, оно чем-то как раз похоже на ощущение ребёнка, о чём я уже говорил. Но войти в храм и перекреститься не считаю себя вправе, не хочу быть неоткровенным, не хочется фальшивить – и прежде всего перед самим собой. Не готов я и к тому, чтобы прийти к другому человеку и покаяться перед ним в своих грехах.

Или: стою перед иконой, понимаю её красоту, воспринимаю её как предмет искусства, но не постигаю её святости. Из-за этого я не очень-то удобно чувствую себя в храме. Хотя людей верующих уважаю и понимаю.

– Слышал, что некоторые твои последние работы заинтересовали зарубежных коллекционеров.

– Интерес такой есть, хотя меня это несколько удивляет, ведь в этих полотнах всё-таки чётко проявляется славянская специфика. Но дело в том, что предлагать свои работы за рубеж мы ещё не умеем, были случаи, и не один, когда нас просто-напросто обманывали: забирали наши произведения с обещаниями денег, славы и... они потом исчезали.

А мои работы того цикла, о котором сегодня у нас зашла речь, были ещё закуплены музеем «Искусство Омска», несколько вещей есть в галерее Промстройбанка, которую он сейчас формирует. Несколько работ – в музее города Красноярск-45 (есть такой в недавнем прошлом засекреченный городок). Для Курганского музея были отобраны две работы, но вот уже второй год курганцы никак денег не могут найти. Это и не удивительно: наш музей изобразительных искусств в последнее время тоже пополняет свою коллекцию современной живописи в основном только за счёт дарений художников – нет средств.

Надо сказать, что особо я и не навязываюсь. Есть ведь и такой ещё «способ»: приезжаешь, допустим, в Русский музей и говоришь – купите у меня вот эту работу, а вот эти две я вам подарю. Я так не делаю, не в моих это правилах.

– Интересно, а были среди высказываний искусствоведов об этих произведениях такие, которые тебя самого заставили по-другому взглянуть на сделанное?

– Боюсь, что это может кому-то невежливым показаться, но я никогда не верю в похвалу. Чем больше хвалят, тем больше я сомневаюсь. Трудно, если вообще не невозможно, пересказать замысел художника. Больше того: бывает, что сам автор начинает говорить о своей же работе – я, мол, хотел то-то и то-то создать. Не верь – врёт! Не нарочно, конечно, но всё равно – врёт.

Нельзя, в принципе, рассказать словами о том, что ты делаешь и что ты сделал. Всё равно это словесное выражение

будет неточным и неполным, приблизительным и схематичным. Чаще всего и искусствоведческие попытки объяснить произведение художника бывают односторонними, иногда такие объяснения близки к истине, но полная объективная оценка редка чрезвычайно. Трудно выразить трудновыразимое. Каждый зритель своё черпает из той или иной работы, это зависит и от его общей подготовленности, от эрудиции, от настроения и так далее.

– **Прокомментируй, пожалуйста, свою работу «Волкодлак».**

– Это оборотень, волкочеловек. Тут, видимо, вспомнились в наших искилькульских краях страшные рассказы о перевоплощениях животных в людей, такие рассказы ходят там ещё с периода войны, в критические времена вообще много всяких легенд появляется. Должно быть, тут как-то воплотились и восточные теории о переселении душ. Всё это совместилось. Животные – вообще явление загадочное, я даже на свою кошку иной раз с некоторым трепетом смотрю – есть в ней что-то человеческое, всё понимает, всё видит, какая-то таинственность, усмешка в глазах, ведёт себя так, как хочет, с нами, с людьми, её хозяевами, она соприкасается только какой-то незначительной частью своей жизни. А что уж тут говорить о волке, это вообще животное таинственное, не до конца изученное. А с другой стороны – мало ли мы встречаем людей с истинно волчьей сущностью?

О собеседнике: штрихи к портрету

«Искусствоведы отмечают, что творчество Н. Горбунова созвучно стилистической теории Э. Тайлора. Душа, дух человека есть двойник, который живёт как в его теле, так и имеет способность переселяться в другие объекты... «Волкодлак» (оборотень) Горбунова крайне редкая картина по характеристикам человека и животного. Мирно любопытствующий зверь и агрессивно-недоброжелательный че-

ловек воспринимаются в условиях катаклизмов конца XX в., потрясающих всё человечество».

(Культура Сибири. – 1995. – № 1.)

– Ты уже упоминал об интересе зарубежного зрителя к творчеству омских художников. Скажи, уровень творчества наших земляков в самом деле так высок, что не стыдно и за границей показать?

– Много у нас самобытных, сильных и интересных художников. Недавно я был в Москве, там видел на Крымском валу выставку из картин, которые в последние годы приобрели в России англичане. И пришёл к твёрдому убеждению: мы из этого ряда никак не выпадаем, кое в чём и «покруче», может, выглядим – самобытней и разнообразней. К сожалению, представлением нашего творчества на международный рынок пока никто целенаправленно не занимается, а самостоятельные попытки представить туда самих себя, как я уже говорил, чаще всего заканчиваются неудачей. Работы исчезают.

Далека наша Сибирь, западные коллекционеры и их представители, как правило, дальше Москвы и Питера не едут. Инициатива с нашей стороны не проявляется по простой причине – ехать за границу дорого. Я уже вот третий год, как избран на должность председателя нашего правления, но пока возможности поехать за рубеж не было.

– Тебя избрали председателем правления Омской организации Союза художников России, кажется, в девяносто шестом году?

– Да. У нас ведь всегда демократия была, ещё в коммунистические времена, когда где-то на подобные должности партвласти настойчиво «рекомендовали» (читай – назначали) того, кто их больше устраивал, здесь, у художников, такое туго проходило: выбирали сами. Потому у нас на этой должности мало кто чувствует себя «начальником». Что вообще-то сейчас минус. Сейчас, может быть, наоборот, на

эту должность следует какого-нибудь прирождённого директора ставить с железным характером и твёрдой рукой. Такое непростое для художника время.

Например, я по натуре далеко не лидер. А приходится иногда твёрдость проявлять, часто нужно общаться с должностными лицами, с чиновниками разных уровней, от которых зависит та или иная сторона жизни нашей организации, приходится изучать нравы, царящие в коридорах власти, а это тоже не просто.

У нас здание Союза художников сорок лет было без ремонта. Приходится электрооборудование всюду менять. Крышу отремонтировали. В выставочном зале оборудование давно уже устарело – этим тоже занимаемся. Одним словом, чисто хозяйственных дел хватает.

– Николай, ты в своё время входил в молодёжное объединение при Союзе художников?

– Нет, никогда. В те времена я числился в «авангардистах», а таковых к молодёжному объединению старались не подпускать. Боялись, видимо, что мы дурно влиять будем на молодых. В молодёжных выставках я участвовал, но официально членом молодёжного объединения не был.

Понимаю, куда ты клонишь: хочешь спросить, почему сейчас у нас нет специального молодёжного объединения, как раньше. Да, оно не существует, но в нём, пожалуй, и нет сегодня особой нужды. За молодыми мы следим и сегодня, но уже не в том смысле, как когда-то. Это раньше «отслеживали» – не повернёт ли талантливый молодой художник в идеологически неверную сторону, не ударится ли в формализм? Теперь никаких ограничений нет, было бы главное – талант, а уж тут-то мы человека из поля своего зрения не упустим.

В общем, ситуация резко переменилась. Да чего тут далеко за примером ходить: вот перед тобой сидит бывший подозрительный человек, авангардист. А нынче его избра-

ли председателем организации Союза. Шучу, конечно. Но в каждой шутке...

Сейчас многие молодые, как и во все времена, увлекаются поисками формы. Некоторым, чего греха таить, кажется, что работать в условной манере легче. А вот здесь нас на мякине не проведёшь. Подлинный авангард от элементарной халтуры отличим. Есть люди, рассуждающие так: мир стал непонятным, невероятно сложным, – таким же должно быть и моё искусство. А есть ли за душой врождённый вкус, элементарная грамотность, элементарное знание рисунка, ощущение цвета?

Большинство нынешних молодых апологетов условного искусства перепевают (сами, возможно, этого и не подозревая) искусство конца пятидесятих и шестидесятих годов, бытовавшее в странах народной демократии: те же приёмы, те же цветовые решения. Но есть и талантливые люди.

Тут другая беда: многих талантливых ребят портит рынок. Те, кто послабей, идут за ним. Не впереди зрительского вкуса, а за ним. Например, в моде сейчас изображения под «наив», под примитив – изготавливаются такие произведения, лишь бы покупались.

– Значит, появилось всё-таки у «новых русских» стремление украсить своё жилище, свой офис произведениями искусства, ощущается это? Есть сегодня люди, желающие вложить деньги не в ещё одну иномарку, а в картину?

– Есть. Заработал себе человек квартиру, машину, и появляется у него желание что-то сделать «для души». Покупает дорогую картину, советуется при этом с художником. Делает это сознательно, понимая, что вкладывает деньги не в бизнес, что процент с них в обозримом будущем не получишь. Такие люди достойны уважения. Говорю это не потому, что они сегодня поддерживают моих коллег материально. Вижу в их действиях, может быть, неосознанную

заботу о будущем – не только своём личном, но и о будущем культуры.

Они как бы выполнили свою первую «программу»: сели в джип, повесили на шею золотую цепь, разговаривают поотовому телефону. Теперь выполняют «программу» вторую – приобщаются к искусству. Можно всячески приветствовать и создание своих галерей банками, банки в данном случае работают и на сегодняшний день, поддерживая конкретных художников, но одновременно о будущем думают, ведь купленные ими картины достанутся нашим потомкам.

– Как-то академик Лихачёв заметил, что он не поддерживает презрительного, снобистского отношения к людям, которые собирают личные библиотеки, а сами собираемых книг не читают. Не нужно, говорит Дмитрий Сергеевич, снисходительно относиться к таким собирателям, а уважать их надо уже за то, что не хрусталь скупают и не золотые побрякушки, а книги. Книга же рано или поздно обязательно начнёт работать на человека: не дети этого собирателя станут пользоваться данной библиотекой, так внуки...

– Что же касается эрудированности в области искусства, то это – дело наживное. Наблюдал я за разными людьми – за бизнесменами, за чиновниками, которые поначалу придут к нам в мастерские или на выставку, – ну ничего не понимают! Придут во второй, в третий, в четвёртый раз – глядишь, уже что-то дельное высказывают, реализм от сюрреализма уже отличают. Вкус развивается, человек не может быть абсолютно глухим к прекрасному.

– Есть на твоей памяти примеры (не обязательно фамилии называть), когда из-за тяжёлого материального положения, от отчаяния творческий человек бросал кисть и уходил из искусства – в бизнес, например?

– Нет, не припомню. Если человек ощущает творческое горение, он не уйдёт из искусства, не такие мы люди. Скорее – запнёт от душевной пустоты.

А вообще, период сейчас для творчества очень интересный. Все сломы, происходящие в обществе, всегда находят отклик и в душе, и в творчестве художника. Очень резкие перемены происходят прямо на наших глазах. То мы ринулись из полуфеодализма чуть ли не в коммунизм, а сейчас – из этого недостроенного коммунизма – в капитализм. Таких скачков, пожалуй, нигде ещё не бывало. Это же всё обязательно должно отразиться в искусстве.

О собеседнике: штрихи к портрету

«Николай Горбунов своим творчеством заставляет как раз внимательнее и глубже посмотреть в историю России, которая практически на всём протяжении творилась крестьянами. Делает это он не навязчиво – в виде стилизации или цитирования, а самостоятельно размышляя над всеми сложными проблемами отношения человека и природы, духа и обыденной рациональности».

(Глубинка. – 1996. – № 2.)

– Художник, творец во все времена был одинок, это, пожалуй, неизбежно. Не усугубляется это чувство в наши дни, когда большинство людей озабочено собственными нелёгкими проблемами, каждодневным выживанием и элементарным пропитанием?

– Встанешь утром, глянешь в окно – солнце поднимается, небо красивое – да ведь всё же в природе всегда прекрасно, всё и у нас образуется. Что же касается чувства одиночества, то от него, действительно, никуда не деться. Но, может быть, для творческого человека это не так уж и плохо – лишний раз ощутить себя одному, лишний раз подумать?

Многое, если не всё, что нам приходится делать, оказывается нужным только тебе. Но надо ли от этого вдаваться в отчаяние – опять же вопрос. Нужна твоя работа тебе – завтра будет нужна ещё кому-то. Потерпи, не наваливай её никому, не унижайся...

Так уж получилось, что, уже уходя, уже не под диктофон, на пороге мастерской задал я Николаю Григорьевичу самый, как теперь понимаю, главный вопрос: «К мольберту-то сейчас подходишь?» Он взял меня за рукав и подвёл к летящим по нескольким холстам птицам. Странные эти птицы с маленькими, удлинёнными головами одновременно представляют собой и расходящиеся, разорванные концентрические круги.

Невнимательно слушал я туманные объяснения автора по поводу этих птиц (сам же он говорил: «Не верь, – врёт!»), пересказывать их не стану. Но хорошо понял и запомнил одно: «языческий» период у Горбунова, видимо, заканчивается, мастер не хочет бесконечно тиражировать самого себя, ему неинтересен гарантированный успех. Начинается нечто новое. Художник снова ищет. И, кажется, уже нашёл. «Концентрические» птицы Николая Горбунова скоро вылетят из его мастерской, взмахнут своими широкими крыльями.

1998 г.

Комментарий 2013 года

В прошлом году один за другим ушли от нас два этих незаурядных человека: в феврале – Николай Григорьевич Горбунов (1952–2012), в мае – Александр Никитич Плетнёв (1933–2012). И теперь всё, связанное с ними, воспринимается в прошедшем времени – в грустном и щемящем ключе.

После смерти А.Н. Плетнёва я написал о нём очерк «Кипящее сердце» (см. журнал «Сибирские огни», № 6 за 2012 г.; полный вариант – альманах «Складчина», вып. 2(38) за 2012 г.). Очерк получился пристрастным и, может быть, даже излишне резким по отношению к некоторым коллегам писателя. Может быть, сказалось то, что боль от потери была тогда слишком свежа. Впрочем, что написано пером...

«Что сказать в конце?... – написал я год назад. – Спи спокойно, дорогой и незабвенный Саша! Земля тебе пухом, уважаемый Александр Никитич! Откипело, успокоилось твоё сердце. Спасибо, что ты был и оставил всем нам свои прекрасные книги!.. Рано или поздно наше нацеливаемое на "обывление" общество излечится от того тихого помешательства, в котором цепенеет уже много лет, и новые читатели, которые – уверен! – всё-таки не станут быдлом, уже по-новому прочтут твою замечательную – мужественную и одновременно поэтичную – прозу».

А закончу я простыми словами опять же самого Александра Плетнёва, они из его предисловия к книге Александра Дегтярёва «Зазимок»:

«Какое же редчайшее явление в человеческой природе – литературный талант!»

Что же касается Коли Горбунова, то о нём мне буквально ежедневно напоминает собственный портрет его кисти, висевший на стене моей комнаты. История портрета такова.

В 1998 году, когда текст беседы с художником был уже в корректуре, я, созвонившись, принёс его в мастерскую. Развернул оттиск газетной полосы и попросил прочитать.

– Как?! Это всё обо мне?! – удивлённо спросил Николай. – Сократят, наверное...

До этого о Горбунове писали весьма и весьма коротко – я специально ходил в Пушкинскую библиотеку и прочитал все эти скудные публикации. А наша беседа «разлеглась» почти на всю газетную страницу формата А-2.

– Нет, ничего не должны сокращать, всё уже согласовано, завтра можешь газету покупать.

Поправок, помню, Николай никаких не сделал, и я, свернув оттиск, засобирався в редакцию.

– Старик, я твой должник, – сказал на прощанье хозяин мастерской, пожимая мне руку...

Словам этим я тогда особого значения не придавал, но вспомнил их через четыре года, в 2002-м, когда вызванный телефонным звонком вновь оказался в горбуновской мастерской. Выяснилось, что Николай работает над серией живописных портретов под условным названием «Люди омской культуры». Уже готовы портреты певицы Светланы Бородинной, артиста Омского музыкального театра Георгия Котова и ещё нескольких актёров этого же театра, предпринимателя, мецената и одновременно председателя комиссии по культуре Омского Законодательного собрания Александра Третьякова.

– Хочу и тебя включить в этот ряд, – заявил Николай Григорьевич. – Согласен?

Разумеется, я был ошарашен. Но ломаться не стал...

Начались сеансы позирования (удовольствие, доложу я вам, ниже среднего).

И вот уже десять с лишним лет висит в моей комнате это темноватое полотно в красивой, тоже тёмной раме. И смотрит на меня с него бледный мужчина, сильно похожий на местного литератора Л. Странное чувство испытываю я каждый раз, глядя ему в глаза. И каждый раз вспоминаю ни на кого не похожего художника-чародея Николая Горбунова. Вспоминаю разговоры с ним, книжные шкафы в его мастерской, набитые литературой о язычестве и дохристианской Руси, его улыбку...

ЗАМЕТКИ С ТРЁХ ПИСЬМЕННЫХ СТОЛОВ

Всеволод Иванов незадолго до смерти написал в своём дневнике: «Всякая литература через сто, двести (триста лет уже для Шекспира) отмирает. И почему ей не отмирать, когда гибнут целые цивилизации, уходя бесследно во тьму?»

Мнение, безусловно, не бесспорное, но заставляющее задуматься.

Не знаю, поверят ли в мою искренность, не заподозрят ли в рисовке, но, честное слово, — когда спрашивают, кто я по профессии, то слово «писатель» каждый раз произношу с каким-то внутренним «вздрогом». Ну как это: сам Лев Толстой был писателем, и вот получается, что и я, выпустивший с десятков документальных книжек, — тоже. От одной этой простой мысли становится как-то не по себе. Данное ощущение сродни, пожалуй, тому, что я испытывал, когда на волне перестройки стал вдруг «службой народа», — был избран депутатом одного из райсоветов Омска. Во время первых сессий мне всё казалось, что вот сейчас кто-нибудь войдёт в зал, подойдёт ко мне и громким строгим голосом скажет:

— Ну, а ты-то здесь что делаешь?!

(Впрочем, в девяносто третьем году примерно так и вправду сказали, только сразу всем).

А если серьёзно, то меня, пишущего прозу документальную, основанную на реальных фактах и архивных бумагах, то и дело уже начинают цитировать. Сколько будет продолжаться такое цитирование, — затрудняюсь, как пишут сейчас в анкетах, ответить. Но, видимо, довольно долго. При этом вполне отдаю себе отчёт, что причина такого (чего там греха таить — лестного для меня) процесса заключается не столько в литературных красотах моих книг, сколько в их фактографической, документальной природе.

Но, тем не менее — книги-то всё-таки мои!

То, что мне сложно говорить о своём профессиональном статусе, усугубляется ещё и самой сложностью нынешней литературной жизни, разделением Союза писателей, тем, что в Омске, как и во многих других городах, существуют две писательские организации. Вот как, скажите на милость, объяснить это не особенно сведущему человеку, обыкновенному читателю?

Как-то я был приглашён на юбилей одного известного омского поэта. С юбиларом мы дружим лет, однако, тридцать пять, всякое было за эти годы – и ушедших общих товарищей оплакивали, и рублями последними делились... А вот в Союзах писательских оказались разных. Я слушал приветственные речи и дивился тому, какая всё-таки мешанина присутствует сегодня и в окружающей нас жизни, и в наших головах. С одной стороны – с гордостью говорилось, что поэт за один из недавних своих сборников награждён самой престижной в нашем регионе премией – то есть заслуги поэта отмечены властью. На вечере выступала и очаровательная представительница этой власти – дарила поэту цветы и целовала его в щёчку. Зал аплодировал. А с другой стороны – редакторы оппозиционных газет плюс известные всем «левые» депутаты областного Законодательного собрания в один голос говорили юбиляру, что его стихи помогают им вдохновлять народ на борьбу. То есть получается – на борьбу с той же самой властью! И зал опять аплодировал.

Подняли говорить и меня. Пришлось произнести несколько не очень-то связанных слов на тему, что если, мол, предположить разделение Союза писателей ещё на несколько частей, то мы с юбиляром всё равно останемся в одной незримой команде – команде людей, любящих литературу и пытающихся в меру своих сил и способностей служить ей.

Потом на скромном фуршете как «левые», так и «правые» друзья юбиляра наливали себе из одних выставленных им бутылок и закусывали одинаковыми бутербродами.

Уверен, что виновник торжества, будучи человеком та-

лантливый и с юмором, рано или поздно переплавит эту фантазмагорию в соответствующие строки. Но спрашивается: можно ли сегодня, при таком «смещении умов» быть «едиными и неделимыми»? Да сейчас одних только компартий в России штук пять, почему же писатели не могут разделиться по, так сказать, «интересам»?

По сути дела всё возвращается на круги своя. Когда-то, в двадцатые годы, существовали десятки различных литературных группировок. С усилением тоталитаризма партия (читай – Сталин) решила воплотить на практике теоретический завет своего основоположника о том, что литература должна стать частью «общепролетарского» дела. В 1932–1934 годах писатели различных творческих направлений, вкусов и убеждений были объединены (или согнаны?) в единый Союз советских писателей. И до начала девяностых годов все командные «кнопки» (тиражи, издательские планы, посты главных редакторов журналов и т. д.) были под рукой у номенклатуры: стадом командовать легче. Как только партийные вожжи, управляющие «инженерами человеческих душ», ослабли, противоречия, давно уже существовавшие под крышей Союза писателей, обострились, а центробежные процессы усилились.

Однажды была в телевизоре такая, как сами телевизионщики говорят, «картинка»: Ахмадулина целовала... Распутину. Ни за что бы не поверил, если б не видел это собственными глазами. В тот вечер Валентину Григорьевичу вручали премию А.И. Солженицына. Потом «Литературка» в своём отчёте с вручения акцентировала внимание не столько на самой премии (и так ясно, что она более чем заслуженна), сколько на том, что чуть ли не впервые за последние годы «встретились два враждующих писательских лагеря». На том, что взглянули друг на друга первый секретарь нашего Союза российских писателей Светлана Василенко и руководитель «идейно» как бы «оппозиционного» Союза Валерий Ганичев.

А ведь я хорошо помню, как осенью девяносто седьмого, сидел я с гостевым приглашением в кармане на выездном

омском пленуме «их» Союза, слушал ораторов, смотрел на тех же Ганичева и Распутина, державно, по-генеральски расположившихся в президиуме. И вспоминал Иркутск конца 1971 года, косматого хмельного Сашу Вампилова, познакомившего тогда меня с не таким ещё знаменитым Распутиным. Вспоминал иркутскую газету, где именно в те дни, в ноябре семьдесят первого, были впервые «с продолжением» напечатаны «Уроки французского», задымлённый десятками сигарет номер гостиницы «Ангара», где я ночью, проводив сильно тяжёлую ораву гостей и подержав голову под холодным краном, начал наконец читать эту газету. И не смог потом заснуть до самого утра, несмотря на усталость...

– Слушай, – ткнула вдруг меня в бок сидящая рядом знакомая библиотекарьша, тоже пришедшая на писательский пленум посмотреть на столичных знаменитостей, – а ведь все они ведут себя так, будто вас и не существует.

Я отшутился, вытаскив свой пригласительный билет, – мол, не тайком сюда пришёл, а раз пригласили, – значит, всё-таки помнят, имеют, так сказать, в виду. Но сам подумал, что замечено-то точно.

А потом начались демонстративные великосветские поцелуи. Поцелуи, конечно, не показатель, но плохой мир всё же лучше хорошей войны.

Мы же тут, в наших омских палестинах, хоть и не целуемся, но и врагами нас никто пока не называет – повода не даём. Не смешим честной народ – не играем в литературную борьбу местного разлива, не шумим, как воробьи в вениках.

Да, разные мы люди. Но ведь это не повод для того, чтоб собачиться. Наоборот, хорошо: стало быть, не сбылась заветная мечта Козьмы Петровича Пруtkова о введении единомыслия в России. Не ввели – как ни старались семьдесят с лишним лет.

А читателю безразлично, кто в каком писательском Союзе, читателю хорошие книги подавай...

Есть одна рукопись, которая не даёт мне (и, слава Богу, – не только мне) покоя вот уже много лет. Это книга Раисы Абубакировой (1946–1996), её избранное – проза (в том числе – недописанный роман), драматургия, публицистика и письма к разным людям. Всё пока не находится средств, чтобы её издать, а это будет большой подарок читателю – писателем Раиса Абзаровна была настоящим.

Главы из своего нового романа она читала нам весной девяносто третьего, когда у писательской организации ещё не было помещения и собирались мы у неё на квартире. Эта энергичная, жёсткая и захватывающая проза запомнилась тогда многим. Потом, когда уже готовилась посмертная (увы – до сих пор не напечатанная) рукопись, я понял, что роман «Нечаев» (первоначальное название «Поджигатель») был задуман как многоплановое, сложное, философско-нравственное произведение. Это история некоего строителя Нечаева, поджигавшего деревянные памятники архитектуры для того, чтобы ютившимся в них жителям побыстрее дали благоустроенные квартиры. На этот исковерканный характер накладывается не менее изломанная личность расследующего это дело следователя, носящего по иронии судьбы такую же фамилию – Нечаев. Нет прямых указаний на то, что фамилия взята писательницей не случайно, что здесь имеется внутренняя связь с тем печально знаменитым революционером Нечаевым, чья жестокая история поразила ещё Достоевского, сделавшего его прототипом Петра Верховенского в «Бесах». Но это вполне можно предположить. В бумагах Раисы я нашёл текст её радиоинтервью, где говорится, что при работе над романом она обращалась к различным философским, на-



учным, социологическим и политическим источникам. «Мы утратили любовь, – говорила она в этом интервью. – Я пытаюсь проанализировать в своей книге, с чем связана эта утрата. Последние семьдесят лет в нас просто воспитывали ненависть. Мне очень тяжело со своей книгой...»

Раисе было тяжело не только с книгой. Я не являлся её близким другом, наоборот, как мне кажется, она не то чтобы недолгобливала меня – по меньшей мере – относилась ко мне с некоторым недоверием. Может быть, я и заслуживал этого, не во мне дело. Хорошо знаю от многих других людей, что своей резкостью и бескомпромиссностью Раиса была весьма «неудобным» в общении человеком, с ней было непросто. Но её образ жизни в последние годы (зимой – письменный стол, летом – зарабатывание денег на будущую зиму при помощи первой профессии каменщицы, то есть кладка гаражей, коттеджей, дач), её мужественная неравная борьба с безжалостной болезнью, а главное – её безусловная литературная талантливость – всё это вызывало уважение, притягивало к ней людей. Причём людей самых разных – в её уютной квартире мог оказаться не только свой брат литератор, но и врач, актриса, политик, простой работяга, чиновник, художник, пенсионерка, кто-нибудь из деревенских земляков, сосед... Она всегда была окружена верными, любящими и всегда понимающими её друзьями.

Детство и юность Раисы прошли в деревне под Омском, где рядом жили казахи, русские, немцы, татары, украинцы... Они, простые сибирские люди, ценящие друг друга не по цвету волос или разрезу глаз, а по степени честности в труде и в каждодневной жизни, станут потом героями её преисполненных подлинного интернационализма рассказов, повестей и пьес...

С начала семидесятых она жила в Омске, работала каменщицей на стройках города. А с 1980 года начинают появляться в периодике её первые очерки и рассказы. Вскоре было опубликовано первое крупное произведение – повесть

«Родня» в одноимённом коллективном сборнике, выпущенном Омским издательством. Наиболее полно писательница предстала перед читателем в автобиографической книге «Хочу верить» (Омск, 1988) и в сборнике рассказов и повестей «Круг» (Москва, 1990).

Прямо и открыто, порой резко и даже грубовато ведёт разговор со своим читателем Абубакирова. Лишённые всякого намёка на приукрашивание окружающей нас жизни, её произведения будоражат душу, не дают отвернуться от острых, кричащих и кровоточащих вопросов. Это относится и к её драматургическим произведениям – пьесе «Дети мои, человеки» (1990, специальный приз и Почётная грамота Союза писателей СССР за лучшую пьесу на Всесоюзном фестивале радиопостановок) и радиопьесе «Шанхай» (1992), к её публицистическим выступлениям в периодике.

Литинститут был окончен заочно. В 1992-м её приняли в Союз российских писателей.

И ещё штрих – незадолго до смерти Раиса приняла православие.

Как уж меня надоумило поинтересоваться автобиографией в приённом писательском «деле» Абубакировой... Чутьё подсказало, что такой неординарный человек, как она, при написании этой автобиографии никак не мог ограничиться составлением обычного формального текста. И точно! Из Москвы прислали почти пять страниц машинописи. Это была взволнованная, самоироничная и откровенная исповедь, написанная в восемьдесят девятом году, – при первой, оказавшейся неудачной, попытке вступить в Союз писателей. Мы на-



*Р.А. Абубакирова.
Портрет работы
художника
Владимира Кудряшова
(темпера, 1994).*

печатали «Автобиографию» в журнале «Омская муза», ею и открывается рукопись будущей книги – она идёт сразу же за написанной Эдмундом Шиком вступительной статьёй.

Да, я проникся внутренним миром этого человека – увы – слишком поздно, когда летом 1996 года, разбирая её архив, читал её записные книжки, письма и ненапечатанные произведения. Может быть, поэтому чувство некой вины и не отступает от меня, когда вспоминаю толстую папку с надписью на обложке «Боль моя, Россия...». Рукописи, конечно, не горят, но как нужна нам всем эта книга именно сейчас...

С чего это вдруг я решил писать о Николае Брюханове? Да просто потому, что как-то попалась в руки программка посвящённого художнику вечера воспоминаний, который проходил прямо на его выставке, в музейном зале, где со стен смотрели на нас его прекрасные полотна.

О Брюханове я узнал впервые в Казани. В 1962 году, окончив школу, уехал туда учиться в университете. Читал я тогда много, зверски много. Научная университетская библиотека, второй читальный зал, её генеральный каталог и справочно-библиографический отдел – пожалуй, главное из того, что было тогда в моей жизни. Я выжал из этого всё, что было можно, и, пожалуй, данный пункт собственной биографии – единственный, в котором мне не в чем самого себя упрекнуть: правильно читать и пользоваться библиотекой научился именно в студенческие годы.

При этом оговорюсь, что неким сухарём и книжным червём представлять меня не стоит. Я был не дурак выпить, ходил с друзьями на погрузку-выгрузку, бывал в казанских театрах и на концертах, «на полном серьёзе» с первого же курса ухаживал за своей будущей первой женой, которая училась со мной в одной группе. Мы с ней не пропускали

ни факультетских вечеров, ни просто субботних танцулек в нашем общежитии. Кроме того, я довольно активно печатался в газете «Комсомолец Татарии», уже пописывал кое-что и «для души»... Но со скучных лекций сбегал чаще всего не куда-нибудь, а всё в тот же тесный читальный зал номер два, находившийся на втором этаже старинного, расположенного в университетском дворе библиотечного корпуса, построенного ещё самим Лобачевским в те времена, когда он был ректором Казанского университета.

На дворе стояли весёлые хрущёвские времена. В студенческих столовых Казани хлеб был бесплатным, стала большой, двухтетрадной «Литературная газета», а все «толстые» журналы продавали в киосках «Союзпечати», шла вечная интеллигентская охота за хорошими книгами. Я ходил зимой в осеннем пальто (после Омска погода в Казани казалась мне помягче), книги покупал редко, но в воскресный день всегда находил пятак на газету «Правда». Именно ЦО (центральный орган) родной партии был, выражаясь её же языком, моим «компасом в книжном море»: по воскресеньям выходила полоса «Литература и искусство», и я, прочитав её, шёл на другой день всё в тот же второй читальный зал и заказывал всё, что в этой самой полосе ругали её записные литкритики. Попадание было всегда в яблочко: хлеб свой эти «наёмные убийцы» ели не даром, нюх у них был чуткий – стойка делалась обязательно на что-то свежее, интересное, необычное и – как правило – талантливое. Именно «Правде» (иногда с этой же целью – получить подобную «кривую» ориентацию – я заглядывал ещё и в «Советскую культуру») обязан я нужным направлением в чтении, самообразовании – самообразовании литературном, а в конечном итоге – и политическом. Думаю, что так же поступали тогда сотни и тысячи других молодых людей во всём нашем огромном СССР. Спасибо тебе, «Правда», «любимая газета миллионов» (кажется, именно так рекламировали ЦО в период подписных кампаний)!

(В скобках замечу, что был ещё один источник, но уже не

искажённый, не такой, как «Правда», которую следовало понимать с точностью до наоборот, а вполне прямой и самодостаточный – мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», именно в мои студенческие времена с продолжением печатавшиеся в «Новом мире». Номера журналов, зажимаемые Главлитом (то есть цензурой), обычно задерживались, порой надолго, на несколько месяцев, сам текст, как мы теперь уже знаем, подвергался жестокой кастрации. Но, тем не менее – получив очередную книжку «Нового мира», я начинал читать её именно с Эренбурга, читая, клал рядом лист бумаги и выписывал на него фамилии совершенно незнакомых, не встречающихся в читаемых нам университетских лекциях писателей, художников, философов – и тут же шёл искать эти фамилии в каталожных ящиках нашей замечательной библиотеки. И опять же уверен: точно так же делали тогда многие тысячи других советских читателей.)

Так вот, о своём земляке Брюханове я узнал именно в Казани. Мой дружок – учившийся в нашей же группе Витька Лукашов, такой же запойный книгочей и воскресный ходок за центральными газетами, как и я, со словами «Смотри, что там у вас творится», сунул мне под нос «Совкультуру», где была напечатана неподписанная (но довольно для неподписанной большая) статейка про омских художников, про какую-то их скандальную выставку, вызвавшую якобы возмущение омских зрителей тем, что произведения, на ней показывающиеся, искажают образы советских людей – наших славных современников. Фамилия Брюханова упоминалась неоднократно, причём каждый раз в ругательном контексте. Подписи под статейкой, как я уже сказал, не было, значилось лишь: «Омск». Пахло от всего этого нехорошо.

Но я вряд ли запомнил бы эту заметку, не попадись она мне на глаза ещё раз. Причём произошло это лет через десять и не где-нибудь, а... в мастерской самого Брюханова, и показал мне её не кто-нибудь, а сам Коля. Но сперва об одном разговоре, который произошёл после того, как в самом начале

1969 года меня, литсотрудника «Омской правды», перевели работать из отдела информации в отдел культуры, в результате чего я стал чаще бывать на различных художественных выставках и писать о них. Что, оказывается, тотчас же было, кем надо, замечено.

Столько лет уже прошло, а вспоминать об этом разговоре до сих пор неприятно. Разговаривали со мной два корифея местной художественной жизни. Оба уже отправились в мир иной, поэтому обойдёмся без фамилий. Впрочем, не в фамилиях и дело, а в самой атмосфере тех лет, в самой обстановке...

Убей, – не помню, для чего я пришёл в Дом художника в тот раз. Должно быть, и скорее всего, – на очередной вернисаж. Видимо, ходил с блокнотом возле картин, задавал вопросы. И как-то незаметно обнаружил, что со мной знакомятся, говорят, что, мол, читают мои публикации, спрашивают, почему никогда не захожу в мастерскую? И тут же приглашают и ведут из зала куда-то наверх. И вот я уже в мастерской одного из вышеуказанных корифеев (а второй – рядом), и уже чайк кипит и кое-что покрепче появляется. И без особых подходов, мягко, но вполне чётко меня начинают «ориентировать»: про кого не надо писать, про кого надо – это, как бы само собой вытекает из создавшейся ситуации; конечно же, писать надо про хозяина мастерской, про его коллегу, в чью мастерскую мы вскоре переместились. («Вы почаще, почаще приходите – мы вас со всеми познакомим».) Но главное не это, главное – чтоб я усёк и запомнил, про кого писать не надо. Не надо про Брюханова. Не надо про Третьякова. Про Кукуйцева. Про... И куда, помню, подевались у моих собеседников и академическая мягкость, и внешняя мудрость, и неторопливая вежливая манера в разговоре – всё, что так приличествовало их седидам и положению. Всё сдуло той злобой, с какой произносились эти фамилии. «Это уже клиника, психобольница... Это деградация... Экспрессионизм... Хулиганство... Формализм...» Действовал на пожилых ма-

стеров кисти и коньячок, я же мог тогда выпить (особенно – на халяву) хоть ведро. И, конечно, тут же сработала старая студенческая, воспитанная газетой «Правда», привычка – воспринимать такие оценки «с точностью до наоборот». Визит в мастерские маститых только подхлестнул моё желание побыстрее познакомиться с Брюхановым и Третьяковым.

...Прошло ещё с полгода. И я стал бывать в брюхановской мастерской.

Впервые меня привёл туда поэт Разумов, тоже Николай. И потом мы приходили к Брюханову чаще всего вместе с ним. Садись в знаменитые брюхановские, выделанные из корневищ кресла, отогревали принесённым вечно хмурого, вечно чем-то угнетённого хозяина, а потом, посидев, шли к картинам, разворачивали их от стен и смотрели, смотрели, смотрели... В тот же раз Брюханов был на взводе, он разомлел – и не только от выпитого, а и оттого, что мы особенно долго ходили по мастерской и в который раз смотрели его вещи. Они все тогда стояли там – некупленные и непристроенные: и «Доярки», и изруганный вдоль и поперёк за «искажение образа» и формализм «Ветеран войны» – любимая моя брюхановская работа, и «Портрет архитектора», и «Славянский марш». Мы смотрели и, конечно же, что-то говорили при этом друг другу.

И тут Брюханов полез куда-то в стол, долго что-то там искал, вытащил какую-то папку, принялся ковыряться в ней. «Давно хотел тебе показать, вот посмотришь, – бормотал он при этом, – считаешь, ты же грамотный...» Наконец он вытащил газетную вырезку, всю потрёпанную, захватанную и потёртую на сгибах, – видимо, вытаскивалась она часто.

«Нет, вы скажите, чё им от меня надо? Чё им надо?» – всё повторял Коля, пока я читал текст, с изумлением узнавая его. Это была та самая статейка из «Советской культуры», которую когда-то сунул мне под нос мой кореш Витька Лукашов в Казани, в читальном зале университетской библиотеки.

«Нет, ты мне скажи: чё им от меня надо?» – продолжал наседавать на меня Николай.

Что я мог ему объяснить?..

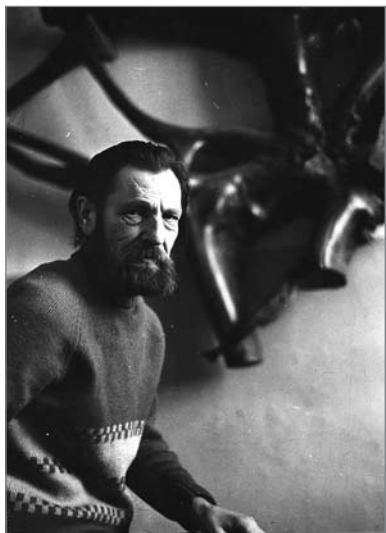
Передо мной – красивое «Приглашение», по которому я пришёл на уже упоминавшийся в самом начале рассказа о Брюханове вечер воспоминаний и искусствоведческие чтения «Н.М. Брюханов и его время».

Брюханов и его время... И наше, стало быть, будь оно всё неладно!

Приведу названия нескольких сообщений: «Творчество Н.М. Брюханова. Монументальные тенденции», «Анализ пространственно-временной структуры работы Н.М. Брюханова "Северянка"», «Проблема онтологизма художественной картины мира (к истории малоизвестного портрета кисти Николая Брюханова)».

Знал бы всё это Коля. Послушав такие доклады, он первым делом, конечно же, постарался бы побыстрее и покрепче «накушаться» – чтобы прочистить мозги от всех этих искусствоведческих сложностей. Шутка.

А вот это уже не шутка. В программе данных чтений значится сообщение «Культура и власть: государственно-политический контроль за творчеством интеллигенции (от оттепели к застою)». А рядом – сообщение о первой зарубежной выставке омских художников. Оно бы ничего, но пикантность момента заключается в том, что второе сообщение – о выставке в Пеште – сделала госчиновница высокого ранга, которая в описываемые времена как раз и была среди тех, кто осуществлял этот самый госполитконтроль за творчеством Коли Брюханова, то есть во время худсоветов не пускал на выставки его работы, а то и снимал их с уже развешанных экспозиций. Из сообщения этого ясно, что, когда приспела нужда посылать работы омских художников в «братский Пешт», выяснилось, что посылать-то, кроме тех, кого тут неустанно «контролировали» (то есть гнобили и всячески зажимали) –



*Николай Брюханов
в своей мастерской.
Фото Михаила Фрумгарца*

Брюханова, Третьякова, Кукуйцева, Штабнова и Черепанова – так вот, кроме них, посылать особенно некого. Произведения так любимых местным начальством правильных и верных соц-реалистов за кордоном котироваться явно не будут. Вот ведь какие дела...

В программе этой упоминалась и моя фамилия. Предполагалось, что на вечере воспоминаний «Возьмёмся за руки, друзья» что-то скажу и я. Но желающих вспомнить и Колю, и те, не такие уж, в общем-то, далёкие времена было много и

без меня. И решил я тогда, что уж лучше вспомню позже – в более привычной, письменной, так сказать, форме.

...8 июня 2000 года я проснулся немного раньше шести (как и чаще всего в последнее время), включил в кухне молчащий пока репродуктор, а когда через несколько минут начались последние известия, – как всегда, прикрыл дверь (в дальней комнате спала жена). Мне же после сводки новостей отправляться досыпать не захотелось: первое же сообщение было о нападении на Омский ОМОН в Чечне. Двое убитых, пятеро раненых... Получилось: «жизнь на жизнь». Двое чеченцев-камикадзе (мужчина и женщина) подъехали к зданию, где расположились омичи, на начинённом взрывчат-

кой автомобиле. Тотчас же после взрыва по зданию началась прицельная стрельба. Хорошо подготовленная, чётко продуманная партизанская операция – адская смесь из фанатизма и холодного военного расчёта.

Как не понимают наши уважаемые и так умно всё объясняющие с трибун и телеэкранов политики то, что с самого начала было ясно любому полуграмотному старику: этот народ победить нельзя, любая победа в этой необъявленной войне будет выглядеть таковой только временно, а потом рассосётся, забудется, словно туман после восхода солнца. Мучающихся перед телекамерами генералов я понимаю даже больше: они осознают, что их опять подставили, и им просто-напросто стыдно. Стыдно врать, оправдываться, объясняться. Они – профессионалы, и, думаю, достаточно хорошо представляют: отныне и навсегда российские военные будут чувствовать себя в этих горах как вермахт где-нибудь под Минском в 1942-м... Всё оказалось зря: тысячи сторевших солдатских жизней, точечные (постепенно переходящие в ковровые) бомбардировки – бездарное подражание прошлогодней югославской практике, уничтожение южного полумиллионного красавца Грозного... Всё зря, ибо люди по-прежнему гибнут.

Давно нужны переговоры, это ясно всем. Но нам объявили, что не с кем их вести, нет достойных того фигур. И чтобы выявить их, якобы нужен какой-то референдум. Что ж, пока в этом дышащем ненавистью краю среди полуграмотного населения станут проводить такой референдум, – будет начинена взрывчаткой ещё не одна машина.

А переговоры во все времена и после всех войн всегда вели с теми, с кем воевали. И для того, чтобы знать это, не нужно оканчивать Академию Генерального штаба.

...Ещё зимой, ещё перед нашими «главными выборами – 2000», насмотревшись телевизора, сын спросил меня: «Скажи, а раз они никак эту войну не заканчивают, значит, она кому-то нужна? Кому, папа?..»

Что я мог ему ответить? Нужна тем, в кого не стреляют?..

Иногда мучительно хочется запечатлеть, зафиксировать на бумаге, оставить в некоей всеобщей памяти человека, пусть ничем особенным и не примечательного, но про которого и вспомнить-то никто, кроме тебя, сегодня уже не сможет. Например, однажды, стесняясь не за себя и даже не за хозяина роскошного кабинета, в котором я оказался по его приглашению, а как бы за саму ситуацию, сидел я в неудобном, утопляющем кресле и пытался участвовать в весьма странной беседе. Нас всё время прерывали – то один за другим входили бесшумные сотрудники с бумагами, которые мой собеседник, цепко оглядев, тут же подписывал, то начинал верещать один из стоящих и лежащих на столе телефонов.

В то, о чём говорится по телефону, я, естественно, не вслушивался. Но этот разговор, который нарочито вёлся вполголоса, наоборот, залез в уши: хозяин кабинета просил узнать для него темы школьных сочинений, которые завтра будут писать одиннадцатиклассники на своём первом выпускном экзамене.

И я вдруг мгновенно вспомнил, как много лет назад нам узнала такие же для всех остальных секретные темы таких же сочинений Галя Антипина, вспомнил саму Галю – хорошенькую, длинноногую девушку, жившую совсем недалеко от нашей школы в старинном двухэтажном деревянном доме, принадлежавшем до революции какому-то купцу. Вспомнил, как вскоре после выпускных экзаменов провожал её с танцев. Мы шли по ночной улице нашей окраины, и на свет фонаря прямо перед нами вдруг выскочил откуда-то ёжик. Я поймал его своим пиджаком, и он сердито ворочался на скамейке возле Галиного дома, спелёнутый этим пиджаком, пока я про-

щался с Галей и наспех целовал её в чуть пахнувшие помадой губы. Ёжик, сбежавший потом куда-то через несколько дней, тогда интересовал меня, восемнадцатилетнего дурачка, сильнее, чем эти губы.

Больше я никогда не видел Галю. Уехал учиться в другой город, а приехав на каникулы, узнал, что она погибла. Галя была велосипедисткой, перворазрядницей. На сборах во Фрунзе она возвращалась вместе с другими с загородной тренировки на базу, и в этот табунок велосипедисток врезался на своём самосвале не справившийся с управлением пьяный водитель. Погибла только наша Галя...

И вот я, седой и уставший, чёрт знает что только не повидавший и кого только не похоронивший, сижу и вспоминаю промелькнувшую когда-то в моей жизни коротко стриженную девушку Галю, и сердце сжимается от простой мысли, что, скорее всего, к ней и на могилку-то давно уже сходить некому...

Лица её не помню, фотографии нет. А на выпускной коллективный снимок она не попала да и попасть не могла, поскольку ушла из нашей школы, преобразовавшейся в одиннадцатилетку, в вечернюю и доучивалась там, днём работая секретаршей в каком-то районо. Именно там, на службе, она и узнала тогда для нас темы выпускных сочинений. А мы, оповестив всех до одного в нашем классе, всю ночь готовились потом к этому сочинению. Я, помню, писал что-то про лирику Пушкина.

Куда же ты делась, Галя?..

Давно уже собран материал для большого очерка (может быть, это получится целая книга) «Этот странный генерал Казимирский». Жандармский генерал Яков Дмитриевич Казимирский, который несколько лет жил в Омске, действи-

тельно был для своего времени, а главное – положения, человеком странным. Вся Россия в николаевскую эпоху была поделена на восемь жандармских округов. Он руководил самым крупным округом – Сибирским. Большой пост и голубой мундир не мешали ему дружить со многими жившими в Сибири на поселении декабристами, с риском для себя помогать им. Когда-то, собирая материал о Казимирском в архивах и библиотеках не только Омска, но и Тобольска, Москвы, Ленинграда, я заранее ломал голову – как же мне ухитриться и рассказать в положительном ключе о жандарме, царском, так сказать, сатрапе, и рассказать так, чтобы это можно было потом напечатать. Сейчас этой проблемы не существует: пиши, о чём хочешь. А вот не пишется... И вот лежит уж который год эта толстенная папка с собранными «казимировскими» материалами и мучает меня самым своим существованием.

Почему так получается? Почему подолгу, порой месяцами я не притрагиваюсь к самой главной своей работе? Сказать, что мне не хватает на это времени, значит, сказать только половину правды. Да и вообще – чисто внешне у меня сейчас прекрасные условия. Может быть, впервые в жизни я получил возможность сесть за письменный стол (а их у меня теперь, как и мечтал когда-то, целых три! – очень удобно, когда делаешь сразу несколько дел), сесть и... закрыть за спиной дверь. А где и как я только не писал до этого – в читальном зале библиотеки, в редакционном кабинете после рабочего дня, в квартире уехавших родственников, на собственной кухне, когда семья уgomонилась и заснула, в проходных комнатах... Чаще всего в это время за моей спиной ходили, разговаривали, в лучшем случае – похрапывали...

А теперь в моей комнате (как-то стесняюсь называть её кабинетом – ведь я не профессор, не зубной врач и не начальник) наконец-то собраны все мои книги, протяни руку – и бери любую. Тут же рядом – все бумаги, архив, заготовки.

Одним словом, – сиди, пиши! А пишется плохо, медленно. Внешняя причина этому всегда найдётся: то очередная заказная книга (жить-то на что-то надо), то дела писательской организации, то обещание прочесть чужую рукопись... Но ведь рано или поздно и заказная книга заканчивается, и дела все как-то сами собой переделываются, и рукопись прочитывается. И остаёшься один на один с самим собой. И с Яковом Дмитриевичем Казимирским. И, если уж совсем начистоту, то времени на них много и не надо. Два, три, четыре часа – не в день! – хотя бы в неделю. И дело бы потихоньку пошло.

Но пока не идёт. Или идёт плохо, с натугой, в лучшем случае – рывками. Нет в моей жизни, плюс к «кабинету», другого, видимо, главного – душевного, внутреннего покоя. А у кого он сейчас есть?

2000 г., 2005 г.

МОЙ ВИЛЬЯМ

Эпизоды литературной жизни

1

Теперь я понял, в чём дело. Понял, почему до сих пор по-настоящему не написал о Вильяме Озолине. На дворе – холодная весна 2003 года, Вильям ушёл из жизни в августе девяносто седьмого. Шесть лет, как его нет, а я всё перебираю и выстраиваю по годам его письма, всё складываю в толстеющую папку то ещё одну фотографию, то газетную вырезку с его стихами или со старой рецензией на какую-нибудь его книгу, то афишку или пригласительный билет с его именем...

Я просто-напросто боюсь начинать. Вильям уехал из Омска в 1972-м, а писать об этом годе – значит писать и о себе. Хватит ли у меня искренности, смелости и такта, чтобы написать о том, что произошло в семьдесят втором году и в моей жизни, что до сих пор болит и ноет, до сих пор то и дело встаёт в памяти бессонными ночами, когда вновь и вновь судишь сам себя, вновь проигрываешь и переигрываешь то, что переиграть и изменить невозможно. «И с отвращением читая жизнь мою...» Живы-здоровы все главные действующие лица той давней, казалось бы, истории, и ворошить старое – дело непростое. Это во-первых.

А во-вторых, Вильям – друг, а не просто персонаж из литературной жизни. Писать о нём надо откровенно и смело, иначе не получится. Иначе получится неправда, а это будет только на руку тем, кто до сих пор относится к нему, ещё при жизни ставшему личностью легендарной, с неприязнью, завистью и предубеждением.

Но я всё-таки рискну, всё-таки попробую, И начну так, как по старой студенческой привычке иногда начинаю чи-

тать новую книгу, – с конца, со списка литературы. В данном случае списка никакого, разумеется, не будет. Просто хочу процитировать или пересказать то, что мне и другим удалось опубликовать о Вильяме после его смерти.

...Летом 1997-го мы в Омске знали, что он уходит, что близкий конец неизбежен. Омский журналист, приятель Вильяма Леон Флаум вспоминал потом:

«В последние месяцы его болезни бессильно и больно сознавалось, как рак лёгких безжалостными, страшными клещами метастаз душит атлетичного, скульптурно сложенного человека, бродягу, любимца женщин. Роковой недуг отобрал не только силы, отнял большую часть голоса. Если бы вы слышали, как заводно он говорил, как выразительно пел свои песни, как мог, когда плавал на рыбацких судах, перекричать даже море! Теперь от щедрого баритона оставались всего несколько слабых, как бы чужих, каких-то надтреснутых звуков. Всё-таки сам поднимал ставшую такой тяжелой для него телефонную трубку:

– Слу...ша...ю... (произнёс с трудом).

– Что? Это ты, Виля? Что с тобой?

– Меня облучали. Атомная бомба. Хирург, знаешь, как сказал? Трудно в лечение – легко в гробу.

Скончался дней через десять. В память запал ссадиной на душе последний разговор, та самая шутка сквозь смерть.

Она не была нечаянной, тем более деланной бравадой. Такой человек»*.

Как всегда, известие из Барнаула всё равно застало врасплох: скончался 16 августа – за сутки до своего шестьдесят шестого дня рождения...

Судорожные попытки организовать публикацию некролога ни к чему не привели: деловые ребята, сидевшие в новых омских редакциях, пожимали плечами. Одни просто и слыхом не

* Флаум Л.М. Омские перепутья (Страницы истории). Очерк «Шутка перед смертью». – Омск, 2001. – С. 86–87.

слыхали, кто такой Озолин, другие сознательно избегали печатать некрологи в своих еженедельниках – отпугивают, мол, траурные рамки читателей, а главное – рекламодателей, оставляют у них негативное, так сказать, впечатление. Не ровён час – на тираже скажется, на поступлениях в бухгалтерию...

В одной из омских газет сообщение о смерти (опубликованное помимо моих усилий) всё же появилось:

«ТИХОГО ОКЕАНА СТАЛО МЕНЬШЕ

Из Барнаула дохнуло сибирским холодом: не стало Вильяма Озолина. Он писал настоящие стихи. Дар, отпущенный свыше, проникал в его сердце и водил его рукой. И о ком, и о чём бы он ни писал, строки его всегда были искренними и свежими, как дыхание младенца. Он, в общем-то, и внешне смахивал на большого ребёнка. Порой неловкого и неудобного. Особенно для партийного и писательского начальства. Что в конце концов и вынудило его бежать из родного Омска сначала в Читу, а затем надолго осесть в Барнауле. Но до последнего дня ему верилось, что он вернётся назад. Думается, однако, что его духовная и душевная связь с Омском и омичами, близкими ему и совершенно незнакомыми, никогда и не прерывалась. Об этом можно судить по всем его книгам, начиная с самой первой "Окно на Север"».

(Зеркало. – 1997. – 3 сентября)

Рядом с этой заметкой по иронии судьбы стояла другая – саркастически повествовавшая о том, что ряды Союза писателей РФ не уменьшились, т. к. в него принят ещё один наш земляк, называлась заметка «С. Бабурин – писатель».

Узнав, что в нашем городе собираются отметить сорок дней Вильяма, я подготовил уже не некролог, а просто памятную публикацию и опять пошёл с этим текстом по редакциям. И опять реакция была соответствующей: поэт? стихи?.. С немалым трудом удалось уговорить руководство «Вечернего Омска» – газеты, которая начала вы-

ходить через семь лет после отъезда Озолина из нашего города.

А сороковины мы отвели в музей народного художника Кондратия Белова (ему посвящено одно из стихотворений первой книжки поэта). Тогда была ещё жива замечательная хозяйка музея – дочь художника Вера Кондратьевна, знавшая и любившая Вильяма. Именно она и дочь Озолина – Ирина и организовали этот вечер.

Мы установили на мольберте портрет Озолина работы его приятеля – известного омского фотографа Александра Чепурко, где поэт запечатлён в профиль и с гитарой. Пришли только близкие друзья – человек двадцать. Ребята потихоньку выпивали под знаменитые пироги, которыми славятся все проводящиеся в этом музее посиделки. Вспоминали Вилю – его бесконечные хохмы, его песни, его стихи...

Кто-то принёс пачечку его писем, кто-то – конверт со старыми фотографиями, книжки с дарственными надписями. Давний друг Вильяма радиожурналистка Инна Антоновна Шпаковская разыскала в фондах Омского радио записи его стихов и песен в авторском исполнении. И неповторимый голос поэта звучал среди пейзажей Кондрата Петровича.

Вильям был бы доволен такими поминками: за нашим столом то и дело раздавался смех – говорили по кругу, и почти каждый вспоминал какую-нибудь смешную ситуацию, героем которой покойный когда-то был. Грусть и горечь вперемежку с грубоватым мужским озолинским юмором.



*Вильям Озолин.
Фото Александра Чепурко.
Начало 1970-х гг.*

Забегая немного вперёд, скажу, что в мае следующего года старый друг Вильяма, поэт Роман Солнцев, прислал мне свою новую стихотворную книгу «Наши грёзы» (Красноярск, 1998). И я узнал, что в тот вечер он, как и мы, собиравшиеся в музей Кондрата Белова, тоже думал о покойном, – в сборнике было помещено стихотворение «Сороковины Вильяма Озолина»:

Лист огненный ветром по просеке гонит,
сбивает в дугу, где была колея.
Я лягу – лист жёлтый меня похоронит,
но встану, но встану, конечно же, я...
И только тебе никогда не подняться!
Лист красный заносит твой холм гробовой.
И то, что ты там, – мне никак не понятно!
Мы твёрдо мечтали жить долго с тобой.
Ты – молотобоец высокого класса.
Я – дятел, строчивший стволы налегке.
И как мне теперь за четыре-то глаза
смотреть, за два сердца стучаться в строке?
А ветер и листья, и сумерки гонит.
И музыка где-то играет не в лад.
И эта тоска тяжелее, чем голод,
чем год в одиночке, чем мертвенный холод, –
когда исчезает талант...

В этом же сборнике Р. Солнцева есть и другое связанное с Озолиным стихотворение, которое просто потрясло меня. Но об этом позже.

Публикацию мою «Вечерний Омск» дал позже – 11 октября:

«ЛЮПНУВШАЯ СТРУНА

Улетел от нас в непонятную даль – умер в Барнауле – омский поэт Вильям Озолин.

Я не ошибся, написав слово "омский", хотя хорошо помню, что уехал он из нашего города ещё в самом начале 70-х. Озолин тогда не просто уехал – город выдавил его, неугод-

ного, неудобного своей естественностью, своей привычкой жить размашисто, без оглядки на кого бы то ни было.

Он уехал, но он остался здесь. Письмами и звонками многочисленным омским друзьям, радиопередачами и публикациями в периодике, а главное – самой душой, самими корнями своего творчества.

Да, была Чита, был Барнаул. Но было постоянное – вначале скрываемое, а потом уже и откровенное – стремление вернуться. Он и вернулся бы, говорил об этом в последнее время как о ближайшей реальности. Не успел. Не пустила болезнь.

В последний раз он приезжал к нам в 95-м – на III Мартыновские чтения. Леонид Мартынов – человек, тоже выдавленный неумной властью и её прихлебателями из родного Омска, – был не просто его любимым поэтом, но и учителем, другом загубленного в конце 30-х отца.

В последний приезд Озолин, казалось, готов был разорваться на части: поэтический вечер, презентация книги, спектакль, чаепитие в музее К. Белова, запись на радио, встреча в Литмузее им. Ф.М. Достоевского... Он побывал всюду, участвовал во всём. И везде читал стихи – именно те, которые сейчас прочтёте и вы. Прощаясь, я взял тогда эти несколько листочков на память. Кто ж знал, что пригодятся они именно для такого случая...

Собрал и разложил по хронологии его письма, полученные за долгие двадцать пять лет. Весело разрисованные цветными фломастерами, в последние годы они во многом стали тревожными и горькими: хаос в стране, хаос и предательство в писательских делах.

Он много работал в последнее время: рассказ в "Новом мире", сборник стихов, еженедельные эссе на свободную тему в местной газете, обязанности члена редколлегии журнала "День и Ночь"... Говорят, остаётся сделанное, остаются стихи... Всё так. Но это слабое утешение для тех, кто знал и любил его живого – распахнутого, неповторимого, щедрого на дружбу.

Быстро идёт время. Сердца наши по-прежнему полны
слёз...

Кто по издательским скитался коридорам
Кто был знаком со славой и позором,
Тот должен знать особенность одну
Издательского дела:

как бы смело

Ни вёл ты свой корабль на волну,
Какие бы метафоры и рифмы
Твои б ни украшали паруса,
Ты всё равно напорешься на рифы
Редакторского вкуса...

Чудеса!..

Но я привык к ним. И когда однажды,
Горя от нетерпения и жажды
Увидеть напечатанный свой труд,
Я прискакал в издательство...

То тут

Возникли вдруг те самые препоны,
О коих я поведал вам:
Горгоны, поверьте мне, —
Как птички Петипа,
Нежнейшие, добрейшие натуры
В сравненье с отвратительной фигурой
Редактора, в чьи лапы я попал.

Нет — внешне он был малым

современным.

И чисто выбрит, и одет отменно,
И вежлив был со мною.

Лишь одно

Смущало обстоятельство:

Уж очень

Он к словарям был сильно скособочен!
Что было мне: хоть мудро, но чудно!

Не нравились ему слова простые,
Похожие на заросли густые,
Иную он лелеял красоту!
Вычёркивал он все слова и мысли,
Те, без которых мы себя не мыслим –
Увы! – ни на работе, ни в быту.
Вы б слышали, как он нудел безбожно!
С ним столкнуться было невозможно.
Мы были антиподы – он и я:
Он был с филфака. Я же был матросом.
И для меня язык мой был вопросом
Стилистики во славу бытия.
И я сказал ему:

– Я автор. Это значит –

Никто меня уж
Не переиначит!
Мне совесть – судия и чистый лист!
Но тут уж он не выдержал и взвился
И волосат стал, будто и не брился:
– К чему ты призываешь, скандалист?
– Я призываю – лозунг мой
аршинный, –
Чтоб, разумеется, без всякой матерщины,
Всё, чем богат народный наш язык,
Без всяческой усушки и утруски
Вошёл в литературу –
коль он русский,
Могучий, вольный, добрый наш язык.

УШЕДШЕМУ ДРУГУ

Евг. Раммонорту

Инфаркт. Как лопнувшей струной,
Мне обагрило слух. Проклятье!..
С тобою были мы как братья.
И жизнью маялись одной.

Друг добрый, не вини меня,
Что ты ушёл, а я остался.
Ты не жалел себя, и я
В кустах от жизни не скрывался.
Но каждому из нас свой срок
Судьба отмерила. Кто знает,
Где и меня подстерегает
Последний затяжной прыжок?
Но верю я: в глуби небес
Когда-нибудь в одно сомкнутся
Два облака. И содрогнутся
От грома – поле, реки, лес.

ЗАПРЕТНЫЕ РИФМЫ

Талдычат критики и разные пособия,
Что рифма "кровь-любовь"
 своё, мол, отжила,
Соорудив над ней печальное надгробье,
Похожее на два обломанных крыла.
"Морозы – розы" – тоже под запретом.
(Но как ты хороша, когда в морозный
 день
В серебряной пылице ты вся лучишься
 светом
И на щеках твоих – пунцовой розы
 тень!)

Спасибо, что поэт по имени Мартынов,
На критиков плюя, рифмует вновь
 и вновь

И Розы и Любовь –
 да так, что в жилах стынет
От благодарных слёз вскипающая кровь».

Газета вышла, я купил с десятков экземпляров, сделал вырезки и разослал их нашим общим с Вильямом друзьям – Ро-

ману Солнцеву в Красноярск, Марку Сергееву и Анатолию Кобенкову в Иркутск, в Москву – Г.А. Суховой-Мартиновой, куда-то ещё – сейчас-то уже не помню.

Разумеется, была послана вырезка и в Барнаул – вдове Вильяма Ирине. Но, как потом оказалось, письмо до Барнаула не дошло. Однако выяснилось это позднее, а пока мне позвонила незнакомая омичка – дальняя родственница Деборы Ароновны, матери Вильяма. Она просила у меня мой адрес – с тем чтобы сообщить его в Барнаул. Я удивился, так как знал, что Ирина и Вильям жили с Д.А. в одном доме – том самом, куда я отправлял десятки своих писем.

Всё стало ясно, когда в самом конце того же 1997 года я получил письмо от Деборы Ароновны:

«Здравствуйте, Саша!

Вашу статью из "Вечернего Омска" мне прислали мои омские друзья. И я их попросила разыскать Вас и узнать Ваш адрес, чтоб поблагодарить Вас за эту статью-некролог. Они же, эти мои друзья, сообщили мне, что Вы, оказывается, послали Ирине письмо с этой Вашей статьёй. Но, к сожалению, письма этого она не получала...

Мы ещё не можем опомниться от этого горя! Звук этой лопнувшей струны поразил многих знавших и любящих Вилю людей. Горестные телеграммы шли из Читы, Красноярска, Омска, Москвы, с острова Сахалина, Петербурга, Риги и Крыма. 30 телеграмм.

В Барнауле существует общество инвалидов, которое издаёт литературно-художественный журнал "Встреча", который расходится по всему Союзу. Виля очень помогал, консультировал их. Сейчас этот журнал готовит номер, посвящённый Вильяму*. Думаю, что он будет интересным. Они

* Одну из публикаций этого номера «Встречи» мы будем раскрывать неоднократно, это дневниковые «Записки потерпевшего». Благодарю заведующую отделом краеведения Алтайской универсальной научной библиотеки В.С. Олейник за присылку их ксерокопии; сам журнал достать не удалось.

работают над его дневниками и письмами. В начале нового года он должен появиться...

А я, Саша, тоже занялась "писательством"... Дело в том, что я ведь теперь тоже инвалид – ещё в прошлом году я упала, в результате – перелом бедра. А в моём возрасте (87 лет) перелом не оперируют и не лечат, т. к. кости уже не срастаются. И так вот я лежу уже полтора года. Хорошо, что я начала спускать ноги с кровати и садиться. Так вот, сидя целый день на кровати, я и письма пишу, и рукодельничаю. И много читаю. И вот пришла мне мысль писать "Воспоминания". Виля это одобрил и поощрял моё начинание. Жизнь-то у меня была очень интересной, и лица (встречались) интересные. Вспоминаю о Яне Озолине, о встречах и дружбе с П. Васильевым, Леонидом Мартыновым, а сейчас уже и о Вильяме Озолине.

Работу я закончила. Теперь мне нужно как-то отпечатать в нескольких экземплярах и послать в Омск моим друзьям и родственникам. Не знаю, как получится, если смогу отпечатать, и Вам пришлю. У нас дома есть машинка, но я не смогу этим заняться, сидя на кровати.

Часть этих воспоминаний, касающихся жизни поэтов, у меня взяли в журнал "Барнаул", в первом номере нового года должно появиться.

Кстати, Саша, Ваша "Складчина" выходит или нет? Когда Вы её посылали Виле, я всегда читала этот сборник с удовольствием.

Ну вот заканчиваю. Пишите по указанному адресу.

С наступающим Новым годом! Всего, всего Вам!

22.XII.97.»

Конечно же, мне захотелось прочитать воспоминания Д.А. Гонт. Я пообещал ей, что смогу организовать перепечатку текста в Омске (и обещание своё потом выполнил). Но пока из Барнаула пришло ещё одно письмо:

«Здравствуйте, дорогой Саша!

Ваше письмо Ирина действительно не получила. Очень жаль!

Она собиралась Вам написать, но у неё сейчас такая работа, да и не только сейчас. Работает она во вспомогательном интернате для слаборазвитых детей. Но в большинстве это просто запущенные дети из семей алкоголиков. Ира преподаёт эстетику и ведёт кружок ИЗО. Ира очень талантливый человек. Она ведёт работу с детьми не по-чиновничьи, а вкладывая в каждого ребёнка душу. Они под её руководством делают удивительные вещи: рисуют, лепят, делают такие поделки, что люди не верят, что это работа этих детей. Часто устраиваются городские выставки, и даже часть работ увезли в Америку.

Сейчас у неё новая идея – хочет устроить в интернате театр марионеток. Руководить этим начинанием взялся опытный "марионеточник" (не знаю, как его назвать). А при организаторе – всё остальное: куклы, костюмы, музыку будут делать в школе, и участвовать станут тоже дети. Так что занята она, как говорится, по горло. Да и нагрузка в школе большая. Уходит в 9 часов утра, приходит в седьмом часу. Приходит домой усталая, а вечером ещё внучку приносят 1 год 7 мес[яцев]. Но всё равно она собирается Вам написать.

Теперь о моих "Воспоминаниях". Дело в том, что писала я их не для печати, а просто написала о своей жизни, которая была, по-моему, очень интересной. Меня ещё Вилия "благословил" на эту работу... Писала от руки, печатать на машинке не умею. Так вот, сейчас сижу и переписываю, также от руки, размножаю, так сказать, хоть пару экземпляров. "Читатели" мои – друзья (одна из них звонила Вам) и сёстры – заинтересованы и просят прислать. Ну а для печати, я думаю, это будет едва ли интересно.

Но если Вам хочется их прочесть, как Вы пишете, то, как только моя "типография" справится, – я Вам постараюсь прислать. Дело в том, что вся моя "канцелярия" находится у меня на коленях, поэтому почерк, конечно, неважный, писать неудобно...

Ну вот, Саша, кажется, всё.

28.11.98 г.

Саша, напишите Ирине, напишите...».

Примерно в это же время пришёл из Красноярска последний номер журнала «День и Ночь» за 1997 год (№ 5–6). Фа-милия Вильяма в списке членов редколлегии была обведена чёрной линейкой. В номере стояла подборка «Памяти Вильяма Озолина», проиллюстрированная обложкой сборника «Песня для матросской гитары», на которой фотопортрет Вильяма работы Саши Чепурко – в свитере грубой вязки и с гитарой. Это сборник того семьдесят второго года, когда поэт уехал из родного города.

Врез к подборке хоть и подписан «Редакция "ДиН"», пи-сал его наверняка сам главный редактор – Роман Солнцев. Кто ж ещё?..

«ПРОЩАЙ, СВЕТЛАЯ ДУША!

Умер талантливый человек... и не просто талантливый – фантастически талантливый! Прекрасный поэт, дивный рас-сказчик, самобытный художник... Если не вся страна, то уж наверняка Сибирь наша с Магаданом и Сахалином содрог-нётся, узнав о смерти Вильяма Озолина.

Как о нём расскажешь? Те, кто читал его стихи, слушал его песни под гитару, видел его картины, дружил или приятель-ствовал с Вилей, никогда не забудут его. Поэтам и морякам, геологам и пограничникам, милым красавицам и древним старцам – всем было интересно с ним... Наивный, с вытара-щенными голубыми, какими-то океанскими глазами, вечно краснолицый от загара (или волнения) молодой старик... или большой стареющий ребёнок... Трудно о нём рассказать.

Если попытаться говорить языком документов: Вильям Янович Озолин – сын латышского* поэта Яна Озолина, рас-стрелянного в тридцатые годы... сын Деборы Гонт, под чьей

* Вряд ли Яна Озолина можно назвать латышским поэтом. Писал-то он по-русски, жил в Сибири.

фамилией Виля и учился в Литинституте в семинаре Сельвинского... В Союз писателей был принят на Кемеровском совещании молодых писателей Сибири в 1966 году. Издал десяток тоненьких книг... Да и наберётся ли десяток? Книжки оформлял сам. И, кстати, не только свои стихи перекладывал на музыку – многие замечательные произведения Бунина, Михаила Голодного, Ильи Сельвинского поют до сих пор в народе под мелодии Вильяма, возможно, сами того не зная... Булат Окуджава (теперь тоже, увы, покойный!), помнится, на поэтическом вечере в НЭТИ (в Новосибирском электротехническом институте), послушав Вильяма с его гитарой, был вынужден признать: это очень ярко и очень высоконравственно. Но Вильям так и не собрался, пока был здоров, качественно в студии записать свои песни...

Но главное – это был потрясающий поэт.

Мир праху твоему, дорогой Вильям. Может, когда-нибудь свидимся у какого-нибудь небесного костра в мироздании.

Редакция "ДиН"».

Затем в этой прощальной подборке идёт большое «Письмо из Латвии» Роальда Добровенского – так же, как и Роман, давнего, ещё с сахалинских времён, Вилиного друга.

Я никогда не видел Роальда, но много раз слышал в исполнении Вильяма песню на его слова:

Выньте головы из петель, господа самоубийцы,

Уберите пистолеты от растрёпанных висков...

«Он смешил, он дурачился, – пишет Р. Добровенский про Озолина, – он играл днём и ночью, он не посерьёзnel, он даже толком постареть не сумел. И вместе с тем какое достоинство было в нём, какое уважение к избранному пути, к поэзии. Он принадлежал к незримому и необъявленному содружеству поэтов, он сделал культ из дружбы поэтов-сибиряков, романтическую легенду, которая во многом благодаря ему и жила...

... "На рынок! Там кричит желудок!" – сказано столетия полтора назад. Ни рынку, ни кричащему этому желудку Ви-

льям Озолин не пожелал подчиниться. Жизнь или кошелёк, поэзия или кошелёк – вопроса для него не было как тридцать, так и три года назад. Он выбрал жизнь и поэзию и, хоть приставь ему нож к горлу, – от выбора бы не отказался.

А завершали подборку стихи из сборника «Песня для матросской гитары», в том числе и это, как нельзя лучше иллюстрирующее слова Р. Добровенского:

Я за жизнь свою
Не накопил денег.
То, что было, –
Не веротишь, не вернёшь.
Деньги – что?..
Они на улицах лежат.
Ну, а друга –
Так вот, просто, не найдёшь!..

Это тоже была его песня, по своей известности стоявшая где-то рядом со знаменитой «Аляской».

Ире я писал, и не раз. Ждал ответа, но его всё не было. А мне необходимо было знать, как всё происходило, как уходил с этого света мой товарищ. Знать именно от неё.

Письмо пришло только в апреле девяносто восьмого. Вот оно передо мной. Могу, имею ли я право цитировать его?.. Формально – нет, разрешения-то не просил. Но, думаю, каждый (и сама Ира – в первую очередь) поймёт, что без этого рассказ, который я стараюсь вести как можно правдивей, будет неполон (если не сказать больше – ущербен).

«Саша, здравствуй!

Прости за то, что так долго собиралась тебе написать. Пойми, что это совсем непросто. Я в месяц могу написать

не более одного письма, а иной раз одно письмо пишу в два-три приёма. Может быть, со временем, когда всё будет не так свежо, можно будет вспоминать, а сейчас – трудно. Мучительным был весь период с 6 января (установили диагноз) и по 16 августа. Страх, надежда, ужас, невероятные фантазии... И наконец – один на один с ним и со смертью, которая отнимала его у меня 18 дней. До последней минуты был в полном сознании, я помогала ему "уходить" безболезненно, ставила уколы, вливала микстуру (снотворное). Прощался со мной он с 8 часов вечера. Прошептал: "Спасибо, Ирка, за жизнь", а в половине 10-го, за несколько секунд до смерти, так сжал мне кисть, что подумала о том, что кости сломает. Он прощался. Говорить уже не мог. Выдохнул трижды, и всё. Я вышла на балкон, Вселенная светила мне спокойно и безмятежно. И на душе было так же. Закончились муки, ушли страдания. Вилюша лежал спокойный, красивый и какой-то умиротворённый. В течение 15 минут прощалась с ним одна и никому не говорила, что наступил конец. Всё, что было потом, – необходимый спектакль. Главное произошло.

Похоронили Вилюшу на чудесном загородном кладбище рядом с Сёмочкой (свёкром)*. Окружено это кладбище роскошным столетним лесом. Может быть, когда-нибудь вырвешься в Барнаул, и съездим к нему в гости...

...Работаю очень много. Работа спасает от горшков, плиты и корыта. Иногда получается вырваться в библиотеку. Гораздо реже – в театр, на концерт. Начинаю возвращаться к себе самой 30-летней давности. Ведь когда живёшь с любимым человеком много лет, на мир смотришь его глазами, слышишь его ушами и т. д. Ведь любовь – это чудесный, но плен...

Да, я потеряла не только мужа, нежного, страстного мужчину, заботливого, доброго, я потеряла больше –

* Второй муж Д.Я. Гонт – Семён Иосифович Кегелес, инженер, приехавший в Омск во время войны из Запорожья вместе с эвакуированным заводом им. Баранова. Умер в 1990 году в Барнауле. Вильям по-настоящему дружил с отчимом.

умного, интеллектуального, очень образованного друга. Эта потеря больше. Не распускаюсь. Стараюсь держаться "в седле"...

Саша, пиши же, пожалуйста. Письма от вас – как весточка из иной, с Вилей прожитой жизни. Огромный привет всем, кто меня помнит. Пиши. Обнимаю. Ирина».

В конце 1960-х Вильям увёл, украл эту редкую женщину у её первого мужа – немалого комсомольского начальника. Ира с Вильямом ходили по Омску, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Оба сыграли ва-банк – бросив более или менее устоявшийся быт, оставив за спиной квартиры и семьи, поругавшись с родственниками. Это был вызов – дерзкий, открытый. Седой, голубоглазый, почти сорокалетний мальчик и юная женщина – рыжеволосая, стройная, вся устремлённая к нему.

Вильяма, видимо, смущала значительная разница в их возрасте, но он скрывал это смущение, как всегда, за шуткой. Помню, как однажды мы гуляли по стрелке, шли мимо ТЭЦ-1 к устью Оми по правому её берегу, поросшему у среза воды кустами тальника.

– Вот, Ира, – нарочито назидательным тоном произнёс Вильям, показывая на эти кусты, – когда ты была маленькая, дядя Виля любил здесь выпивать...

Ирина захохотала.

Рядом с абсолютно счастливыми людьми чувствуешь себя как-то неловко. Им же тогда вообще было на всех наплевать.

Несколько раз встречал их то у общих друзей*, то в Юнгородке – в общаге Дома печати. Мне было неудобно расспра-

* Например, на дачном участке М. Малиновского; там же встречал его и другой омский литератор – тогда совсем ещё молодой Николай Березовский, не так давно он хорошо – тепло и тактично – описал эти встречи в своём очерке «И палуба точкой опоры...» (см. его сборник «Могила для горбатого». – Омск, 2002. До этого очерк печатался в «Литературной России». – 2001. – 16 марта). Правда, не обошлось без некоторых фактических неточностей. В Омске В. Озолин жил совсем не там, где «поселил» его автор очерка.

шивать Вильяма о бытовой стороне их с Ириной тогдашней жизни, в частности – о квартирном вопросе. Не думаю, что иногда они, засидевшись в гостях у тех или иных своих друзей, оставались до утра потому, что негде было ночевать. Другое дело, что, видимо, иной раз просто не очень-то хотелось возвращаться в квартиру матери, под её укоризненные взгляды.

Вполне можно предположить, что та была не в восторге и от появления Ирины, и от предстоящего развода. Если это так (а скорее всего так), то Дебору Ароновну понять можно: откуда она могла тогда знать, что Ирина в бурной биографии сына – не эпизод, не очередное увлечение, а судьба на всю оставшуюся жизнь.

Однажды они пришли в гости ко мне, я жил тогда в своей первой, однокомнатной, квартире возле железнодорожного вокзала. Жена была в отъезде, и, наврав, что мне надо побывать у родителей, я вечером ушёл на вокзал. Читал в зале ожидания газеты, пил в буфете каберне, под утро прошёл в рабочую столовку, расположенную тут же, на территории станции, и обслуживающую ночные железнодорожные бригады, съел тарелку горячих щей. А потом спустился к Иртышу, где ещё с вечера вдоль всего берега расположились воскресные рыболовы, и долго смотрел, как они вытягивают свои закидушки.

Когда вернулся домой, Вильяма и Ирины уже не было. На прощание они перемыли посуду и подтёрли пол. На столе лежала весёлая записка, рядом стоял прикрытый блюдцем фужер с опохмелкой.

Тридцать с лишним лет прошло, я сам уже давно седой, а почему-то помню все эти пустяки – каберне, щи, чистый пол...

Бандероль с воспоминаниями Деборы Ароновны пришла не скоро – в феврале 1999-го. Распечатав её, я прежде всего стал искать в воспоминаниях то, что посвящено Вильяму. Таких мест в тексте много, привожу их почти целиком, ибо они – первоисточник, дающий самую, пожалуй, точную информацию.

Всё нижеприведённое публикуется впервые, за исключением последних полутора страниц, которые я процитировал в своём эссе «Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах» (День и Ночь. – 2001. – № 7–8).

«В одной из последних публикаций Мартынов, вспоминая об Яне Озолине, высказался: "Жаль, что нет биографии этого незабвенного поэта тридцатых годов". Между прочим, Мартынов уже перед самой смертью просил Вильяма, чтоб он прислал ему биографию отца. Мартынов хотел написать о Яне*. Вот теперь, через многие годы, я постараюсь вспомнить и восполнить этот пробел...

Вернусь к 1937 году. Он не пощадил и мою семью – семью Озолиных. Но начну по порядку...

Ян Озолин появился в Сибири ещё маленьким ребёнком. Родился он в Риге в 1911 году. Отец его был шведом по фамилии Шкенсберг. Теодор Шкенсберг. Он погиб в 1914 году в Первой мировой империалистической войне. Времена в Латвии начались тяжёлые, и многие латыши после взятия Риги немцами бежали в Сибирь от притеснения. В 1915 году Наталия Крышьянова, мать Яна, вместе с матерью и двумя маленькими детьми, вместе с госпиталем, в котором она работала, уехала в Петербург. Через некоторое время она как беженка вместе со своей семьёй уехала в Томск. В Томске Наталия Крышьянова встретилась с М. Озолиным, бывшим командиром дивизии латышских стрелков, и они уехали в Омск. Озолин усыновил детей – Яна и Мильду, дав им свою фамилию.

Итак, Озолины в Омске. Первые годы Михаил Иванович Озолин работает директором совхоза (по образованию он агроном), а потом он – проректор первого комвуза Сибири...

* Л.Н. Мартынов успел написать о своём друге. Эти небольшие воспоминания вначале были опубликованы в журнале «Сибирские огни», – 1990. – № 6, а затем как предисловие вошли в книгу: Ян Озолин. Ночное солнце. Стихи. / Составитель, автор послесловия и примечаний Э. Шик. – Омск, 1991.

Ян с 14 лет начал писать стихи, в основном это было подражанием любимым поэтам – Есенину, Хлебникову, Пастернаку...

Вот отрывок из одного стихотворения того периода:

Чёрные чётки,
Чётки их звук,
Как жемчуга звук на Таити.
Пальцы мои из ваших рук.
Оборвали кусочек нити.

С детства его привлекала романтика странствий, что отразилось на ранних стихах.

В 15 лет Ян отправился пешком в Семипалатинск. В середине пути – около Павлодара – он нанялся пастухом и уже осенью вернулся домой. В 1928 году Ян работал на спасательной станции матросом. Там собирались молодые литераторы. Будущие поэты читали там свои стихи.

Я встретила с Яном в 1928 году. Однажды в городском



*Ян Озолин. Фото 1930-х гг.
Из фондов Омского
государственного
литературного музея
им. Ф.М. Достоевского.*

саду я стояла в компании молодых начинающих поэтов. Подошли двое. Один в морской мичманке – высокий, светловолосый, с лучистыми глазами, и его друг сказал: "Вот, знакомьтесь, это Дебора Хуторанская, она всего Есенина знает наизусть...".

Ну, всего не всего, но помнила я многое. С этого вечера мы не расставались...

Правда, расставания были... Весной 1930 года Ян ушёл в полярное плавание с экспедицией Убукосибири. Было такое учреждение – "Управление по безо-

пасности кораблевождения по рекам Сибири". Ян поступил кочегаром на судно. Плавание было долгим и очень интересным. Шли по рекам – Иртышу, Оби, потом Карское море. Там остров Шокальского, Диксон...

Для Яна как поэта эта экспедиция много значила. Он привёз много стихотворений, написанных под впечатлением плавания. После прибытия экспедиции Яна призвали в армию. Служил он на Дальнем Востоке, в городе Благовещенске. Собственно, как служил? Работал в военной газете. Отслужив, приехал в Омск. Работал на судоремонтном заводе, учился на рабфаке. А в это время, после выступления Горького, после его призыва, что молодым литераторам нужно дать дорогу, Яна Озолина как ударника Убекосибири Омский союз писателей вовлёк в творческую работу. Затем его пригласили в областную газету "Рабочий путь". Работая в газете, Ян печатался во многих изданиях, и только в 1935 году у него вышла небольшая книжка – "Ночное солнце". В этом поэтическом сборнике вышли стихи, написанные в арктическом плавании.

Много у него было и лирических стихотворений, но в книжку они не вошли. И эта лирика так в рукописях и была изъята во время ареста. Так что у меня на руках осталось очень немного. Врезались в память строчки:

Средь бурунов где-нибудь
Ждёт меня подводный камень!..

Две эти строчки прозвучали пророчески... Писал Ян Озолин много, но, к сожалению, не успел напечатать то, что было написано, – жизнь его оборвалась в 27 лет...

Но я продолжаю биографию Яна. Когда в 1935 году в Омске организовали Омское государственное издательство, Ян работал в этом издательстве редактором художественной литературы. Кстати, я там тоже работала – секретарём редакции...

...В издательстве вокруг Озолина собиралось много интересных людей. Это были профессор Драверт, Леонид Мартынов, Виктор Утков, Константин Бежецкий и художник Крутиков, с которым они вместе работали над сказкой Ершова "Конёк-Горбунок". Книга была издана. А потом Ян ушёл в молодёжную газету "Молодой большевик", где был заведующим отделом литературы и искусства. В этой газете Ян проработал почти до своего трагического конца в 1937 году. За несколько месяцев до его ареста Шабанов, редактор "Молодого большевика", внезапно уволил Яна с работы. Перед увольнением он потребовал от Яна объяснения о его знакомстве с поэтом Павлом Васильевым, который, по сообщениям центральной печати, оказался в числе врагов народа. Такое немотивированное увольнение породило слухи о якобы связи Озолина с контрреволюцией, и его нигде не принимали на работу.

А в это время в НКВД уже готовилось "латышское дело", в центре которого были родители Яна. 4 декабря 1937 года Ян Озолин и его родители были арестованы. В процессе "следствия" им было предъявлено обвинение в участии в "латышской националистической организации в Омске, целью которой было проведение террористических актов против руководства, партийных деятелей, а также свержение советской власти в случае нападения Германии на СССР". Такие же обвинения были предъявлены ещё 24 латышам, жившим в Омске и в области.

А "дело" состряпано на следующих фактах.

В Омске и области после окончания Гражданской войны осталось много латышей-беженцев из Латвии во время войны 1914 года, а также тех, кто воевал на стороне большевиков – в Латышской стрелковой дивизии. Имея естественную заботу о сохранении национального языка и культуры, они создали культурный центр. Был таковой в клубе им. Подбельского на Почтовой улице. Собирались латыши петь песни, танцевать, играть в драмкружках. Иногда друзья Озолиных

собирались у них дома, на улице Декабристов, № 29. Это были весёлые пирушки с песнями и танцами, с приготовлением национальных блюд...

И кто бы мог подумать, что эти встречи закончатся так трагически, так бесчеловечно! 27 невинных граждан-латышей были зверски замучены на допросах и злодейски убиты в стенах НКВД 16 февраля 1938 года.



*Дебора Гонт-Озолина
с маленьким Вильямом.
Начало 1930-х гг.
Из личного архива дочери
поэта – И.В. Озолиной.
Публикуется впервые.*

Реабилитированы были Озолины в 1957 году. В 1995 году Вильяму было разрешено ознакомиться с увесистым томом омского «латышского дела», на последней странице которого были аккуратно подшиты 27 небольших листочков величиной с театральные билеты, на которых типографским способом было отпечатано 27 смертных приговоров*.

...После ареста Озолиных я осталась жить с матерью и Вильямом, которому было 6 лет. Я тогда уже училась на 3-м курсе художественного училища, но закончить его не удалось – надо было работать».

Работала Дебора Ароновна, начиная с 1938 года, художником в Омском медицинском институте. В конце 40-х годов она находилась в штате товарищества «Омхудожник». Имен-

* Подробнее о латышском «деле» можно прочитать в статье Натальи Линчевской «В кружении смерча» в «Книге памяти жертв политических репрессий Омской области». – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 192–197. Кстати, в этой статье цитируются и воспоминания Деборы Ароновны.

но к этому периоду относится случай, связанный непосредственно с Вильямом.

«Вильям с 14–15 лет работал иногда у меня в мастерской. Когда ему надо было что-нибудь купить из одежды, я ему давала шрифтовые работы или диаграммы, он выполнял их, зарабатывая таким образом на покупку. После школы я его оформила у нас на работу, и он стал работать в институте официально. Виля был хорошим шрифтовиком и рисовальщиком. И вот однажды, когда я пришла в "Омхудожник" по делам, меня позвал к себе в кабинет наш новый директор Марущак и сказал: "Знаешь, Дебора, мне пришлось твоего сына уволить, мне приказали. Уволили как профессионально непригодного". А Вильям работал не хуже других. Я поняла, откуда эти козни. Так расстроилась, что шла, еле сдерживая слёзы, а когда уже дошла до института и зашла в свою мастерскую, села, уронив голову на стол, и разрыдалась. Надо сказать, что я вообще редко плакала, а тут просто сил не хватило...

...Вильям почувствовал на себе клеймо – сын репрессированного. Не принимали его ни на работу, ни на учёбу... Но он нашёл выход – поступил матросом на пароход и ходил на нём по Иртышу до Обской губы. После этого работал на Ямале журналистом. А в 1948 году с топографической партией ушёл в тайгу – в Горную Шорию, настолько непроходимую, что от Новокузнецка они всё оборудование несли на себе и, только прийдя на место, оборудовали лагерь. В этой тайге он проработал полгода. Потом работал на радиозаводе. И только после смерти Сталина Виля уехал в Москву поступать в Литературный институт им. Горького.



*В молодые годы.
Из личного архива
И.В. Озолиной.
Публикуется впервые.*

Первый экзамен был по творчеству, за который он получил оценку "отлично", и тогда его допустили к остальным экзаменам. Всё сдал на "хорошо" и "отлично", а вот по немецкому – тройка... Увы! Приняли его только на заочное отделение, т. к. конкурс был очень большой. Приехав в Омск, он работал на телевидении редактором последних известий. А однажды взял в институте творческий отпуск и уехал с ленинградской геологоразведкой на Памир. Был рабочим, искали урановые руды. Вот и долбил кайлом памирскую твердь. Шесть месяцев работал Вильям в этой экспедиции, исходив на четырёхтысячной высоте многие километры. Приехав после экспедиции в Омск, он продолжал работу на телевидении. И вот однажды, придя с работы домой, он "обрадовал" меня, сказав, что приглашают работать на Сахалин. Я, конечно, в ужасе... Но Вильям улетел. И началась его сахалинская эпопея.

Работал в газете, потом дважды ходил на рыболовном траулере через Тихий океан к берегам Аляски. И наконец вернулся в Омск.

Улов, в смысле творчества, от этих скитаний у него был богатый и очень интересный.



*За спиной – Ледовитый океан.
Из личного архива
И.В. Озолиной.
Публикуется впервые.*

В 1966 году у него вышла первая книга стихов "Окно на Север". А в 1972 году – вторая, называлась она "Песня для матросской гитары". Подарив мне её, он написал: "Моей дорогой, милой, умной маме от вечного скитальца сына, никогда не волнуйся за меня, мои скитанья не беда – а судьба!".

Дальше – "Чайки над городом" – 1974 год, потом "Воспоминание о себе" – 1982-й, "Возвращение с Се-

вера", следующие: "Год Быка" – 1989 год, "Белые сады" – 1996-й. Всего семь сборников стихов и три повести: "Крюкова Север знает", "Чёрные утки" и "Бирюзовая серёжка".

В другом месте своих «Воспоминаний» Дебора Ароновна пишет о встрече с семьёй Мартыновых:

«Однажды во время отпуска я была в Москве. И туда же приехал мой сын. Бывая в Москве, он всегда встречался с Мартыновым. И на этот раз он позвонил Мартынову, а тот, узнав, что я тоже в Москве, пригласил нас вместе приехать к нему.

И вот мы заходим в подъезд. Мартыновы жили на втором этаже. Поднимаемся по лестнице, на площадке у раскрытой в квартиру двери стоит Лёня, широко расставив руки, низко опустив голову. Вот так мы встретились через многие годы...

Мы долго у них просидели. Нина угощала нас яблочным пирогом. И всё... Больше мы уже не виделись. Потом я узнала о дальнейшей их судьбе. Нина тяжело заболела, долго лежала, и, когда её не стало, Мартынов тяжело перенёс её уход – прожил без неё только около полугода...».

«Работая на Омском телевидении, – продолжает Дебора Ароновна, – Вильям часто получал приглашения в Читу на "Забайкальскую осень". И в конце концов они с женой Ириной в 1972 году переехали в Читу жить. Там он плодотворно работал. Часто выступал на пограничных заставах, за что командование Забайкальским военным округом наградило его медалью "Отличник-пограничник".

Жизнь в Забайкалье была особенно насыщенной. Люди талантливые, большой культуры. Крепкая дружба связывала Вильяма с поэтами Ростиславом Филипповым, Георгием Граубиным. Да и не только с ними. Круг друзей был большой. В Чите ежегодно проходила "Забайкальская осень", на которую съезжались поэты и писатели из Москвы, Петербурга, Иркутска, Красноярска и других городов. Вильям читал свои стихи и пел их под аккомпанемент гитары, исполнял их с таким настроением и удалью... Булат Окуджава сказал ему однажды: "Ты, Виля, поёшь мои песни лучше меня. Они по-

лучаются у тебя более мужественными"... А мужественности Озолину не надо было занимать. Путь его был нелёгок с самого детства: военные годы, работа на Крайнем Севере, морские скитания, памирская геология. И всё на одну судьбу...

Прожили они в Чите 8 лет. И вот однажды, когда Вильяма пригласили на Алтай на День поэзии, ему там предложили переехать в Барнаул. Пообещали квартиру. Жаль было расставаться с дорогими и верными друзьями, но суровый читинский климат, бесконечные зимы, дефицит овощей, а у них подрастал сынок... Всё это заставило их принять предложение, и в 1980 году они переехали в Барнаул.

В Барнауле Вильям продолжал интенсивно работать, помимо отдельных изданий он систематически печатался в журналах "Сибирские огни", "Сибирь", "День и Ночь", "Дальний Восток" и др. В 1996 году его большой и яркий рассказ "Король Лир, принц Гамлет и печник Зверев" был опубликован в журнале "Новый мир" № 10. Вильям был членом редколлегии журналов – красноярского "День и Ночь" и "Барнаул". В Барнауле он занимался с молодыми литераторами и помогал литературному объединению инвалидов. Он легко находил контакты с людьми, привлекая незаурядной эрудицией, остроумием и доброжелательностью».

Описание последних дней Вильяма находится в самом конце воспоминаний Деборы Ароновны. Прочитав эти полторы страницы, я долго не мог успокоиться.

«Самое страшное свершилось, когда погиб мой единственный сын. А не стало его 16 августа 1997 года – накануне дня рождения, 17 августа ему бы исполнилось 66 лет.

Погиб он от тяжёлой и коварной болезни. Перенёс операцию, которая оказалась последней, перенёс облучение... Врачи обманывали его, сказав, что ему удалили части лёгкого, поэтому он надеялся на выздоровление и даже собирался осенью съездить в Горный Алтай.

Вильям верил в традиционную медицину и отказался лечиться травами. Тем более, что врачи категорически отвер-

гали лечение травами, а он слепо верил и надеялся на них. А мог бы ещё успеть полечиться и ещё пожить хоть несколько лет... Наши два очень близко знакомых человека вылечились травами и живут – один уже 8 лет, а другой – 6. А были тяжело больны (у одного – печень, у другого – поджелудочная железа). Сейчас проводили рентген – опухоли исчезли. Но все эти разговоры теперь уже бесполезны... Погибло моё единственное, как говорят в народе, дитё... Болел он очень тяжело. А потом, уже поняв, что погибает, очень беспокоился обо мне, о моей дальнейшей судьбе. Дело в том, что за год до его болезни со мной произошёл несчастный случай – я поскользнулась, упала дома – в результате перелом бедра... Вилья очень переживал мою беспомощность, ухаживал за мной. Его очень тревожила дальнейшая моя судьба. У нас ведь здесь никого родственников нет, а те, которые остались в Омске, – все уже старые. Он всё об этом думал. Однажды он даже сказал мне: "Когда почувствую свой конец, застрелю тебя и себя". На что я засмеялась и спросила: "Из чего же ты, интересно, стрелять-то будешь?" Он сказал: "Найду". Я ему тогда сказала: "Не беспокойся обо мне: Ирина у нас очень умный, добрый и добросовестный человек, она будет заботиться обо мне, как родная дочь". Последние дни, когда он уже еле ходил и потерял голос (были повреждены голосовые связки), он часто подходил ко мне, молча гладил меня по голове и так же молча уходил. Жутко вспоминать!

Отклики и соболезнования на наше горе шли из Москвы, Петербурга, Омска, Читы, Красноярска, с острова Сахалина, из Ялты, из Риги... Барнаульские газеты поместили некрологи, а газета "Свободный курс", с которой Вильям сотрудничал, написала такое:

ПАМЯТИ ДРУГА

16 августа умер Вильям Озолин: русский моряк и русский поэт. Его предки были шведами, его дед был из латышских стрелков, его отец был известным поэтом, репрессированным в 30-е годы. "Сын врага народа" – таким везде была закрыта дорога. Вильям писал стихи и уходил в море с рыболовными

флотилиями. "Шестидесятники" – он был из того круга, к которым принадлежали и принадлежат Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко. Только Озолину, чтобы чувствовать себя человеком, не нужна была Москва. Он поселился в Барнауле и писал больше всего о море. Он выглядел, как настоящий рыбак северных морей: кряжистый, с обветренным лицом и добродушной улыбкой. Он писал фантастически нежные стихи и никого не учил жить. Последнее время он понимал, что с ним делает тяжёлая, страшная болезнь... Земля тебе пухом, Вильям Янович".

...Воспоминания о своём сыне Вильяме мне хочется дополнить – поместить несколько стихотворений, которые мне особенно дороги. Из семи сборников я выбрала несколько...)*.

Скончалась мать Вильяма летом 2002 года в возрасте девяноста двух лет.

Ещё в сентябре 1998 года на Астафьевских чтениях в Красноярске я узнал от Романа Солнцева, что в серии «Поэты свинцового века», которую они начали выпускать, готовится посмертная книга Озолина. Вначале я удивился: до этого в серии, в редакцию которой входил и Виктор Петрович Астафьев, вышли две книжечки – Анны Барковой и Георгия Маслова.

* Когда текст «Воспоминаний» Деборы Ароновны был переписан на машинке, получилось более сорока страниц. Часть вскоре использовали в одной из передач Омского радио (магнитофонную копию передачи, первый экземпляр машинописи и сам оригинал мы отослали в Барнаул). Позже мне удалось напечатать в «Вечернем Омске» (1999. – 8 июня), те страницы воспоминаний, которые посвящены литературной жизни Омска 1930-х годов и «латышскому делу». Один экземпляр «Воспоминаний» Деборы Ароновны я передал в Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского, где он и хранится рядом с материалами самого Вильяма и его отца. Думается, эти воспоминания достойны и более полной публикации: в них немало интересных страниц об истории семьи автора, о довоенном и послевоенном Омске, о первых шагах омского Дома актёра и т. д.

Анна Баркова – поэтесса, чей блестящий литературный дебют приветствовал когда-то нарком Луначарский, но о которой я, к стыду своему, до этого ничего не слышал, т. к. полжизни она провела в советских тюрьмах и лагерях и печаталась мало; власть оставила её в покое только к старости.

Георгий Маслов – поэт Серебряного века, пушкинист, петербуржец – был втянут в самое пекло Гражданской войны, стал колчаковским офицером, оказался в Омске, отступал на восток вместе с войсками Верховного правителя и умер от тифа в Красноярске.

Вписывается ли в этот ряд Озолин?

– Вполне вписывается, – заверил меня Роман, – вспомни Вилькину жизнь в этом ракурсе.

И я вспомнил один из рассказов Вильяма о своей юности – о том, как сильно ему хотелось вступить в комсомол, быть вместе со всеми остальными товарищами по классу, по школе, шуметь на комсомольских собраниях, выполнять комсомольские поручения... И он скрыл истинную причину отсутствия отца, сказал, что тот заболел и умер. В комсомол Вильяма вначале приняли, но через несколько лет разоблачили, и сын врага народа, пытавшийся обманом проникнуть в ряды передовой советской молодёжи, был показательно изгнан из этих рядов.

Он не мог подписывать отцовской фамилией свои ранние стихи.

Только счастливый характер не позволил ему стать нытиком, замкнуться. Классического изгоя из него сделать не сумели, как ни старались.

...Этот короткий документ хранится в бумагах нашей писательской организации:

«Доводим до Вашего сведения, что присланные Вами книги избранных стихов Вильяма Озолина в количестве 40 (сорок) экземпляров переданы в муниципальную систему библиотек Управления культуры и искусства администрации г. Омска для пополнения книжного фонда

и пропаганды поэтического наследия нашего земляка В. Озолина.

Выражаем благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Начальник управления культуры и искусства Л.П. Маркер.

25.01.99.».

Таким вот образом Озолин всё-таки вернулся в свой город.

Из Красноярска пришла посылка, где было восемьдесят книжек в изящном серийном оформлении (остальные я раздарил друзьям и знакомым поэта).

Я написал тогда для одного из омских еженедельников статью «Вильям Озолин: книга первая, книга последняя (Вместо рецензии)». Воспроизвожу её здесь, восстановив некоторые небольшие редакционные сокращения.

«Заметки эти я сел писать, получив из Красноярска недавно вышедшую неболь-



*Суперобложка первой книги поэта.
Художник Николай Третьяков.
(Новосибирск, 1966).*

шую посмертную книжку избранных стихов Вильяма Озолина. Вышла она в серии "Поэты свинцового века", главный редактор которой писатель Роман Солнцев вполне справедливо посчитал, что это жёсткое образное определение точно соответствует обстоятельствам жизни и творчества Вильяма: тут и клеймо сына "врага народа", которым были мечены детство и вся молодость поэта, и постоянно сложные отношения со всяческим – литературным и нелитературным – начальством, и непростые перипетии личной жизни – целый букет свинцовых, порой с трудом переносимых обстоятельств. Но, говоря о книге последней, стоит вспомнить и первую.

Дебют В. Озолина состоялся на излёте благодатной поры, которую принято называть "оттепелью". В середине 1960-х годов в Чите и Кемерове прошли литературные молодёжные семинары, открывшие читателю немало новых имён. Одним из "открытий" стал и омич Вильям Озолин. Он приехал в Кемерово с гранками книги "Окно на Север" и прямо на семинаре получил рекомендацию в Союз писателей. Успеху немало способствовали добрые слова Ильи Сельвинского, наставника Вильяма по Литинституту. В коротком предисловии к будущей книжке своего ученика старый мастер писал: "Вильям – сплошная эмоция, сплошной темперамент. Вся его жизнь отдана чувствам. Таковы же его стихи".

Важно и то, что первая книга тридцатипятилетнего поэта была опубликована под его собственной фамилией. Ещё не так давно это ему не рекомендовалось: загубленный в конце тридцатых годов отец (тоже литератор) тогда ещё не был реабилитирован, и Вильям подписывал свои первые публикации в периодике фамилией матери – Гонт.

Вскоре сборник "Окно на Север" вышел в свет. Омские книгочеи, конечно, помнят его. Талантливейший художник Николай Третьяков, друг Вильяма, оформивший книжку, на суперобложке изобразил самого автора, особо подчеркнув его выразительные, "тихоокеанские" (по словам И. Сельвинского) глаза...

Через тридцать лет сам Озолин вспоминал об этом так:

"...В 1965 году директор Западно-Сибирского издательства, приехав в Омск, предложила мне (а это по тем временам вещь невероятная!) издать книжку стихов. И даже предложила аванс, а это ещё более невероятно. Я согласился, сел за рукопись. Подготовил, отправил в Новосибирск. Вскоре получил письмо от поэта Ивана Ветлугина. "Виля, – писал он, – рукопись понравилась, приезжай для окончательной доработки". Я приехал, сели рядышком. Ваня стал требовать, чтобы я исправил такие-то и такие-то стихи, а что-то и вовсе снял, убрал, и всё по идеологическим сообра-

жениям. А тогда от поэзии требовались парадность и обязательно, чтобы были стихи, прославляющие партию и её мудрое руководство. Я как мог сопротивлялся. Но Ваня был непреклонен. И тогда я ему сказал: "Ваня, ты что, хочешь, чтобы твоя фамилия была набрана крупно на обложке, а моя стояла в конце мелким шрифтом?". Я наотрез отказался от такой редакции, и только главный редактор издательства, умнейший человек, А.У. Китайник поддержал меня. Книга "Окно на Север" вышла в 1966 году".*

Явный успех первой книжки, приём автора в писательский Союз через голову местной организации, подчёркнуто независимое поведение – всё это пришлось не по душе некоторым, имеющим властный вес землякам поэта. И в начале 1970-х он уехал из нашего города.

А потом были Чита и Барнаул. Были новые стихотворные книги, попытка – и весьма удачная – работы в прозе. Была негромкая, но прочная известность у читателей, чему способствовали многочисленные поездки по стране, в первую очередь – по Сибири. Был устойчивый авторитет в профессиональной литературной среде (однажды меня с моей ничем и никому в столице не говорящей фамилией так для краткости и ясности и представили кому-то в ЦДЛ: мол, такой-то – из Сибири, друг Озолина).

Но Озолин никогда не забывал Омск, то и дело приезжал сюда, каждый раз оставляя стихи в редакциях местных газет, записываясь на радио и телевидении. Корни и душа его творчества оставались здесь, на иртышском берегу.

* Прочитирован барнаульский журнал «Встреча». – 1998. – № 1–2. – С. 280. Это тот самый посвящённый Вильяму номер, о котором писала мне его мать. Здесь среди прочих интереснейших материалов опубликованы дневниковые записки Озолина, озаглавленные им самим «Записки потерпевшего». Первая запись датирована 1978 годом. Вначале автор предназначал свои записи для сына: «Всё, что я записываю в этом дневнике, предназначено для Володи. Пусть знает, кем был его отец» (апрель, 1982 год). Но позже он стал относиться к дневнику по-иному: «...Все дневниковые тетради объединить в одну книгу: начало – "автобиография" затем – Рига, Салехард, Сахалин, Омск, Чита, Иркутск, Алтай. И название есть – "Записки потерпевшего"» (декабрь, 1992 год).

Итак, последняя книга В. Озолина, появившаяся через год после его смерти. Она весьма удачно построена: современный читатель получит достаточно верное представление о том месте, которое занимает В. Озолин в широко разветвлённом "хозяйстве" нынешней российской поэзии. Стихотворным текстам предпосланы два предисловия – И. Сельвинского из первой книжки и специально написанное для данного издания иркутским поэтом и критиком А. Кобенковым.

"Я любил смотреть на него, слушать, читать, – пишет А. Кобенков. – Были в нём, как ни в ком другом, те качества, коими, по моим тогдашним представлениям, должен был обладать истинный поэт: страсть к бродяжничеству, плёвое отношение к деньгам, вечная готовность прийти на помощь ("Я – ноль три – приезжайте, звоните..." – писал он без намёка на пафос). Умение сыграть в усталого Дон Жуана, нешуточно увлечься, безоглядно влюбиться, резко поменять маршруты...

...Он был старше меня на целых четырнадцать лет, но потребовал, чтобы я обращался к нему на "ты".

В стихотворный корпус включены тексты, писавшиеся автором для исполнения под гитару и в течение десятилетий звучавшие с магнитофонных лент, это "Аляскинский напев" и "Автоэпитафия". Включены ранние стихи, без которых невозможно представить этого поэта с его не угаснувшей с годами романтической устремлённостью, так характерной для эпохи "оттепели" ("Споры", "Грузчики", "Капитан", "Новоселье"). Вошла в книгу и написанная на пределе искренности "чистая" лирика, очередной раз доказывающая то, что, по большому счёту, и доказывать-то не следует: нет в настоящей поэзии тем "освоенных", есть лишь вечные ("Старинный сюжет", "Сопоставления", "Записка", "Забытый романс").

Ах, лирика моих осенних дней! –
Беседа тихая
Без лишнего искусства,

Спокойствие и равновесье чувства,
Как лес берёзовый –
Без листьев и теней.
(*"Лирика"*)

Особняком стоят стихи, где проявлены взгляды автора на суть творчества, его мысли о предназначении художника. Это программное, на мой взгляд, стихотворение "Спи. Мне страшно..." (недаром оно открывает сборник), это "Голоса", "Вступление к поэме «Проза»", наконец, это стихи, посвящённые боготворимому автором в течение всей жизни Леониду Мартынову ("На Иртыше" и "Брат Багрец"). Конечно же, отбирая произведения данного ряда, нельзя было обойтись и без стихотворения "Шут гороховый" – вещи для Озолина тоже своего рода "программной", где герой (точнее – антигерой) гротескно иллюстрирует мысли автора об опять же старой, но всегда актуальной теме – художник и власть.

Особенно порадуют взыскательного любителя поэтического творчества те стихи В. Озолина, в которых он – независимо от темы – предстаёт незаурядным мастером. Прозрачность и изящество формы, необыкновенная лёгкость построения, неповторимость интонации – во всём этом чувствуется не просто талант, но и хорошая профессиональная подготовка, предельная требовательность к излагаемому на бумаге слову. Читая такие озолинские стихи, как "Наследство", "Цыганский этюд", "Грамофон", "Растерян, зол, стою у врат больницы...", испытываешь почти физическое наслаждение от соприкосновения с красотой:

Мальчишка я был молчаливый,
Но лишь граммофон оживал,
Я с бабушкой польку игриво,
Смущённо, влюблённо, счастливо! –
Как с девочкою,
танцевал!

Ах, как мы с ней жарко летели!
Сбивалась иголка с борозд!..
Военные вьюги над нами хрипели...
Но с валенок шпорами
польки звенели
До самых полуночных звёзд!..

Рискуя прослыть ретроградом, хочу всё же высказать следующее. С холодным интересом знаколюсь я с произведениями постмодернистских поэтов, заполняющих в последние годы страницы "толстых" журналов. Конечно, отдаёшь дань уважения их не знающей никаких границ изобретательности. Но разве не столь же дьявольски изобретательны были когда-то в молодости наставники Озолина – бывший символист С. Городецкий, бывший конструктивист И. Сельвинский и насмешливо относившийся в свою зрелую пору ко всяческому литературным "школам", но тем не менее в молодые годы сам себя считавший футуристом Л. Мартынов? ("В школах место школьникам", – полушутя-полусерьёзно ответил Л. Мартынов когда-то на вопрос, к какой поэтической школе он принадлежит.) Почему же тогда их воспитанник Озолин перенял не формальные находки мэтров и даже не само их стремление к поэтическому "изобретательству", а нечто другое, нечто гораздо более важное – стремление достичь такого уровня мастерства, когда собственно мастерство, по сути дела, уже и кончается. А начинается Искусство.

Не помню, по какому поводу Вильям Янович сказал мне когда-то, что все свои книги он старается выстраивать не просто как сборники, а именно как книги, где точно определено место каждому стихотворению, т. к. оно неразрывно связано и со стихотворением предыдущим, и со стихотворением последующим. По такому принципу, как мне представляется, составлено и красноярское издание. И смею высказать надежду, что молодой вдумчивый читатель (которому по замыслу редколлегии серии "Поэты свинцового века" в

первую очередь она и адресована), познакомившись с изящно и продуманно изданными "Стихотворениями" нашего земляка, оценит их по достоинству.

P.S. Часть тиража "Стихотворений" В. Озолина поступила в Омск и передана в библиотеки города. Презентация книги состоится в Центральной библиотеке им. Ленина 18 февраля в 17 часов».

(Новое омское слово. – 1999. – 28 января).

Презентация, которая была обещана в посткриптуме статьи, прошла при полном аншлаге. По сути дела, тогда состоялся вечер памяти поэта. Вёл его литературный критик, друг Вильяма Сергей Поварцов, а выступали не только знавшие Озолина люди, но и молодёжь, впервые прочитавшая его произведения только в посмертном сборнике.

Звучали стихи и песни в авторском исполнении, сохранившиеся в фондах Омского радио. Показывали видеозапись, сделанную за полгода до смерти в Барнауле, куда ездила его дочь Ира. Работники библиотеки подготовили к вечеру выставку.

Специально для этого вечера прислала несколько страниц вдова Леонида Мартынова – Галина Алексеевна Сухова-Мартынова.

«Бесконечно благодарна Вам, – писала она мне, – за книжечку стихотворений Вильяма Озолина. Уже прошло много времени, а его уход мы ощущаем очень тяжело. Я живу в том периоде, когда приходится всё чаще вычёркивать телефоны и адреса: люди уходят, а замены не бывает, ушедших заменить нельзя.

Вы очень хорошо написали о Виле, я перечла и вспоминала его письма, нечастые приезды и радость от встреч с ним. Даже когда он бывал проездом в Москве, он старался заглянуть к нам хоть на немножко, и это было очень дорого.

Он был одним из немногих, кому Леонид Николаевич был близок и дорог.

Книгу стихотворений Вильяма я прочла не отрываясь. Очень дорого, что в это нелёгкое время друзья Вили издали его стихи.

Я написала для вечера, шлю это Вам, а Вы решите, стоит оглашать написанное мною или нет.

Буду Вам признательна, если Вы сможете мне написать, как прошла презентация.

Всего Вам доброго. Будьте благополучны.

С уважением Г. Сухова-Мартынова.

12.11.99.»

Конечно же, текст, присланный Галиной Алексеевной, был на вечере оглашён:

«Умер поэт Вильям Озолин. Сегодня презентация его посмертно изданной книги стихотворений. Книга стихотворений свидетельствует о незаурядной многогранной личности поэта. Вильям Озолин очень хорошо и, видимо, точно сказал о себе сам в стихотворении "Наследство":

Две натуры – две дуры
Истерзали меня!
Между ними – то дружба, то святая война.
Наказанье и только: одна – из огня,
А вторая натура – как лёд холодна!

Его жизнь была нелёгкой, многое пришлось испытать... Мне хочется сказать несколько слов.

Отец Вильяма Ян Озолин и Леонид Мартынов – друзья молодости. Незадолго до смерти Леонида Мартынова Вильям решил переиздать стихи отца и попросил написать Мартынова к ним предисловие. Мартынов не успел этого сделать. Он умер.

В архиве Леонида Мартынова я нашла воспоминания, написанные им о Яне Озолине. Эти воспоминания стали предисловием к книге стихотворений Яна Озолина "Ночное солнце", которая увидела свет в 1991 году.

Встретились и познакомились мы с Вильямом в 1983 году в Омске на первых Мартыновских чтениях. Затем были вторые Чтения в 1985 году. В тех случаях, когда путь Вильяма лежал в Москву или через Москву, он бывал у нас, мы всегда были ему рады. Часто писал, его письма, и шуточные, и серьёзные, всегда приносили радость. Он был удивительно светлым человеком, с ним было так легко. С первых же минут знакомства было чувство родства, тепла. Это, наверное, потому, что, любя Мартыновых, он перенёс свою привязанность и на нас с дочерью*. Кроме того, в нашей судьбе было и общее грустное прошлое...

С горечью и болью читали мы его последнее письмо, написанное Вилей после операции. Всё он в нём сказал, он понимал, что это письмо последнее, и знал, что мы это понимаем...

Очень горько, что его нет. Но я уверена, что каждый, кто его знал, был знаком, говорил, читал и прочтёт его стихи, испытает одновременно и боль от его потери, и другое тёплое чувство, что знал его...

Когда-то Леонид Мартынов написал:

Незаменимых нет?
Нет! Заменяемых нет!
Мечта о механической замене
Не более чем недоразуменье!

* Тут необходимо сделать пояснение – специально для тех, кто не в курсе дела. Г.А. Сухова, начиная с середины 1950-х годов, была участковым врачом супругов Мартыновых – Леонида Николаевича и Нины Анатольевны. Взаимоотношения врача и её подопечных переросли в настоящую дружбу. Нина Анатольевна умерла на руках у Г.А. Суховой и, умирая, завещала ей беречь Леонида Николаевича, опасаясь, что сам он, беспомощный в быту, пропадёт, а затем останется бесхозным и его литературное наследие. Вскоре Л.Н. Мартынов и Галина Алексеевна оформили брак. Но поэт ненадолго пережил Нину Анатольевну. После его смерти Г.А. Сухова-Мартынова с помощью своей дочери Ларисы привела в порядок архив и начала активно пропагандировать творчество Мартынова: в различных периодических изданиях появилось более сотни публикаций его неизвестных стихов, вышли новые книги, сборник «Воспоминания о Леониде Мартынове» (М., 1989), в котором представлены и омские авторы, в том числе и Вильям Озолин.

И каждый человек неповторим,
Тот больше знача, этот меньше знача.
И как ни бейся, а не повторим
Чужой удачи. Есть своя удача,
Свой час! И никогда не повторить
Чужой ошибки. Только свой есть промах,
И за него нас будут и корить.
Ветшают люди. Можно сдать на слом их,
Но не заменишь одного другим,
Да так, чтоб всё по-прежнему осталось.
То лёгкою возможностью считалось,
Но было лишь намереньем благим.

Поэт не умирает. Остаются его книги – он живёт в своих произведениях, и поэтому особенно дорого, что в это непростое, тяжёлое время друзья Вильяма Озолина нашли возможность издать его стихи и собраться на вечер воспоминаний о нём. Долгая ему память».

Заканчивая рассказ о вечере, посвящённом посмертной книге Вильяма в серии «Поэты свинцового века», хочу обратить внимание читателей на тот факт, что одним из следующих сборников этой серии был сборник Аркадия Кутилова – тоже омика и тоже человека сложнейшей, тягчайшей судьбы. Бомж, изгой, обитатель чердаков и канализационных коллекторов, постоянный «клиент» исправительных учреждений, а также пациент (тоже неоднократный) психушки – Кутилов при жизни почти не печатался, и только сейчас расправляет мощные крылья его поэтическая слава. Включают в антологии (в том числе – в евтушенковские «Строфы века»), печатают в столичных журналах разных направлений, выпускают сборники, пишут на его слова песни, устраивают вечера и выставки, поговаривают о музее...

А вот полоса одного из омских еженедельников, озаглавленная «Аркадий и Вильям...» (День за днём. – 2000. – 25 октября). Иллюстрация: фото того и другого, обложки выпущенных в одной серии книжек. И, конечно же, стихи. Ве-

душий полосы – мой товарищ по писательской организации Сергей Денисенко – увидел немало общего в двух этих судьбах. В частности – то, что одинаково равнодушным и к тому и к другому было отношение со стороны официального Омска.

А теперь вернёмся в начало 1970-х годов.

Познакомился я с Озолиным раньше – где-то, видимо, или в конце шестьдесят седьмого, или в начале шестьдесят восьмого, когда вернулся в Омск после учёбы в университете. Мы жили по соседству – возле вокзала, хотя в гости друг к другу тогда не ходили – отношения были пока не те. Однажды встретились на привокзальном, или, как его ещё называют, Ленинском базаре. Вильям нёс в одной руке сумку с продуктами, а в другой – новенький, видимо, только что купленный веник-голик. Хозяйственные атрибуты шли ему как корове седло, потому, наверное, мне и запомнилась эта встреча. Он смутился, чуть ли не застеснялся своего хозяйственного вида, пробормотал что-то шутовское и постарался побыстрее распрощаться.

...В 1970 году я участвовал в областном семинаре молодых авторов с рукописью документальных краеведческих очерков. Рукопись похвалили, Озолин, думаю, это, что называется, усёк.

Вскоре я начал печатать в «Омской правде», где работал, серию очерков о пребывании в Сибири Ф.М. Достоевского. В ноябре 1971-го исполнялось сто пятьдесят лет со дня его рождения, впервые за всю советскую историю юбилей намеревались отмечать широко: начали съёмку нескольких художественных фильмов, готовились к выпуску первые тома Полного собрания сочинений в тридцати томах. Как вскоре оказалось, Вильям мои очерки читал, и не просто читал, а вырезал и откладывал.

Затем в марте 1971-го в Омске проходил ещё один литературный семинар – поэтический. Я, стихов не пишущий, участвовал в нём лишь как «болельщик», а также как сотруд-

ник «Омской правды» – поручено было написать отчёт. Одним из руководителей семинара был приехавший из Новосибирска критик Виталий Георгиевич Коржев – заведующий отделом критики и библиографии «Сибирских огней». Мне вдруг сказали, что он хочет меня видеть. Оказалось, что Озолин передал ему газетные вырезки с моими очерками о Достоевском. Так с лёгкой руки Вильяма я познакомился с Коржевным (вскоре мы стали с ним на «ты») и начал печататься в «Сибирских огнях», журнал этот на долгие годы стал для меня своим.

Примерно в то же время Озолин познакомил меня со своим близким другом Марком Давидовичем Сергеевым – тогдашним руководителем Иркутской писательской организации, талантливым литератором и замечательным, редким человеком. Через Сергеева я изредка публиковал очерки и рецензии в иркутском альманахе «Сибирь». А в те годы каждая журнальная публикация была для меня событием, праздником. Много позже Марк Давидович взял мой очерк о старых книгах «Омские новеллы» в составленный им коллективный сборник «Библиофил Сибири» (Иркутск, 1988), а вскоре очерк этот перерос в целую книгу – «Удивительная библиотека» (Омск, 1989).

Тогда же, в начале 1970-х (и тоже, разумеется, через Вильяма) состоялось знакомство с Романом Солнцевым. Примерно через полгода после смерти Вили Роман Харисович предложил мне войти в состав редколлегии журнала «День и Ночь».

То есть постепенно, как бы между делом, Озолин приобщал меня к кругу своих друзей, расширял мои литературные знакомства и в географическом (Новосибирск, Красноярск, Иркутск), и – что, разумеется, главное – в человеческом смысле.

Помните слова Р. Добровенского о незримом, необъявленном содружестве литераторов-сибиряков, о том, что Озолин сделал из этого содружества культ, легенду?

Об этом же – старое стихотворение Р. Солнцева «Похвала друзьям», посвящённое не кому-нибудь, а именно Озолину:

Друзья мои от Омска до Читы,
умеющие спичку резать волосом
на две, умеющие тихим голосом
рассеивать влиянье темноты,

я помню вас, бродяги, мастера!
Как пёс, что лезет на берег из озера,
я лапами сучу, ворча незлобиво,
за пишущей машинкою с утра.

Но если кто мне телеграмму даст –
куплю билет... И на лесной полянке
Я плюну на бессмертье ради пьянки:
на что мне вечность, милые, без вас?

Или из вас любому – без меня?
(А все мы вместе – точно! – не бессмертны).
Налейте ж мне. А ты оставь советы,
печальный страж не вечного огня!

С подачи Озолина несколько раз приезжал в Омск читинский поэт Ростислав Филиппов. Человек открытый, размашистый, душевно щедрый, он понравился у нас многим. С ним мы тоже сразу же стали на «ты».

Жизнь меняет и корёжит людей, то и дело разводит их друг с другом. Слышал, что Вильям и Ростислав впоследствии перестали быть друзьями, не берусь тут судить кого-либо. Но с моей стороны было бы несправедливым не сказать, что и Филиппов сыграл положительную роль в моей скромной литературной биографии. В 1977 году меня послали в Малеевку – на Всероссийский семинар молодых критиков. Поехал я туда с рукописью эссе о Достоевском «Всегда со мной», занимался

в семинаре известного литературоведа Юрия Борисовича Борева, который отнёсся к моему сочинению со всей серьёзностью и сказал, что со временем из него может получиться книга*. В свободное от семинарских занятий время я читал и конспектировал специально заказанный для меня одной из организаторов нашего семинара – милейшей Марьяной Васильевной Зубавиной первый том писем Достоевского под редакцией Долинина (в Омске этой книги нет), и некая пока ещё смутная идея зашевелилась тогда в моей голове – по-особому, необычно издать «Записки из Мёртвого дома». Я тут же сел и написал письмо Филиппову – к тому времени он уже переехал из Читы в Иркутск и работал главным редактором Восточно-Сибирского книжного издательства. Через несколько лет такое издание знаменитой книги Достоевского было осуществлено, вышло оно немыслимым по нынешним временам тиражом – сто тысяч экземпляров.**

Уже незадолго до конца жизни – летом 1994-го – Вильям сделал в дневнике запись, касающуюся Р. Филиппова: *«О Славке Филиппове много говорили. Жалели, зачем в своё время не послушался советов и ушёл из издательства в Союз писателей, в эту помойку. Те шакалы, которых он поддержал, будучи ответсекретарём, они же его и предали-продали»* (Встреча. – С. 265).

И ни слова осуждения. Не стану никого – ни Славу, ни кого другого – судить в своей книге и я. Не для того она задумана.

О сибирском братстве литераторов одного поколения пишет и Илья Фонаков – в предисловии к изданию запис-

* Много позже книга действительно вышла – «"Вокруг Достоевского" и другие очерки». – Омск, 1996.

** Ф.М. Достоевский. Записки из Мёртвого дома. Письма из Сибири. Воспоминания современников. «Сибирская тетрадь». Документы. / Составитель, автор послесловия и комментариев А. Лейфер. – Иркутск, 1981.

ных книжек Марка Сергеева: «Братство, о котором тоже ещё предстоит рассказать. Вильям Озолин в Омске (а потом – в Чите и в Барнауле), Зорий Яхнин и Роман Солнцев в Красноярске, Ростислав Филиппов в Чите – называю не всех. Никаких лидеров не было, даже неформальных»*.

Легенда легендой, культ культом, но вот совсем недавно, два с небольшим года назад, я на своём опыте почувствовал, что некое литературное братство существует до сих пор. Нужно было срочно помочь сыну, оказавшемуся в Чите. Позвонил Роману в Красноярск.

– Что за проблема? – сказал он. – Сегодня же пишу два письма в Читу – Гоше и Мише Вишнякову. Они всё сделают.

И они всё сделали – известный детский писатель Георгий Граубин, мельком видевший меня только на литпразднике «Забайкальская осень – 72», и поэт Михаил Вишняков, который, скорее всего, и слыхом обо мне не слыхал. Но за меня попросил Роман, за меня всё ещё «просит» Озолин, и это решило дело.

Я звонил потом и тому, и другому, благодарил. Георгий Рудольфович отвечал сдержанно, а Михаил оказался человеком восторженным – вначале нахваливал моего сына, а потом заговорил... о писательском братстве – ни больше ни меньше! И это после раскола Союза писателей, после всех гадостей, которые сказаны друг другу «патриотами» и «демократами» за последние пятнадцать лет... Значит, не ушло бесследно, осталось то, что так культивировали, лелеяли и лелеют ушедшие и живущие – Вильям Озолин, Илья Фoniaков, Николай Самохин, Марк Сергеев, Георгий Граубин, Роман Солнцев, Ростислав Филиппов, Евгений Раппопорт, Михаил Малиновский. И я счастлив, что с лёгкой руки Вильяма хоть немного, хоть краешком, мизинцем тоже прикосновенен к этому.

* Фoniaков И. Прежде всего поэт // Сергеев М. «Над облаками – облака...». Из записных книжек. – Иркутск, 1998. – С. 4.

Честно говоря, жил я в описываемые времена как в тумане. Существенным для меня были только литературные дела. Служба в редакции «Омской правды» шла легко, семья подразумевалась как бы сама собой. Отец пока работал, мать была более или менее здорова. Ещё в 1969 году я задумал свою документальную книжку о Петре Драверте – каждый свободный час сидел над его бумагами в краеведческом музее, в госархиве, работал в библиотеке, вёл переписку, встречался с людьми... Был настолько увлечён всем этим, что мог, например, среди ночи разбудить жену, чтобы рассказать ей: только что пришло в голову решение – композиция книги будет такой-то и такой-то.

Сейчас я думаю, а не бросил бы я всё это к чёртовой матери, если бы кто-нибудь мне шепнул тогда, что моя первая книга выйдет аж через десять лет – в 1979-м, к столетию Драверта, что перед этим мне не раз и не два будут выкручивать руки в Западно-Сибирском книжном издательстве, тянуть и элементарно обманывать? Немного отвлекусь и расскажу только об одном связанном с этим эпизоде. Не помню уж, в каком году (но точно – после отъезда Вильяма из Омска) тогдашний руководитель Омской писательской организации Л.И. Иванов дал мне командировку в Новосибирск – специально для того, чтобы я выяснил судьбу своей давно уже находившейся там «дравертовской» рукописи: что с ней – ни с помощью почты, ни по телефону узнать не удавалось.

Приехав в Новосибирск, я пошёл прямо к главному редактору издательства Ф. (сотрудники за глаза звали его «главнюк»). Тот начал говорить о рукописи такими общими фразами, что я прямо спросил его – читал ли он моё сочинение? «Сам я не читал, – нисколько не смутившись, ответил он, – я основываюсь на мнении...» И была названа фамилия сотрудницы издательства. Кабинет её находился по сосед-

ству, но, увидев меня, хозяйка кабинета сообщила, что рукопись мою получила «только на прошлой неделе» и к знакомству с ней ещё не приступала. Круг, таким образом, замкнулся, я утёрся и пошёл на вокзал, скрипя зубами от обиды и злости (помню, как, приехав домой, «спускал пар», – описывал свою поездку в столицу Сибири в письме Озолину).

Но это будет потом, а пока я был полон надежд и планов, весь кипел и фонтанировал различными идеями.

В ноябре 1971 года омские критики Ефим Беленький, Эдмунд Шик и я были приглашены в Иркутск – на совещание-семинар литературных критиков Сибири. Организовал всё это, конечно же, Марк Сергеев. Я впервые увидел Иркутск, Шелехов, Ангарск, впервые походил по байкальскому берегу и закусил омулем. Но главным, конечно, были новые знакомства. У меня имелось поручение к А.В. Вампилову, и я благодарен судьбе за то, что она подарила мне дни и часы общения с этим удивительным человеком*. Вампилов познакомил со всей остальной «иркутской стенкой» – В. Распутиным, В. Шугаевым и Г. Машкиным. Много лет после этих иркутских дней я переписывался с поэтом из Улан-Удэ Володей Липатовым и томским критиком Львом Пичуриным. Именно там познакомился с озолинскими друзьями – поэтом и журналистом Ильёй Олеговичем Фоняковым, критиком Женей Раппопортом, литературоведом Борей Юдалевичем. Творческие и деловые контакты поддерживались потом с детским писателем из Братска Геннадием Михасенко, иркутским прозаиком Анатолием Шастиным.

Есть небольшая, написанная через три года после поездки в Иркутск зарисовка, которая входит в эссе «Всегда со мной». Она, как мне кажется, неплохо передаёт самую атмосферу тех семинарских дней.

* В тот же год Александр Вампилов был проездом в Омске.

«ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ "БОРЬБА"

В Иркутске я один раз боролся (идеологически, разумеется) с представителем западной прессы – корреспондентом американского журнала, тот ездил по Сибири и собирал материал для серии очерков.

В Иркутске проходил большой литературный праздник, мы должны были ехать выступать во Дворец культуры одного завода. Собрались в просторном гостиничном холле и ждали автобус.

Американца я заметил сразу. Он прогуливался по холлу и, проходя мимо нашей компании, каждый раз пристально к нам присматривался. Наконец подошёл, заговорил. Двое наших владели английским, и контакт налачился.

Американец сказал, что его, разумеется, интересует культурная жизнь современной Сибири и что он очень рад случаю познакомиться с такой большой группой её, этой жизни, представителей. И что вообще – он был бы счастлив, если бы мы разрешили ему поехать с нами во Дворец культуры, где бы он послушал наши выступления и посмотрел, как на них реагируют сибирские рабочие.

Я не знаю никаких языков, кроме русского. Школьные учителя, а потом университетские преподаватели пытались меня им научить, пытались в общей сложности девять с половиной лет, но ничего у них не вышло. Не дался. Поэтому я изучал американского коллегу, так сказать, визуально. Был он невысокий, худущий, белобрысый.

И одежда его была какой-то уж очень лёгкой для поездки по зимней Сибири. Он громко разговаривал с нашими "англичанами" – Ильёй Олеговичем Фоняковым и детским писателем-братчанином Геной Михасенко, до меня долетали искажённые акцентом слова: "О, стихи! О, роман! О, Новосибирск!"

– О, Фьёдор Достоевский! – сказал вдруг американец и полез за блокнотом.

Я понял, что "переводчики" что-то сказали американцу

про меня. Великое имя Фёдора Михайловича сработало чётко и безотказно: раскрыв блокнот, заокеанский гость двинулся ко мне.

– Мы сказали ему, что ты живёшь в Омске, где был на каторге Достоевский, и что ты пишешь об этом.

А американец уже заносил в блокнот мою фамилию, спрашивал, что именно я написал и где напечатал. Признаться, чувствовал я себя не совсем уютно.

Но вот вопросы у американца кончились, и тут-то я и решил "побороться".

– Спросите у него, какие материалы печатает его журнал по поводу столетия юбилея Достоевского?

Американец выслушал вопрос, помялся, взглянул на меня сверху вниз, поморгал белобрысыми ресницами и произнёс какое-то короткое слово.

– Ничего они не напечатали, – перевёл Гена.

– Спроси у него – почему?

На этот раз американец говорил дольше.

– О чём это он?

– В общем, он говорит, что это не в англо-саксонских традициях – отмечать юбилеи.

– Скажи ему, Гена, что в этом месяце этот юбилей отмечают во всём мире, – разошёлся я, – и что по этому поводу было специальное решение ЮНЕСКО.

Гена (явно с удовольствием) перевёл. Американец, криво улыбаясь, опять о чём-то заговорил – как выяснилось, – снова про англо-саксонские традиции. В ответ я сделал два международных жеста – развёл руками и пожал плечами. Тут подошёл автобус.

Потом мы выступали во Дворце. Читал свои прекрасные стихи из цикла о Пушкине Марк Давидович Сергеев, хохотал зал над рассказами Николая Самохина и много ещё было разного и интересного.

Я же нарочно стал говорить о Достоевском и видел боковым зрением, как Гена переводит мои слова американцу,

которого посадили вместе с нами на сцену. А потом сам американец вдруг встал и прочитал собственные стихи! Ему хлопали дважды: после того, как он закончил, и после того, как Геннадий перевёл содержание стихотворения.

Больше я американца не видел.

Интересно, написал он обо всём этом или нет?»

Но это было написано, повторяю, позже – где-то года через три после поездки в Иркутск. А сразу же по приезде домой я отчитался в «Омской правде» о своих иркутских впечатлениях, статья заканчивалась так:

«Хочется отметить чёткую организацию семинара. Были созданы все условия для интересной и плодотворной работы. Наши гостеприимные хозяева организовали экскурсию по городу, устроили незабываемую поездку на Байкал. Большую активность во всех делах семинара проявил обком комсомола.

Важным является и то, что прошедший семинар не был просто узкопрофессиональным, "келейным" явлением, он превратился в массовый литературный праздник. Встречи с писателями, местная печать, телевидение привлекли к нему внимание многих тысяч иркутян. Что же касается профессиональной стороны дела, то надо думать, что занятия семинара принесли пользу всем его участникам. Впервые был организован столь солидный и широкий разговор о сибирской литературной критике и литературоведении. И все, участвовавшие в этом разговоре, разъехались, узнав для себя много нового, получив хороший творческий заряд»*.

* Лейфер А. Разговор о литературе (Из иркутского блокнота) // Омская правда. – 1971. – 12 декабря.

Нахваливал я Иркутск и иркутский семинар не случайно, не просто от избытка чувств. Очень захотелось попытаться устроить нечто подобное в Омске. Приехав из Иркутска, я сразу же начал говорить об этом с Вильямом. А встретились мы тотчас же: сохранился датированный именно ноябрём 1971 года снимок – писательское выступление во Дворце культуры «Юбилейный». На переднем плане мы с Озолиным, дальше – Иван Яган, Татьяна Гончарова, дальше – совсем уже не в резкости – угадываются Мария Юрсова и Тимофей Белозёров.



*Выступление омских писателей
перед читателями во Дворце
культуры «Юбилейный»:
А. Лейфер, В. Озолин, И. Яган,
Т. Гончарова. 1971 г.*

Помню, после этого выступления Вильям пригласил нас с Яганом к себе домой, и, конечно же, за столом я взахлёб стал делиться иркутскими впечатлениями. Адресовался я в основном к Ягану – в то время второму лицу в Омской писательской организации. Да Вильяма и не нужно было агитировать: он не раз бывал на разных литпраздниках, в том числе и на знаменитой «Забайкальской осени». Тогда-то и родилась идея проведения в Омске праздника родного для всех нас в те годы журнала «Сибирские огни», которому в 1972 году исполнялось полвека. Именно с нашей подачи весной и была проведена юбилейная неделя (неделя!) «Сибирских огней». В обком ВЛКСМ ходили мы с Яганом, Вильяма по известной причине (Ирина!) брать туда было нельзя.

Вот полоса газеты «Молодой сибиряк» за 21 марта того года: «Журналу "Сибирские огни" – 50 лет».

«21 марта 1922 года, – сказано во врезке (её, скорей всего, я и писал), – вышел первый номер журнала "Сибирские огни", который является теперь старейшим литературно-художественным и общественно-политическим ежемесячником в стране. Одним из инициаторов издания был наш земляк писатель Феоктист Березовский. "Сибирские огни" открыли путь в литературу многим писателям-омичам. На страницах журнала выступали Леонид Мартынов, Пётр Драверт, Павел Васильев и другие писатели, жизнь и творчество которых связаны с Омском. Сейчас постоянными его авторами являются Ефим Беленький, Леонид Иванов, Эдмунд Шик, публикуются в нём произведения Татьяны Гончаровой, Ивана Петрова, Вильяма Озолина и других омичей.

С первых дней своего существования и по настоящее время журнал выступает как собиратель, организатор и воспитатель молодых сил литературы. Только в прошлом году были опубликованы в "Сибирских огнях" произведения молодых омских литераторов Тамары Саблиной, Александра Лейфера, Михаила Малиновского, Владимира Новикова, Ивана Токарева...

Пятидесятилетие журнала "Сибирские огни" отмечается литературной общественностью всей страны – торжества состоятся в Москве, Новосибирске и многих городах Сибири. Этот юбилей является, естественно, значительным событием и в жизни литературного Омска. Поэтому бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление о проведении юбилейной недели, которая откроется 30 марта в библиотеке им. А.С. Пушкина встречей авторов журнала с читателями. В городе и в сёлах области, на предприятиях, в институтах и школах, в библиотеках и книжных магазинах читатели и почитатели журнала, любители литературы встретятся не только с омскими писателями, но и с его авторами из Новосибирска, Иркутска, Читы, Тюмени, Кургана, Кемерова».

На этой полосе рассказ Анатолия Черноусова, стихи Геннадия Карпунина и Вильяма. А приезжали тогда в Омск ещё и Марк Сергеев, Николай Самохин, Роман Солнцев, Нинель Созинова, Ростислав Филиппов.

На официальный банкет денег не было, и мы с Озолиным организовали два «неофициальных» – один на его квартире, другой – на моей (у меня тогда была уже двухкомнатная).

В тот год – год его отъезда из Омска – мы встречались особенно часто. Иной раз Вильям приезжал к нам в Дом печати. Там располагались редакции обеих омских газет, где работали его старые друзья Виталий Попов и Валерий Зиняков, заходил он и к Елене Злотиной, к редактору «Молодого сибиряка» Михаилу Сильвановичу.

Однажды, найдя меня в кабинете Злотиной, Вильям (чувствовалось, что он чуточку выпил) торжественно заявил нам, что недавно понял, как он недооценивал «Омскую правду», какая полезная и нужная людям наша газета. Мы с Леной приготовились слушать (конечно, понимая, что дальше следует очередной озолинский «прикол»).

– Нет, я серьёзно, – входил в раж наш гость, – вот иной раз утром просыпаешься и не можешь понять – живой ты или уже мёртвый. А тут – «Омскую правду» принесли. Скорей взглянешь на последнюю страницу: раз некролога нет, значит, живой! Очень, очень полезная вещь ваша «Омская правда».

Но не одни только хохмы запомнились мне. Однажды, например, зашёл разговор о творчестве. И Озолин высказал мысль, которая по-настоящему дошла до меня и с которой я согласился только спустя много лет – уже в перестроечное время, когда яснее ясного стало, «кто есть ху». Тогда же мне не верилось в озолинское утверждение, что неважно, как ты пишешь, а важно, какой ты человек.

– Да, да, Саша дорогой, именно так, – разволновавшись, говорил тогда, расхаживая по моему кабинету, Вильям, –

в конце концов, неплохо писать можно и научиться – освоить технику, набить руку... А вот тому, что есть в Марке, в Романе, в Илюше Фонякове или в нашем Мишке Малиновском, не научишься... Они – люди, настоящие люди, а не дерьмо. А дерьма у нас сейчас в литературе – каждый второй.

Тогда, тридцать лет назад, мне, дурачку, восторженно относившемуся ко всем пишущим, это, повторяю, казалось перехлестом, преувеличением.

Или из другой оперы. Не любил и не люблю выступать. Некоторым такое занятие нравится, а я каждый раз волнуясь, цепенею, забываю, о чём хотел сказать. Хотя, говорят, со стороны это в последние годы и не видно.

Незадолго до отъезда Вильяма нас вдвоём послали выступить на Омскую суконную фабрику. Напрочь не помню самого выступления, но хорошо запомнил, как вышли после него за проходную и Озолин, предложив сесть на первую же скамейку, около часа критиковал меня за косноязычие, за неумение организовать свою речь – буквально «на пальцах» учил самой технике выступления.

...Однажды мы гуляли с моим трёхлетним сыном Димкой и встретили Озолина на улице. Он присел перед мальчиком на корточки, начал с ним разговаривать, но тот почему-то на диалог настроен не был.

– Иди себе с Богом, – сказал он вдруг Вильяму.

Озолин был в восторге и много раз вспоминал потом об этом случае...

...А летом он уехал.

2

Итак, летом 1972 года Озолин уехал в Читу. На прощанье «Молодой сибиряк» дал подборку озолинских стихов, ей был предпослан следующий врез:

«Дорогая редакция!

Недавно в Западно-Сибирском книжном издательстве вышел второй сборник стихов Вильяма Озолина "Песня для матросской гитары". Помня о том, как трудно было достать первую книжку поэта, мы кинулись в магазины и... опять опоздали. Обращаемся с просьбой – нельзя ли помочь нам достать эту книжку?

*Королёв, Васильев,
рабочие нефтекомбината.*

От редакции. Уважаемые товарищи! Помочь вам – вряд ли в наших силах. К сожалению, многие хорошие книжки выходят слишком малым тиражом*. Но, пытаясь выполнить вашу просьбу, мы позвонили Вильяму Озолину домой. Это было в тот день, когда поэт уезжал из нашего города "насовсем". На прощание он согласился оставить для читателей "Молодого сибиряка" несколько новых стихотворений**.

А дальше под заголовком «Сто строк лирики» идут стихи – «О лирика моих осенних дней!», «А ты до закатного часа когда-нибудь звёзды видал?..», «Очень даже может быть...» и «Уточнение». Дано и фото: всё то же – в свитере и с гитарой.

В ответ Вильям прислал редактору газеты, моему хорошему товарищу Михаилу Сильвановичу, письмо, которое оказалось почему-то у меня. Могу предположить, что Миша отдал мне его из-за касающейся меня приписки.

«Миша, дорогой! Гады!

Как вы меня, ребята, растрогали прощальной публикацией! Слов нет!..

...Мои дела? Солнце, тайга вокруг. Полный порядок, и даже целых три новых стихотворения грохнул за две ночи...

* Тираж, кстати, был по нынешним понятиям для поэтической книги небывалый – 10000 экз. А сейчас никто не удивляется, если стихотворная книжка выходит тиражом в 200, 100 или даже 50 экземпляров.

** Молодой сибиряк. – 1972. – 12 июля.

... "Забайкальская осень" в этом году начнётся у нас 10 сентября – сразу после Дальневосточных дней литературы...

...Как поживает Миша Малиновский? Он, наверное, уже знает, что погиб на Байкале Ал. Вампилов? Он с приятелем на "казанке" с мотором "Вихрь" врезался в топляк неподалёку от берега. Но, видимо, были оглушены и стали тонуть. Одного-то откачали, Вампилова – нет. Ребята (Гоша и Слава) сегодня улетели хоронить.

Ну вот и все новости – и хорошие, и печальная. Из хороших ещё одна: РК КПСС не утвердил решение партбюро Союза писателей об исключении Булата из партии. Говорят, Евг. Евтушенко куда-то там звонил на самый чердак: Женя умеет!

Привет Сашке Лейферу, Ленке Мироновой, Нине Бразниковой**, да! – Сашке Чепурко!*

Обнимаю – твой Вильям.

21.VIII.72.

Вчера говорил с ребятами о Лейфере. Необходимые бумаги отправили в обком ВЛКСМ и Фадееву».

Речь шла о моей поездке на популярный тогда литпраздник «Забайкальская осень». И.Д. Фадеев, редактор «Омской правды», не отпустил меня на него. Но я всё равно взял отпуск и улетел в Читу на свои.

Сохранилось немало бумаг, привезённых тогда из Читы: афиши, книжные закладки, газетные вырезки, приглашенные билеты. Экслибрисы я наклеил на купленные и полученные там в подарок книги. И пачка фотографий: открытие праздника – заполненная народом большая площадь, герои сказок – богатыри в шлемах, кольчугах и на конях, парад писателей, Коля Самохин перед микрофоном, мы на телестудии, Озолин и я на крыльце гостиницы «За-

* Е.Н. Злотина-Миронова (1936–1994), поэт, театральный критик, много лет возглавляла отделы культуры в газетах «Омская правда» и «Вечерний Омск».

** Н.В. Бразникова, журналист, много лет была ответственным секретарем газеты «Молодой сибиряк».

байкалье», Озолин и Слава Филиппов ведут прямой репортаж с открытия праздника... А вот моя статья, написанная по приезде домой*. Целью её было убедить омское начальство организовать подобный литпраздник и в нашем городе. Позже мы этого всё-таки добились: с 1977-го по 1986 год проводился праздник «Омская зима», на который со всех концов страны приезжали десятки интереснейших литераторов, в том числе и Озолин. Особую роль в становлении праздника сыграл М.П. Малиновский. В 1976 году он по командировке обкома комсомола специально летал в Читу – изучать организационные детали и финансовую сторону проведения «Забайкальской осени». Но до сих пор Михаил Петрович считает, что именно Озолин зажёг, «заразил» идеей будущей «Омской зимы» и его, и всех остальных. Зажёг своими восторженными рассказами о ежегодных литературных встречах в Чите.

Не стану цитировать скучноватый текст своей старой статьи, а лучше приведу здесь ещё одну главку из того же эссе «Всегда со мной».

«СЛУЧАЙ В КРАСНОМ ЧИКОО

Красный Чикой – это большое районное село в Читинской области. В этой же области проводится каждый год знаменитый литературный праздник – "Забайкальская осень". И вот однажды, а именно в 1972 году, мне повезло – пригласили на "Осень". Группа наша (или, как говорят читинские комсомольцы-организаторы "Осений", – бригада) прилетела в Красный Чикой.

Вечером мы выступали в переполненном деревянном клубе. Подошла очередь выступать мне. Рассказывал я тогда о судьбе несчастного Ильинского, о том, как непутёвый тобольский подпоручик стал прототипом Мити Карамазова.

* Лейфер А. Краски «Забайкальской осени». Записки участника. // Молодой сибиряк. – 1972. – 4 октября. В статью ввёрстано стихотворение В. Озолина «Мать вздыхает», которое я привёз из Читы.

Я и так не очень-то умею говорить, а тут ещё на самой середине истории Ильинского в зале погас свет. Вот так вот просто – взял и погас.

Прошёл по рядам небольшой шумок, потом кто-то из зала говорит – спокойно так говорит, ласково:

– Да вы продолжайте, это у нас бывает. Продолжайте, продолжайте, мы слушаем.

Так в темноте и договорил. Тихо было – будто самому себе рассказывал.

Устали мы в тот день здорово: дорога, встречи, выступления, какое-то неправдоподобное, в неземные краски выкрашенное сентябрьское Забайкалье...

Привезли нас в гостиницу – маленькую, деревянную. Заснул как убитый.

Среди ночи внезапно проснулся, что-то разбудило меня, а что – не пойму никак спросонья. Вдруг слышу – за стеной чей-то мужской голос называет мою фамилию. Чётко так называет и громко, чуть ли не кричит. А потом вообще стал по буквам произносить:

– Леонид, Елена, Иван-краткий, Фёдор, Елена, Родион...

Да уж не во сне ли всё это? Нет, не во сне! Да что же это тогда? Честно говорю – как-то даже не по себе стало. Оделся, вышел в коридор. Из-под дверей соседней комнаты свет. И оттуда же – голос:

– Леонид, Елена, Иван-краткий...

Открыл я тихонько дверь, гляжу: сидит член нашей бригады Андрей Сергеевич Некрасов – с телефонной трубкой. Фу ты, господи, вот в чём дело!

Андрея Сергеевича вы все знаете. Да, да – все, без исключения. Знают его также ребяташки Англии, Чехословакии, Соединённых Штатов, Австралии и многих других стран. Андрей Сергеевич написал "Приключения капитана Врунгеля". Я потом был у него в гостях в Москве и видел целую полку с переводами "Врунгеля" на разные языки. Его даже на японский перевели, даже на хинди.

Увидел меня Андрей Сергеевич, прикрыл трубку рукой. "Что, – спрашивает, – разбудил? Уж извини, – говорит, – старик, связь с Москвой плохая, кричать приходится".

Оказывается, перед отъездом один столичный еженедельник заказал Андрею Сергеевичу репортаж про "Осень". Вот он его стенографистке и диктует. И как раз то место диктует, где говорится, как вёл себя зал, когда свет потух.

Прикрыл я дверь, не стал мешать. Ушёл к себе, снова лёг. Но заснуть уже не смог.

Всё перепуталось в моей бедной голове: Красный Чикой, о существовании которого я и не подозревал ещё позавчера. Непутёвый подпоручик Ильинский. Капитан Врунгель. Тёмный, безмолвный, заинтересованный зал. Митя Карамазов. Омск, Тобольск, Чита. Леонид, Елена, Иван-краткий. Московский еженедельник... При чём тут я? Я-то тут при чём?

А в репортаже Андрея Сергеевича про погасший свет почему-то не напечатали. Вычеркнули почему-то».

Озолин – как один из организаторов праздника – был сильно занят. Но мне всё-таки удалось побывать в его двухкомнатной квартире на Смоленской улице. На дверях Ириной комнаты висела деревянная мордашка девчонки в цветастом платочке, с дверей комнаты Вильяма улыбался бородатый матрос с трубкой в зубах и в тельняшке – тоже вырезанный из дерева и ярко раскрашенный. Больше, честно говоря, ничего не запомнил – видимо, принимали меня Озолины весьма гостеприимно...

Через несколько дней, полный впечатлений, я улетел в Омск.

Ещё в сентябре вдогонку от Вильяма пришло письмо с газетной вырезкой:

*«Пишу накоротке. Устал. Вчера вернулись с границы...
...Читал ли в "Лит. России" заключительную статейку
А. Некрасова?*

...Посылаю тебе отчёт о встрече в обкоме, м. б., пригодится. На фото: Славкина лысина, ты, Гоша, Некрасов и т. д.

Привет Ленке Златиной, Саше Чепурко, Кате Марковой
Не забывай – пиши.*

Получил от Шика собранный им сборник Яна Озолина. Созвонись с ним и дай об этом информацию. Пригодится для издательства...

Ну всё! Желаю тебе всего хорошего в жизни и работе и большого сибирского похмеля! Твой Вильям.

Мише Малиновскому отдельный салют. Пусть пишет».

Вскоре в моей личной жизни случились резкие перемены.

Что произошло, можно понять по короткой, не имеющей названия новелле из так толком и не опубликованного автобиографического цикла «Жить вместе». Новеллка эта, пожалуй, передаст моё тогдашнее (отчасти – моё нынешнее) настроение лучше, чем передаст сухой пересказ событий.

Только вместо названия «Минск» следует подразумевать «Чита».

«В ту осень он облетел полстраны. Вернувшись из Хабаровска, неожиданно узнал, что через неделю надо лететь в Минск. Времени для завершения хабаровских дел и подготовки к делам минским было крайне мало. Он работал по двенадцать-четыре часа в сутки и страдал от того, что не мог увидеть её – женщину, о которой вот уже полгода неотступно думал каждый день и каждый час. Работал он

** Е.А. Маркова, фотограф, ретушёр газеты «Омская правда».*

дома и лишь раз или два в день, оторвавшись от бумаг, спускался к телефонному автомату и со сжимающимся сердцем слушал её голос. Говорила она сухо, называя его на "вы": рядом, за соседним столами, сидели сослуживцы. Во время первого же разговора сообщила, что вечерами занята, так как к ней в гости приехала мать.

Накануне отъезда к нему пришёл товарищ. Товарищ зашелся, и он пошёл его проводить. Они шли по начинающей темнеть сентябрьской улице. Товарищ знал, как долго пришлось добиваться командировки в Минск, и недоумевал, почему он так недоволен. У автобусной остановки они обнялись, автобус тронулся, и он уже пошёл было домой, но вдруг – будто кто в бок толкнул – зашёл в стоявшую ту же, на остановке, телефонную будку и набрал её номер. Зачем он сделал это – ведь знал же, что рабочий день давно кончился и звонок прозвучит в пустом и тёмном кабинете?

– Да, – услышал он в трубке её голос, – да, вас слушают.

– Это я.

– Господи, откуда ты знаешь, что я здесь?! Я забыла кошелек и приехала за ним уже из дома. Откуда ты узнал, ведь я зашла сюда буквально на минуту?

Они условились встретиться в центре города. Он приехал первым и успел купить в соседнем уже закрывающемся гастрономе бутылку шампанского – больше ничего не было.

Не запомнилось, в чём она была одета, кажется, в каком-то светлом плаще. Осталась только в памяти её яркая косынка, по полю которой были разбросаны крупные головы лошадей с умными и печальными глазами.

Они зашли во двор огромного дома, где на первом этаже был расположен детский сад. Сидели на неудобной скамейке и пили шампанское – за встречу и новое расставание сразу. Пили из свёрнутого из газеты кулька. И он целовал её в похолодевшие от вина чуть раскрытые губы.

– Люблю? – вслух спрашивала она саму себя. – Неужели я тебя люблю?.. А ведь люблю. Люблю! – уже с другой, утвер-

дительной интонацией, но опять же самой себе несколько раз повторила она. – Лети в свой Минск.

Вернувшись из Минска, он переехал к ней – в её маленькую, светлую и почти пустую однокомнатную квартирку под самой крышей.

Боже мой! – чего только не было потом! Часы и дни счастья, слёзы, тяжкие ссоры, разочарование, ревность, снова полосы счастья, сомнения, надрыв, отчуждение и наконец – через несколько мучительных лет – разрыв, окончательный и безобразный. А потом длинно и монотонно потянулось для него одиночество, которое в конце концов перестало давить так невыносимо, как в первое время. Появились новые встречи, многое забылось. Другие поезда и самолёты несли его то на восток, то на север, а потом привозили обратно в родной и, казалось, соскучившийся по нему город.

Годы прошли уже, годы...»

Уйдя из семьи, я уволился с работы. С родственниками и некоторыми друзьями оказался «в контрах». Было тяжело появляться на людях. Всё это подтолкнуло меня к идее – уехать вместе с новой подругой вслед за Вильямом в Читу.

В конце концов из этой затеи ничего не получилось, но тогда ни я, ни Озолин, разумеется, предположить этого не могли, и Вильям на полном, как говорится, серьёзе взялся помогать мне. Об этом свидетельствуют несколько его писем, датированных всё тем же роковым в моей биографии 1972 годом.

Он ходит в Чите по обменным адресам, разговаривает обо мне с Георгием Граубиным – тогдашним секретарём Читинской писательской организации, зондирует почву относительно того, куда бы я смог устроиться на работу...

«В Иркутске, – пишет он мне 8 ноября 1972 года, – будет семинар "Молодость, творчество, современность". Едут Сла-

ва и Гошка. Я со своей стороны Марку Сергееву кину письмо или позвоню: может быть, будет возможность тебя вызвать. Это было бы очень и очень полезно. Ты позвони Марку. Поведай ему всё. Он мужик свой, обсудите, как тебе выбраться на семинар. Если есть хоть малейшая финансовая возможность – гони туда сам. Там и потолкуешь лично с нашими. Стоит!»

«Только башки не вешай! – пишет он в следующем письме, посланном через несколько дней. – Я уж помню, как мне была совсем труба в Омске. А вот ведь "вырулил"...»

На иркутскую конференцию «Молодость, творчество, современность» я тогда вырваться сумел. Приехал туда и Вильям. Он сразу же понял, что настроение у меня переменялось к лучшему, что острое желание уехать из Омска начинается, так сказать, притупляться. Ни слова упрёка не услышал я тогда от него, не было и никаких наставлений, правоучений, советов...

На память о том иркутском семинаре остались две вещи. Газетная вырезка с моей статейкой, написанной после возвращения домой. Пусть она лежит себе в архиве. Несколько страниц в уже упоминавшемся эссе «Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах». При публикации в журнале они были сокращены, поэтому привожу их здесь:

«Однажды, много лет тому назад, в иркутской гостинице "Ангара" сидела в одном из её прокуренных номеров не очень большая компания, весь состав которой я также в точности не припомню. Все были участниками большой литературной тусовки, которые когда-то так любил и так умел собирать руководитель иркутских литераторов – незабвенный Марк Сергеев. Сидели в том номере Вильям Озолин, живший тогда уже в Чите, читинский поэт Слава Филиппов, наверняка кто-то из местных литераторов. Красноярца Романа Солнцева не было точно, почему я это подчёркиваю, станет ясно чуть позже.

Бывает ведь, что в той или иной компании целый вечер повторяют какой-нибудь понравившийся на тот момент, попавший на язык слоган, – цитируют его по разным по-

водам и без повода. Тогда же, весь этот прекрасный вечер, вместо тостов звучало одно и то же: "Плохо, но... хорошо!" А в следующий раз – наоборот: "Хорошо, но... плохо!".

Я пришёл туда позже всех, и вскоре взяло любопытство – попросил прокомментировать эту показавшуюся загадочной фразу.

– Глядите-ка! Он не понимает, – с пол-оборота завёлся Озолин. – Ты где сейчас должен быть, на телевидении?

– Да не поехал я, устал, без меня там народу хватит...

– Это же плохо: выступил бы перед иркутским народом, приобщил бы его к своей нетленке... Плохо это. Но... хорошо!

– Как это?

– А так, что вместо какого-то там телевидения ты здесь сидишь, с нами, – когда ещё вот так вот все вместе соберёмся? Хорошо это?

– Лучше не бывает.

– Вот видишь... Но хорошо-то хорошо, а одновременно и плохо!

– Так ведь завтра-то всё равно разъезжаемся...

Озолинская диалектика с тех пор прочно засела в моей голове. Как, впрочем, и многое другое из того, что было связано с моим многолетним другом – прекрасным поэтом и ярким, весёлым и глубоким, несмотря на всегдашнюю внешнюю лёгкость, человеком.

И вот не так давно, начав листать полученную из Красноярска от Романа Солнцева, с которым много лет назад именно Вильям меня и познакомил, его новую книгу "Наши грёзы", я почти сразу же наткнулся на стихотворение "Воспоминание о друге". И вздрогнул на четвёртой его строке. И всё моментально вспомнил.

Приобняв друг дружку, мы во имя встречи
наливаем в кружки, зажигаем свечи.

И твердит со вздохом, расправляя крылья:
– Хорошо, но... плохо!.. – суеверный Виля.

Хорошо, но плохо – чтоб судьбу не сплзнить
(лживая эпоха тоже что-то значит!).
Хорошо, но плохо... хорошо, но страшно,
если пули плотно рядом бьют пристрастно.
А верней, не пули, а верней – монеты,
от которых слепнут многие поэты...
Так что не за чаем хрипло на рассвете
мы стихи читаем... смелые, поверьте!
И как будто кони, в нас сердца грохочут!
Ну а в телефоне стукачи хохочут...
Потому со вздохом, расправляя крылья,
– Хорошо, но... плохо! – шепчет старый Виля.
И ему без смеха в полумраке дома
вторит, словно эхо, суеверный Рома!..

Плохо, до сих пор очень мне плохо от того, что нет больше Вильяма, что никогда теперь не получу я от него разрисованного цветными фломастерами письма, никогда не услышу его гитары, не прочту ни одной новой его строки. Никогда не обниму его самого – ни в Омске, ни в Барнауле, ни в Москве, ни в Чите...

Но как хорошо, что он был в моей не очень-то складной жизни, всегда буду благодарен за это судьбе. Как и за встречи со многими другими людьми – прозаиком Ваней Токаревым, волшебным детским поэтом Тимофеем Максимовичем Белозёровым, Виталиком Поповым. Никогда не забуду рано погибшего поэта Николая Разумова, иркутян – Марка Давидовича Сергеева, Сашу Вампилова и Женю Раппопорта, новосибирцев – Колю Самохина, критика Виталия Коржева, впервые напечатавшего меня в "Сибирских огнях", и невероятно много сделавшего для нашей литературы критика Николая Николаевича Яновского, давшего мне рекомендацию в Союз писателей (храню вместе с письмами Вильяма более пятидесяти писем и от него)... Каждый из этих людей – вольно или невольно, чаще всего совершенно и не подозревая об этом, – что-то вложил в меня. Пора отдавать долги, пора записать, что помню о них обо всех...».

Итак, начался 1973 год. В штат Омского радио, куда я хотел устроиться, меня не взяли как морально себя скомпрометировавшего. То же самое получилось и с телевидением. В многотиражку я, дубина, идти не захотел: как это, — думалось тогда мне, — я, входящий в десятку лучших журналистов города, — и в многотиражку?! (С каким удовольствием много лет спустя я поработал в многотиражной газете треста «Нефтепроводстрой»: объездил полстраны, неплохо зарабатывал, имел массу свободного времени, во время перестройки коллектив треста даже выдвинул меня маленьким «слугой народа» — депутатом районного Совета. Но всё это было позже. Тогда же, по моим понятиям, уход после работы в главной областной газете в многотиражку являлся чуть ли не равносильным моральному краху.)

В конце концов всё образовалось. Миша Сильванович пригласил меня работать литконсультантом «Молодого сибиряка». (До сих пор благодарен ему за тогдашнюю моральную да и материальную поддержку: ведь брать меня на работу и даже просто печатать ему настойчиво не советовали.) Параллельно я писал передачи и для радио, и для телевидения — сотрудничать там нештатно мне милостиво разрешили.

Переписка с Вильямом продолжалась.

«11.IX.73

Саша, дорогой, спасибо за письмо!

Я ещё не пришёл в себя после "Забайкальской осени – 73". Сам понимаешь, какие космические перегрузки приходилось терпеть.*

...Плюс ко всему "Поэтическая орбита" на телевидении. Я веду её каждый месяц. Были уже у меня "живьём" в кадре:

* Есть у меня фото весьма смурного Вильяма со следующей его надписью:

Был под «балдой» я,
Говоря по-русски.
Научно:
Под влиянием
«перегрузки».

Саша Романов, Зорий Яхнин, Илья Фоняков, якуты, буряты, Мих. Асланов и Роальд Добровенский. Теперь горноалтайцы придут. Следуют – до конца года: Кымытваль – чукча, и Сахалин, и кто-то из Владивостока.

Меня за эти передачи "занесли" в Книгу почёта студии телевидения. Да и правда, передачи эти пользуются огромным успехом у читинцев.

А с поэтическими альманахами в "Мол. сибиряке" – это вы хорошо придумали! Я обещаю тебе сделать свою подборку, как только разгребу неотложные дела. В этом месяце пришло...

*...На "Альманах библиофила" я сделаю рецензию сам или закажу. В "Забайкальском рабочем".**

*Кстати, если будет что у тебя в твоей работе, связанное с Забайкальем, Восточной Сибирью, – или 2-й экз. нам. Рецензии на книги интересные и обязательно раз в месяц рецензию на "Сиб. огни" (Можешь компилировать радиопередачу)**.*

Кстати, и "отмонтированный" текст или маг. пленку – тоже можно пробить на радио или тел. Журнал у нас получают в Чите. И, конечно, любые темы, связанные с декабристами!»

В этом письме упоминаются поэтические альманахи «Молодого сибиряка». Придумал их в своё время поэт Владимир Пальчиков, тоже когда-то работавший в этой газете литконсультантом. Раз в месяц под стихи отдавались «подвалы» всех четырёх газетных полос. Верстался альманах так, что, вырезав, из него можно было сложить маленькую книжечку. Давались альманахи и индивидуальные – посвящённые творчеству одного поэта, и коллективные.

* В 1973 году в Москве вышел первый выпуск «Альманаха библиофила», где был помещён мой небольшой очерк «Удивительная библиотека» – о личной библиотеке П.Л. Драверта. В «Забайкальском рабочем» действительно вскоре появилась рецензия на это издание.

** Я писал тогда для Омского радио ежемесячную передачу «Зовут "Сибирские огни"».

В следующем письме (или это была бандероль?) Озолин, как и обещал, прислал для такого альманаха стихи. Он досконально продумал эту публикацию: порядок стихотворений, принципы оформления и т. д.

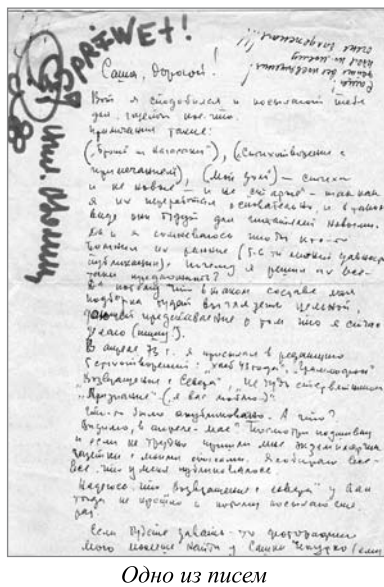
И тут же:

«Теперь коротко о всяком.

Сейчас сажусь за детскую книжку (а что – думаешь, хуже Белозёрова напишу?). На "Альманах библиофила" будет рецензия в "Заб. рабочем" – вышлю тебе обязательно.

Кстати, В. Оскоцкий в "Литерат. обозрении" – мой знакомый. Если есть виды – дай мне знать, я ему черкну о тебе.

М. б., в начале октября полечу на Сахалин. Если решусь. А то печёнка сильно болит...



Одно из писем

*...Вот пока всё. А теперь приветы: Мишке Малиновскому, Мишке Сильве, Попику – хоть черкнул бы мне. Где Зиняков?** Я тебе уже писал. Ответ. Привет братьям-художникам».

Альманах Вильяма Озолина «Посвящения» вышел в «Молодом сибиряке» 3 ноября 1973 года и наделал немало шума. Я написал к нему небольшое вступление:

* В.И. Зиняков (1925–1991), журналист.

«Год с небольшим назад Вильям Озолин сменил омскую прописку на читинскую. Но, перефразируя выражение Ф.М. Достоевского, можно в данном случае сказать: прописка меняется – сердце остаётся одно. О том, что связи с родным городом – и литературные, и чисто человеческие – крепки, свидетельствуют хотя бы передачи по Омскому радио, публикации в нашей газете, письма друзьям. Свидетельствует, наконец, и эта несколько необычная подборка.

Говорят, что

"...в краю далёком, в городе средь леса,
Нету у Озолина к жизни интереса".

(Р. Солнцев. Стихи о чайке // Юность. – 1973. – № 9).

Давний друг Озолина и его собрат по перу, конечно же, шутит. На подходе к читателю два стихотворных сборника, пишется ещё один – на этот раз детский. Сотрудничество с телевидением (ведущий популярной у читинцев передачи "Поэтическая орбита Сибири"), поездки по стране... Есть интерес к жизни, да ещё какой интерес!

Что же касается прописки – Омск, Чита... – для настоящего писателя она – вещь чисто формальная».

Начиналась подборка со стихотворения «Если спросят: как пишу?..» Оно играло роль вступления. А затем шли стихи, и каждое – с посвящением какому-нибудь конкретному человеку. В основном это были известные в Омске люди.

Стихотворение «Мой дом» посвящалось М. Малиновскому, «Случай» – другу Вильяма, художнику В. Смирнову, «Надпись на репродукции с картины Матисса» – Н. Третьякову, тоже художнику, в то время – полуопальному. «Возвращение с Севера» было посвящено мне, «Мотивы» – В. Зинякову, «Называй именами своими» – М.С. (т. е. Михаилу Сильвановичу), «Синяя песня» – И.Ш. (Инне Шпаковской). «Письмо, написанное на аэродроме» – В. Попову и «Стихотворение с примечанием» – журналисту Г. Куземе.

После выхода газеты с альманахом М. Сильванович был вызван в обком комсомола и пришёл оттуда мрачный. «Подвёл ты меня, – говорил он мне. – Мало того что они Озолину Ирку простить не могут. Они ещё к вступлению твоему придрались: говорят, что в нём намёк на оправдание эмиграции».

Таково было мнение начальства. Что же касается читателей, то их реакция носила в основном положительный характер. Звонили «герои» посвящений, звонили многочисленные озолинские друзья и знакомые. Звонили просто любители поэзии. Просили дать номер газеты, перепечатавали альманах на пишущей машинке.

Вначале из Читы пришло письмо:

«Сашенька!

Уж и слухи прошли, что в "М.С." "Посвящения" мои появились. Ужас как любопытно посмотреть!

...В Союзе сидят два ревизора – нашли у нас недостачу 7 руб. 06 коп. Это те самые, которые мы вчера пропили. Посадят теперь? Или условно дадут? Я даже обращение к малым народностям сочинил:

*Полубольной, полудоровый,
Полуживой, полумертвец...
Но если только выпью снова,
То стану мёртвым наконец.
И потому (хоть кровь и стынет!)
даю вам, милые, обет:
не пить проклятую отныне –
ни днем, ни ночью, ни в обед!»*

А затем в редакцию принесли телеграмму из Читы:

«Сильвановичу Лейферу Чекмарю*. Альманах получили молодцы сибиряки обнимаем пьём ваше могучее здоровье. Озолин Филиппов Граубин».

* В.А. Чекмарёв, журналист, в то время – заместитель редактора «Молодого сибиряка».

Но редактор наш ещё пару-тройку раз приходил из обкома с испорченным настроением: напоминали о нашем поэтическом «проколе»...

В конце 1974 года вышла первая после отъезда из родного города книга В. Озолина – «Чайки над городом». Вскоре я получил её от автора.

По сравнению с двумя предыдущими новый сборник внешне выглядел, мягко говоря, скромновато – газетная бумага, неброское оформление, наличие опечаток (в моём экземпляре все они выправлены авторской рукой)... Но зато редактором книги был близкий друг – Ростислав Филиппов, и это, конечно же, позволило Вильяму высказаться полнее и откровенней, чем это удавалось до сих пор. В коротком вступлении «От автора» он пишет:

«Предисловия только называются предисловиями, а на самом деле тишутся они в последнюю очередь, когда рукопись уже полностью готова. И это грустно. Грустно потому, что через несколько месяцев, как только я поставлю в конце этой страницы точку, уже ни одного слова, ни одной строчки нельзя будет исправить в этой книге, над которой трудился не один год.

Если уж что-то появилось на свет – ему дают имя. Свою первую сибирскую книгу стихов я назвал "Окно на Север", вторую, морскую – "Песня для матросской гитары", новую – "Чайки над городом". Это самая земная моя книжка, и может показаться, что её название не совсем точно отражает содержание, потому что стихов о море в ней не так уж много. И всё-таки – "ЧАЙКИ НАД ГОРОДОМ". Пусть несколько романтично, но зато в этом есть некий символ моей вечной привязанности к пароходам, к смолистым причалам, к морю. Мне всегда хотелось, чтобы и сухопутные люди жили по законам самой верной на свете морской дружбы и ещё – чтобы над городами летали чайки. Хотя сами они, я знаю, этого не любят.

Не буду скрывать, что я волнуюсь. Мне хочется, чтобы вы поняли, о чём говорят, шепчут или кричат чёрные столби-

ки слов. И ещё – я не буду делать вид, что мне безразлично – будет ли моя книга годами пылиться на прилавках или она быстро разбежится по городам и весям в портфелях, рюкзаках, в карманах пиджаков. Я для этого старался. И это самое главное».

А рядом – фотография невесёлого, опустившего глаза вниз, уже немолодого, подуставшего человека. «Не знаешь, почему я такой грустный? А?» – спрашивает меня Вильям в подписи, сделанной на книжке под этой фотографией.

Причину грусти, то и дело пробивавшейся сквозь строки самых бодрых писем, приходивших мне из Читы, понять было нетрудно. Озолин попросту скучал – по Омску, по привычной обстановке, по матери, с которой был всегда товарищески близок, по друзьям... Он и при редких наших встречах, весело рассказывая о том, как отлично у него идут дела в Чите (а потом и в Барнауле), нет-нет да и умолкал, внезапно отключался и как бы уходил куда-то внутрь самого себя. В такие моменты в его огромных глазах стояла самая настоящая тоска. Через секунду он встряхивался, и весёлый разговор катился дальше.

Неоднократно пишет Вильям об Омске в своём дневнике. Вот только несколько записей.

«...Если бы спросили:

– Хочешь вернуться в Омск?

Не стал бы кокетничать.

– Хочу. Всё хорошее и плохое, всё произошло в Омске. Да вот – "хочу" и "могу" – разные вещи. Не могу!» (1979)

На следующий год решался вопрос, куда переезжать из Читы.

«...Звонил Коля Самохин. Тоже не советует в Омск ехать. Там, пока Леонид Иванов жив, – мрак будет» (1980).

Чуть ниже опять на эту же тему:

«Получил письмо от Павла Косенко: "Если бы я остался в Омске, я бы спился". Омск – яма для художников. Традиционно душный город для мыслящих людей. Помойка, где "наверх" лезут угодники и подхалимы. Слабость идеоло-

гического аппарата. Руководят искусством люди духовно бедные, самонадеянные и не любящие искусство. Вспомним А.Д. Чистякова. А баба там сидела третьим секретарём? Ужас какой-то! Омск породил Леонида Иванова в руководители Союза писателей. Художник слабый» (1980).

Через пятнадцать лет (после Мартыновских чтений 1995 года) в «Записках потерпевшего» опять присутствует тема возвращения в родной город, на этот раз она сопряжена с другими обстоятельствами:

«Понял, что Омск остаётся родным городом. Мой город! Устье Омки, Иртышская набережная, где прямо вровень с парпетом на уровне плеча проплывают катера и самоходки... Да за одно это душу отдашь! Ходил на милую улицу Пушкина. Дома моего уже нет, стройка какая-то идёт, а наискосок ещё жива деревянная школа и "дом Сорокина". И всё – рядом, всё близко, а раньше казалось всё более огромным. <...>

И всё же мысль переехать в Омск крепко засела в голову, а что до омских "коммунистов", так где от них спрятаться? Они чувствуют свой конец, агонизируют и скоро мало кому будут нужны со своими бездарными творениями. Теперь ведь не побежишь, как раньше бывало, в обком КПСС, не пожалуешься, что не издают... Пришло время естественного отбора – кто талант, а кто бездарь» (Встреча. – С. 277).

Сборник «Чайки над городом» тоже имел успех, получил неплохую прессу. О нём написали не только местные газеты, но и столичное «Литературное обозрение». Своеобразное резюме подвели «Сибирские огни», поместив в конце 1975 года рецензию Э. Фоняковой, где, в частности, говорилось:

«"Чайки над городом" знаменуют собой пору зрелого становления поэта. Если первые два сборника отдают немалую дань безоглядному упоению стихией морской романтики, странствий по свету, то теперь на смену этому приходят более глубокие раздумья о жизни, о своём поколении, наступила пора разобраться и в тех нравственных ценностях, которые приобретены за прошедшие годы. Сохранившиеся

и в новой книге эмоциональный накал, песенно распевный строй многих стихотворений придают этим раздумьям особый, чисто "озолинский колорит". У поэта, безусловно, есть свой голос, который не спутаешь ни с чьим другим, хотя – и это вовсе не плохо! – ясно ощущается поэтическая школа, к которой он себя причисляет. Это Леонид Мартынов, Илья Сельвинский, Владимир Луговской» (Сибирские огни. – 1975. – № 11. – С. 184).

Осенью 1976 года Озолин вместе с Филипповым на несколько дней приезжали в Омск, и в Доме актёра был устроен их поэтический вечер. Я впервые в жизни слушал выступление земляка не сидя рядом, а из зала. Впечатление было сильное.

По поводу этого приезда в Омск Озолин писал мне потом:

«Всё сожалею, что не смогли мы с тобой в Омске тихо посидеть за бутылочкой и поговорить...

...А потом мы прилетели в Читу и, отдышавшись кое-как, умотали в Иркутск. Я уже был болен, но как-то не придавал этому значения. А сразу же после Иркутска на неделю полетели на границу, и там я совсем расклеился, захаркал кровью. Так пролетел декабрь 76-го. Перед Новым годом меня загнали в тубдиспансер на обследование и отпустили 31 декабря. Диагноз: воспаление лёгких, хроническая пневмония, и всё это на ногах. Вот такие дела!

С 3-го января я в рот не беру и сейчас иду на "мировой рекорд".

Сел за книгу. Но пока всё в корзину.

А издательство жмёт на меня.

Так и живу я сейчас, трезвый и глупый.

И ещё меня гложет вина: там, в Доме актёра, после выступления был какой-то содом, и я толком ни с кем не мог

пообщаться. И вообще в Омск мне нужно приезжать тайком».

Письмо это датировано 1977 годом. То есть за двадцать лет до рокового диагноза лёгкие уже были у Вильяма слабым местом.

По поводу последней фразы – «приезжать тайком». Помню, каким образом мы с Вильямом несколько раз посещали ресторан «Маяк». Раздевшись внизу, мы шли наверх, проходили сквозь огромный, как самолётный ангар, ресторанный зал и мимо кухни выходили в гостиницу, а там на четвёртом, кажется, этаже был обыкновенный гостиничный буфет. Вот там-то, среди приезжих незнакомых людей, мы и присаживались перекусить и поговорить. В самом ресторане к нашему столику обязательно то и дело подходили бы подвыпившие посетители – поздороваться с Вильямом: личностью он был в городе популярнейшей.

Письмо, датированное только годом (1978). Точнее – это даже не письмо, а записка из бандероли с купленным для меня сборником пьес А. Вампилова, изданным Восточно-Сибирским издательством:

«Не отвечал тебе так долго, т. к. болею, и вот только выскочил на машине в Дом книги – специально, чтобы купить тебе Вампилова.

Твою заметку о моём друге Т. Белозёрове читал в альманахе "Сибирь".*

Со стихами даже не знаю, как быть. Те, что у меня сейчас есть в "портфеле" из неопубликованного, вряд ли поймут. Ничего там современного нет. Так что... Не знаю, не знаю. К сему прилагаю томик пьес и свою подпись.

Приветы: Инне Антоновне (я перед ней на всю жизнь виноват), Мише Малиновскому, Володе Макарову (как он пьёт-пишет?)».*

* Т.М. Белозёров (1929–1986), известный детский поэт.

** В.А. Макаров (1938–2010), омский поэт.

В 1979 году Восточно-Сибирское издательство выпустило в серии «Сибирская лира» томик В. Озолина «Возвращение с Севера» – книгу для поэта во многом этапную. К этому времени литконсультантом «Молодого сибиряка» я уже не был – перешёл на такую же должность в начавший выходить «Вечерний Омск». Но В. Озолину молодёжная газета по-прежнему уделяла внимание, на её страницах появилась рецензия на «Возвращение с Севера» незнакомаго мне А. Максимова:

«В дни нашей студенческой юности его часто можно было встретить в красном уголке общежития, в студенческом клубе, кафе. К нему, к его гитаре тянулись, ждали его немногословных, крепко сбитых песен и стихов.

Может быть, думаю, происходило так оттого, что Вильям Озолин был для нас человеком оттуда, с Севера, о котором так сладко мечталось под уютным светом торшера, из штормов и пурги, из дороги, словом. Не знаю, часто ли берёт теперь в руки гитару поэт».

А дальше даётся довольно точный анализ стихов Озолина – как прежнего (в новую книгу были включены и стихи из предыдущих сборников), так и нового.

«Перевернута последняя страница... Возвращение с Севера состоялось. И чувство – как после долгой разлуки, когда встреча желанна и потому дорога»*.

Наконец-то вышла моя многострадальная первая книжка – та самая, о которой я уже говорил, – о Петре Драверте**. Разумеется, я тотчас же послал её Вильяму, и в ответ получил письмо:

«Отчасти не писал потому, что был в заботах: родители у меня гостили, а ещё откладывал до тех пор, как будет время прочитать книгу.

* Максимов А. Возвращение с Севера // Молодой сибиряк. – 1979. – 6 октября.

** Лейфер А. «Сибири не изменю!..» Страницы одной жизни. – Новосибирск, 1979.

Книга прекрасная! Я такие люблю, и не просто люблю, а радуюсь таким книгам – это у меня страсть давняя, с детства. Сама по себе сов. (современная? советская? – А.Л.) художественная литература для меня – вторичная степень. А вот о литературе всегда читал и читаю с наслаждением. Так что – угодил старику сильно.

Твой очерк хорош, серьёзен, но малохудожествен.

"Мало" – в смысле – ты должен! писать свои вещи через что-то личное. Пусть без "я однажды прочёл, нашёл и т. д.", но внести элемент рассказа надо стараться. Это – писательство будет, а не научное лит. ведение. Я так думаю.

У меня всё по-старому. Кручусь, чтобы заработать деньги. Стараюсь писать личное, кое-как использую лето: река, лес.

Рад твоим и Мишиным успехам. Пишите хоть изредка (понимаю, что времени у всех маловато, но всё-таки!)).

Открытка того же 1980 года, которая, видимо, была вложена в бандероль с «Возвращением с Севера»:

«Сашенька, дорогой!

Да ты что!!! Я, брат, уже без итанов хожу и ещё только половину разослал! Знаешь, грустно так: пойдёшь на почту, отправишь книги и чувствуешь, что целую литру от сердца оторвал. А главное, что не сообщают, черти, что книжку получили.

А тебе за твою о Драверте бааальшуууущее спасибо! И ты молодец, Сашка! Главное тебе – не лениться! И мне.



Хотя я взялся за ум и работаю нынче как никогда много и не пью в Чите. Только на выездах. Да и кишки уже не терпят.

Привет твоей красивой и сердитой жене.

Саша, а кто это А. Максимов в "Мол. сибиряке"? Спасибо ему за рецензию, я её храню.

Следующее письмо прислано уже из Барнаула:

«27/28 апреля 81. Я, брат, снова в муках рождаю новую повесть, и потому особого настроения на письма нет. Так трудно пишу, что тупею и опять заболеваю.

Хотя я и не сидел на месте: 15 марта летал в Норильск на День поэзии – через Красноярск, ездил на машине в Горный Алтай да ещё по району пригородному мотался с выступлениями перед сельскими мужиками.

В общем: 80% – повесть, остальное – суета сует. Иногда стихи выскакивают из-за угла. Над чем ты работаешь?

*Как Литмузей?** Портрет Яна Озолина мне уже переслали из Читы, он у меня. Как там экспозиция, на какое число намечается юбилей Яна Озолина? Пиши.

*Своё 50-летие я, возможно, проведу в Омске, на берегу Иртыша, у бочки с пивом. В кругу близких мне друзей, в числе которых будешь и ты. Круг будет очень узок! От Смирнова до Зинякова. Малочевского** на носилках под балдахином принесём и усадим на почётное место.*

P.S.

Богатым не был, но бывали тыщи!

А улетали – тоже не тужил.

Среди командировочных и нищих

Я не последним ухарем прожил!

"Чёрные утки" уже набраны и выйдут в середине мая в 3-м № "Сибири". Первая часть. Постараюсь прислать, но

* В это время я работал в организовывавшемся Омском литературном музее им. Ф.М. Достоевского.

** Б.А. Малочевский (1923–1997), омский прозаик, автор многих сборников рассказов.

ломаю голову, как закупить 50 экз. в Иркутске? Как? Всем же надо послать».

Юбилей свой Озолин отмечал не в Омске, как мечталось, а в Барнауле. В пригласительном билете (с портретом и биографией) сказано: «Авторский вечер В.Я. Озолина состоится 17 августа 1981 года в лекционном зале краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова». На билете – надпись юбиляра: *«Сашка, дорогой! Вот – 50!!! А что делать? Обнимаю – твой Вильям».*

Из беседы барнаульской журналистки И. Прохоровой «Ода могучим характерам»:

«– Вильям Янович, вы стали поэтом в результате цепочки случайностей или это было осознанное стремление?»

– Наверное, не случайно, ведь мой отец – поэт... Но я никогда не помышлял о литературной карьере. Да и в Литературный институт попал случайно. Приехал в Москву получить рекомендацию в заграничное путешествие – такой порядок был. Шёл по Тверскому бульвару и укрылся от дождя в каком-то здании. Оказалось – Литинститут. В вестибюле познакомился с молодыми людьми: Робертом Рождественским, Николаем Старшиновым, Владимиром Морозовым. Разговорились. Они послушали мои стихи: «Почему не поступаешь?» И я решился. <...>

– Какие качества, на ваш взгляд, необходимы поэту, кроме таланта, разумеется?

– Такие же, как и любому человеку, не стоит выделять поэтов в особую категорию. Без такого человеческого качества, как способность сострадать, нельзя стать поэтом. <...>

– Вильям Янович, есть ли песни на ваши стихи?

– Есть, однажды песня пришла ко мне с экрана телевизора: фильм о рыбаках сделала Дальневосточная киностудия,

в нём песня звучит, прислушался – моя «Аляска». «Белые чайки» ходят в морях, вошли в матросский фольклор, ребята даже не знают, чьи они. Мой сборник «Песня для матросской гитары» в Омске разошёлся буквально за два дня. Подозреваю, что приняли его за песенник, а ведь тогда все увлекались гитарой. Я-то давно играю и сам сочинял, будучи матросом, – какой матрос без гитары? Хотелось пропагандировать хорошую поэзию, поэтому я писал песни на стихи Михаила Голодного, Михаила Светлова, Ильи Сельвинского – с ним тогда мы ещё не были знакомы. Практически я был первым, кто начал писать песни на его стихи. Позже, когда он узнал о моих сочинениях, страшно удивился: «Меня никто не пел!». Он сам никогда не верил, что его стихи можно петь. Рад, что разубедил его в этом.

– А сейчас вы поёте?

– Ну, не так много, как прежде. Однако в честь юбилея – так и быть, вспомню молодость – спою!»* .

Это интервью было дано газетой в сопровождении небольшой подборки стихов – «Не проспи!», «Рисунок» и посвященное И.О. (т. е. Ире Озолиной) – «Скажи мне, ты рада?..».

Из материалов, касающихся юбилея, у меня сохранилась ещё только статья нашего общего друга – омского критика и литературоведа Сергея Поварцова «Навстречу всем ветрам». Кроме общего рассказа о поэте, есть в этой статье весьма тонкие наблюдения, которые стоит процитировать.

«У Сельвинского и Мартынова учился молодой поэт точному владению словом, искусству экономай и вместе с тем выразительной детали, а главное – живой, естественной разговорной речи...

А сказать стараюсь – будто
С другом разговор веду.

* Молодёжь Алтая. – 1981. – 15 августа.

Вот чем более всего дорожит поэт – доверительностью тона. А это большое искусство. И Озолин владеет им. Об этом говорит и его поэтический синтаксис. Он тончайшим образом отражает художественный темперамент – открытый, прямой, немного сентиментальный. Быть может, поэтому так много у Озолина восклицаний, вопросительных интонаций, риторических вопросов, диалогических сценок. Поэт никогда не пытается встать на котурны, выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Его романтическая эстетика – правда жизни».

И дальше:

«Вильям Озолин наделён счастливым даром воображения, да и чувства юмора ему не занимать. Не оттого ли так свободно он работает в разных жанрах? Это своё качество он особенно ярко продемонстрировал в серии иронических стихотворений, в детской книжке "О дворнике, который решил стать дворником", в последней книге избранных стихов "Возвращение с Севера" (опять Север!), где стихи и проза, перемежая друг друга, играют, как волна с берегами...».

И завершается статья Сергея Поварцова так:

«Сельвинский говорил, что верит в будущее Вильяма Озолина. Сегодня мы вправе считать, что поэт оправдал надежды учителя и прежде всего – своим творческим поведением. Он так же, как и много лет подряд, никогда не пишет только оттого, что есть белая бумага. Поэзия никогда не была для него средством к достижению каких-то иных, нелитературных целей. Он пишет потому, что не может жить без собеседника, имя которому – наш современник»*.

В статью эту были ввёрстаны стихи «Северное окно», «Рыжий август» и «Смелость».

* Алтайская правда. –1981. –16 августа.

В том же 1981 году отмечался очередной юбилей Ф.М. Достоевского. Именно к нему было приурочено иркутское издание подготовленных мной «Записок из Мёртвого дома», о котором я уже рассказывал. Выглядела книга солидно и красиво, оформлял её известный иркутский график А.Е. Шпирко. Разумеется, я нашёл возможность послать экзemplяры и Вильяму.

«Сашенька! – писал он мне в ответ. – Спасибо тебе – не забыл, не обездолил, прислал! Я мало чего смыслю в составительском деле, но, даже на мой взгляд, – очень сильный томик Достоевского получился. То, что нужно читателю. Молодец. Я уверен, что работа твоя получит признание. Иркутск – серьёзная контора в литературоведении, с традицией – думаю, книга получит прессу».*

В этой же открытке Вильям сообщает, что послал для Омского литмузея воспоминания друга отца – Сергея Куксова, омского поэта 1920–1930-х годов.

Следующее письмо было вложено в долгожданный номер «Сибири» с напечатанными в нём «Чёрными утками»:

«Сашка, бармалей музейный! Привет! Салют!

Принимай поздравления с Новым годом!

Вот шлю тебе "Чёрных уток". Читай.

Дай Мишке Малиновскому. Пусть тоже познакомится.

Поскольку у меня экземпляров совсем мало, то уж ты не сердись, если кому интересно – дай почитать. Хорошо?

Сашенька, о себе писать нечего. Получил новую хату, так радости только и всей, что три комнаты и есть теперь у меня свой угол. А строители наработали так, что теперь надо полгода её доводить до ума.

* К сожалению, объективности ради должен сказать, что в иркутской бочке мёда оказались и весьма неприятные ложки дёгтя – опечатки. Опечатки не только в моих комментариях и послесловии, но – что самое досадное – в тексте самого Ф.М. Достоевского.

Закончил я ещё в ноябре одну повестушку. Маленькую. Затянуло меня прозу-то писать. Тяжело, но манит...

...А ты мне напиши, как тебе повесть приилась. И Мишка пусть черкнёт. У него нюх есть. Обнимаю. Привет супруге. Твой Вильям. 24 декабря 1981».

Из рецензии омского критика Э. Шика на повесть В. Озолина «Чёрные утки»:

«...Мы улавливаем мягкую авторскую иронию по отношению к своим героям. Они для него – рыцари печали и радости, не утратившие веры, но нуждающиеся в помощи и прощении. К этому следует добавить, что писатель столь же ироничен и предельно открыт в авторских размышлениях и описаниях. Многие образы, пронизывающие повесть, приобретают символическое звучание, ведь море, которое очищает, прощает и помогает, не вмещается в простое географическое понятие...»*.

Открытка из Барнаула от 26 февраля 1983 года:

«Сашенька! Что ты умолк?

*...Приехал с "Омской зимы" Коля Черкасов, я позавидовал ему – Соболев был, Андрей Лядов. Но пока эта скотина Иванов** у кормушки сидит, нечего мне делать у вас. Правда, мне Коля передал, что Иванов "успокоил" оппозицию, сказав, что как только исполнится ему 70 – он орден свой получит, то он уйдёт. Дай-то бог! Похоже, так и будет. Саша Плетнёв ему на пятки наступает. А это мужик серьёзный и перспективный для большого Союза.*

*Саша, я был в Иркутске на семинаре. Мы там разговаривали с Трушкиным Василием Прокопьевичем***, он мне про Мартыновские чтения в Омске сказал, я в план союзных мероприятий глянул – так и есть – 20 мая.*

* Шик Э. Море очистит, море поможет // Вечерний Омск. – 1982. – 4 августа.

** Л.И. Иванов (1914–1998), очеркист, основатель и в течение длительного времени руководитель Омской писательской организации.

*** В.П. Трушкин (1921–1996), известный иркутский литературовед.

Я кое-какое отношение к этому имею, и стихи есть, посвящённые Мартынову, и встреч было достаточно. Музей твой как-то задействован в этом деле? Напиши – что и как, идёт ли подготовка? А я в Москву напишу».

Из письма от 18 апреля того же 1983 года:

«Очень, очень жаль, что ты ушёл из музея. А мне-то казалось, что ты "на месте". Но тебе, конечно, виднее...

...Я всё ещё болен и теперь чаще сижу дома и на почту раз в неделю езжу. Так что решил сразу тебе черкнуть. Мне на днях предстоит лечь в больницу для обследования лёгких, хочу до Мартыновских чтений это сделать. А что у меня за болезнь? Так это, как говорит Гоша Граубин, – вскрытие покажет! Но я действительно серьёзно болен. Работаю с трудом, всё больше кисну, мёрзну, впадаю в то-ску. <...>

Я тут кропаю (несколько страничек) воспоминания о Л.Н. Мартынове и отправлю в Омск, чтобы накануне Чтений или в эти дни их опубликовать или дать на радио. Пошлю Инне Антоновне, думаю, будет кстати и к месту».

Всевозможные Чтения, «Забайкальские осени» и «Омские зимы» тем и хороши, что помимо всего прочего (например, помимо возможности появления новых знакомств, новых литературных деловых контактов) они побуждают к творчеству, подсказывают конкретные темы. Задуманные В. Озолиным в преддверии Первых Мартыновских чтений воспоминания о Л. Мартынове в 1989 году займут своё естественное место – в солидном сборнике «Воспоминания о Леониде Мартынове», составленном Г.А. Суховой-Мартыновой и близким другом Леонида Николаевича В.Г. Утковым. Озолин назовёт их «Камертон Мартынова»:

«В 1953 году, после многих мытарств и скитаний, я стал студентом Литературного института им. Горького. Я знал, что Леонид Николаевич живёт в Москве. Но тогда мало кто о нём вспоминал. Это было время, ког-

да Мартынова упорно не печатали, книги его не издавались<...>.

...Но был толчок, взрыв. В 1957 году вышла "молодогвардейская" книжка Мартынова "Стихи". Это были не пожелтевшие от времени архивные листки – был живой, угловатый, напористый Мартынов, с которым можно было разговаривать. И я решился. <...>

...Леонид Николаевич смотрел на меня пытливо и доброжелательно, слегка откинув голову, прищуриваясь и улыбаясь. Так художники осматривают модель. Я навсегда запомнил эту позу и этот изучающий взгляд...».*

В этом же сборнике рядом с озолинскими воспоминаниями помещены его стихи, посвящённые Мартынову, – «Брат Багрец» и «На Иртыше».

В парке, в улице, в метро, на речном вокзале,
В синих сумерках Москвы, ласковых, как шёлк,
Все мы видели его, но не замечали:
Шёл Прохожий мимо нас, в будущее шёл!

После того как в 1981 году в Омске вновь открылось книжное издательство («безыздательский» период длился аж девятнадцать лет!), издаваться местным литераторам стало полегче – мы перестали находиться в положении «пристёгнутых» к Новосибирску. В конце 1984 года у меня вышла вторая книжка – небольшой сборник очерков «Прошлое в настоящем». Повезло с художником: опытный Василий Никитович Белан оформил книгу строго и одновременно изящно. Документальные иллюстрации дали на работающем «под старину» желтоватом фоне, это тоже придавало изданию своеобразный шарм.

* Воспоминания о Леониде Мартынове. Сборник. – М., 1989. – С. 118–120.

«Рад за тебя! – писал мне Вильям в январе 1985-го. – Книга "Прошлое в настоящем" проглочена с ходу. Это – серьёзно, честное слово. И дорого сердцу и уму каждого, кто любит свой родной Омск. Выглядит внешне она хорошо (что тоже важно). Евг. Крутиков хорошо знаком моей маме, кажется, он её учил в училище...*

*...Послал ли ты книгу П. Косенко?** Я сейчас же черкну ему открытку о тебе и о книге. <...>*

*...В "Литобозрении" работает Сусанна Журбина (она зав. отделом прозы). Пошли и ей (от моего имени). Попроси организовать рецензию. (Она дочь Евг. Журбиной*** и ещё мать моей дочери Дашки)... родня всё-таки. Я с дочерью виделся в октябре 1984 года (там мы пили сутки с Марком Соболев и с другими видными писателями XX века)».*

То есть мой друг не просто радуется за меня, а радуется, так сказать, активно – с ходу начинает заботиться о том, чтоб у моей книжки была хорошая пресса, предлагает свои связи, советует написать также В.Г. Уткову****, в «Сибирские огни»...

Живётся же ему нелегко:

«Теперь я сильно болен. Весь декабрь и весь январь – воспаление бронхов. Бронхоплеврит. Никуда из дому не выхожу.

Пишу с великой неохотой и трудом свою проклятую повесть. Мысли о какой-то близкой трагедии только и заставляют меня делать это».

* Е.А. Крутиков (1901–1937), омский художник, герой одного из вошедших в мою книгу очерков.

** П.П. Косенко, казахстанский писатель, бывший омич, товарищ Вильяма. Ныне уже покойный.

*** Е.И. Журбина, известный литературовед.

**** В.Г. Утков (1912–1988), московский писатель, близкий друг Л.Н. Мартынова, в прошлом омич. Вильям, видимо, не знал (или забыл?), что я давно переписываюсь с Виктором Григорьевичем. Позже он давал мне рекомендацию в Союз писателей, писал внутреннюю рецензию на мою книгу «Удивительная библиотека» (Омск, 1989), но до выхода этой книги не дожил, и она вышла с посвящением «Светлой памяти моего учителя Виктора Григорьевича Уткова». Ему посвящён также небольшой очерк «Уроки (Перебирая письма)» в моей книге «"Вокруг Достоевского" и другие очерки» (Омск, 1996).

И в этом же письме промелькнуло характерное горькое признание. Говоря, что местные органы печати пишут только про то, что касается Алтая, всё остальное для них «чужое», Вильям (как бы походя, как бы между прочим) замечает: *«Я и сам здесь чужой и таким останусь. Да и нет охоты стать кем-то и чем-то здесь»*. На эту тему есть и откровенная дневниковая запись, датированная тем же 1985 годом:

«...Пять лет живём здесь, а я всё не могу почувствовать себя в "своей среде". Невесело как-то идёт здесь жизнь. В местном Союзе народишко хмурый. Группочки создаются и распадаются. Уровень культуры – такой, что скоро мхом зелёным порасту. Рвануть бы отсюда подобра-поздорову, пока не поздно!!! А куда родителей деть?!!» (Встреча. – С. 215).

Через четыре года в дневнике сделана запись, рисующая «литнравы» приютившего семью Озолиных города:

«Сегодня в Барнауле творческий вечер Андрея Вознесенского. Для такого города, как Барнаул, это должно стать событием. А афиш в городе, даже в центре, – нет! Литераторы местные нос загнули, "чё нам Вознесенский?!" У нас-де, в Барнеаполе, не такие поэты есть, и то... Даже в Союз, кажется, не пытались его затащить. Эх-хе-хе! Игоря бы им Ляпина, Егорку Исаева, из "Памяти" бы кого... Тут бы они зашуршали по запечкам! Мы с Ирой идём, и мама, если сердчишко не подкачает, тоже пойдёт. Вот так... в нашей-то деревне» (Встреча. – С. 230).

Половина письма 1985 года – об омских делах:

«Мне написал Шик, что я буду приглашён на Мартыновские чтения в мае 85-го. Вот и увидимся, если всё будет хорошо. От Суховой-Мартыновой я получаю письма. Не забывает.

Дома у меня всё, вроде бы, хорошо. Володька учится в 4-м классе. Ира в школе. Родители (мать и Семён) взды-

хают и скучают об Омске. 15 февраля маме исполнилось 75 лет.*

У Виталия Попова готовится книга рассказов. Я писал в Омск (кому возможно), чтобы его поддержали. Вот только бы он не запивал. Водка – яд! Я сам по техническим причинам сократил потребление до минимума».

Единственный сборник рассказов нашего общего друга – талантливого прозаика, журналиста и поэта В.В. Попова (1935–1987) «Среди людей» вышел в Омском издательстве в 1986 году, незадолго до его внезапной смерти от разрыва сердца.

Много лет назад Виталий Попов был одним из тех, кто сразу же оценил первую книгу Озолина. «"Окно на Север" – писал Виталий, – это, мне думается, для автора окно в большую литературу» (Омская правда. – 1966. – 11 ноября). Двух этих людей связывала многолетняя дружба, настоящая мужская дружба – с грубоватыми взаимными подковырками, но и неременной неафишируемой помощью в трудные дни, которые и у того, и у другого появлялись с неумолимостью матрасных полос. Оба были близкими друзьями художника Николая Третьякова, оба относились к этому наивному и в чём-то беспомощному вне стен своей мастерской человеку с трепетной нежностью, которую, как бы стесняясь, опять же старались скрыть за внешней грубоватостью.

Дружил с Виталием и я. Когда-нибудь попробую рассказать о нём. Пока же отсылаю читателя к недавно появившимся пронзительным и точным воспоминаниям Светланы Нагнибеды – редактора его единственной книги:

«Чувствовалась в этом человеке особая порода, тщательно культивированный аристократизм, обострённое достоинство – качества, которыми журналистская братия никогда особенно не блистала. <...>

* К тому времени Д.А. Гонт с мужем переехали к Вильяму в Барнаул и поселились в одном доме и даже в соседнем подъезде с ним.

...Хорошо воспитанный человек, безусловно, талантливый новеллист, чиновников от литературы, "правильных" писателей Виталий как-то раздражал, может, даже вопреки их собственному желанию. Что-то в его рукописи было заведомо несанкционированное, неподатливое, вольное. По первым же строчкам становилось ясно, что он свои тексты "на визу" в обком не понесёт, литературные соцзаказы выполнять не сможет, "проходных" производственных романов писать не станет».

И дальше – о самой Виталькиной книге:

«Небольшого объёма, в мягкой голубоватой обложке, отпечатанная на дешёвенькой серой бумаге. Не подумайте, что страна была бедная или у издательства денег было мало. Для "правильных" писателей, особенно для литературных начальников или руководителей издательства, решавших свою судьбу в искусстве, "не отходя от кассы", в рабочее время, находились и белейшая бумага, и только входившие в моду ламинированные обложки». (Складчина. – 2003. – Апрель. – № 2 (8).)

Сам Озолин записал в дневнике (1987):

«...О прозе Виталия Попова. Ожидание доброты... Бывает, что человек всю свою жизнь живёт в ожидании чего-то особенного. Чаще всего – это то, чего у него никогда не бывало, а если и бывало, то он его или не почувствовал, или, что самое горькое, не сумел осознать... Бывает и так!..

Виталий Васильевич Попов скончался от сердечного приступа в деревне, куда приехал писать очерк о колхозе. Приступ настиг его прямо в конторе колхоза, пока приехала "скорая", было уже поздно... Хоронили его 22 декабря, а 24-го я получил от него письмо, которое он мне написал ещё в деревне! С "того света"..."» (Встреча. – С. 224).

Заканчивает Вильям своё январское (1985 года) письмо просьбой:

«Пришлите мне книгу-антологию "Красный путь". Пусть издательство вышлет наложенным платежом. Хочется взглянуть на неё.

Прости за сумбур. Но... ночь-утро...».

Сборник стихотворений «Красный путь», которым заинтересовался Вильям, вышел в Омском издательстве в 1984 году. Составил его, написал предисловие и примечание Марк Мудрик. Озолин не случайно хочет взглянуть на эту книжку. В ней, хотя бы отчасти, сбылась мечта Л.Н. Мартынова, о которой он, судя по уже цитировавшимся воспоминаниям Вильяма «Камертон Мартынова», когда-то говорил с ним – издать стихи отца и сына «под одной крышей»: в сборник вошли стихотворения Яна Озолина «Столица на Иртыше» и В. Озолина «Тропа» и «На Север!».

Аналогичный коллективный сборник вышел через год после смерти Вильяма, это миниатюрное издание «Город на Иртыше (Стихи об Омске)», составленное Татьяной Четвериковой. В нём – большая подборка Озолина-сына и одно стихотворение отца. К сожалению, год рождения Вильяма (1931) указан в сборнике неточно*.

Если в предыдущем письме из Барнаула нетрудно почувствовать печальные и тревожные нотки, то письмо от 1 апреля 1985 года сочинялось, как видно, в весёлую минуту:

«Сашенька! Пользуюсь "оказией", посылаю тебе привет в виде 2 литров пива, которое булькает в душе – так душевно хлопнул его возле кучи бетонных блоков возле одного из бесчисленных ларьков, которыми усеян наш рабочий район села Барнаул и в которых я "после бани в день субботний" (Я. Смеляков) люблю побеседовать с народом о единстве его и нашей родной

* Неточно указан год рождения поэта и в издании, где подобные ошибки менее, так скажем, извинительны, – в указателе литературы «Писатели земли Омской» (Омск, 1977). Зато в уникальной книге Н.Н. Яновского «Материалы к словарю "Русские писатели Сибири XX века" (Биобиблиографические сведения)» (Новосибирск, 1997) короткая справка о В. Озолине отличается точностью и ёмкостью. Кроме верной даты рождения здесь даётся год первой публикации в печати (1950), год окончания Литинститута (1962), приведены и другие данные.

партии, обсудить международное положение и текущие (0,5–0,7) события нашего государства, а точнее, – страны, потому что государей больше нет (как мне написал Н. Третьяков), и это очень радует, если Коля не запил от внутренних противоречий и внешних раздражителей, приведших его в ряды сорока миллионов алкоголиков (офиц. данные Академгородка г. Новосибирска) и уведших его от рядов партии числом семнадцать миллионов (офиц. данные Института марксизма) и, по неофициальным данным, приведённым мне моей женой, неодобрительно относящейся к союзу рабочего класса и интеллигенции, что делает её несовместимой с пребыванием из-за политической неграмотности, хотя она в общем неплохой человек и ставит производственные интересы гораздо выше семейных обстоятельств, а это не способствует укреплению основы общества – ячейки семейного очага, являющегося...

Но об этом, пожалуй, в другой раз. <...>

Что слышно о Мартыновских чтениях. Я приглашён.

Так что – увидимся в мае?»

Прочтя эту бесконечную тираду, можно подумать, что поэт изрядно навеселе, но в том же письме, чуть ниже, – вполне серьёзные вещи:

«Меня уговорили вести Литобъединение при Союзе. Ребята-то рады, а я что-то не очень. Два раза в месяц надо искать заделье, а пишущих-то немного, и все ребята старые (их надо дотягивать, конечно, но надо идти в студенческие массы и искать новых, чем и займусь).

А так дома всё пока в норме.

Привет передавай – актёрам (Чиндяйкину, Чонику, Щёголевым, Розанцеву), писателям, кого встретишь, Зинякову, к Смирнову хоть съезди навести, Инне Антоновне, Шороховой**, Юрке Смагину*** и всем-всем».*

* Актёры Омского драмтеатра. Чоник – Ножери Давидович Чонишвили, чьим именем назван теперь омский Дом актёра.

** Л.Г. Шорохова, тележурналистка, приятельница Вильяма.

*** Ю.П. Смагин, оператор Омской студии телевидения.

Ещё об озолинском дневнике.

Кажется, Гейне принадлежит мысль, что если мир треснет, то трещина пройдёт по сердцу поэта. Это в полной, я бы сказал – в классической, мере относится к герою моей книги. Истинный литератор, Озолин замечает многое, о многом думает и за многое неподдельно переживает. Причём его волнуют далеко не только литературные дела (хотя ярких мыслей о литературе в «Записках потерпевшего» тоже немало).

Экономика, проблемы средней школы, сельское хозяйство, реформы Горбачёва, социальное неравенство, начавшаяся война в Чечне – всё это неоднократно встречается на страницах дневника.

«В колхозе "50 лет СССР" Ачинского округа разговариваю с чабаном: зачем тут около стоянки не посеяли зелёнку? А то – здесь пшеница, а овец гоняете чёрт знает куда» (1979).

«...Учим детей в школе грамоте, математике, истории; физическую культуру прививаем, ведём патриотическое воспитание, призываем любить Родину. А такие краеугольные понятия, как жалость к человеку, животным, к старости, к природе, настоящее чувство дружбы, нежность, восхищение и преклонение перед красотой мира – этому школа уделяет мало внимания. В семьях об этом тоже забыли, и теперь редкость, где о таком воспитании заботятся. "Бери, хватай, не будь растяпой, не будь хуже других, бей, защищаясь, нападай" – вот чему учат ребёнка буквально с ясельного возраста!» (1980).

«...Молодым тысячу раз труднее смотреть на безнравственное, циничное племя новоявленных коммерсантов. Их ведь совсем ещё недавно призывали быть честными, духовно

богатыми. А нынче быть богатым как раз и означает быть нечестным и бедным духовно. Коммерция и уголовщина сегодня практически одно и то же. Без уголовщины из нищеты не вырвешься. Ну? Перед каким выбором поставили мы молодых? Дай-то Бог пережить нам это ужасное, трагическое время!» (1992).

«Введение войск в Чечню – политическая и стратегическая ошибка нынешнего российского правительства и лично Ельцина. Ну что, они не понимают, что чеченцы – особая нация самоубийц? Их переубедить невозможно. Тем более что "коммунистическая Россия" уже один раз растерзала этот народ в 1944 году. Я был мальчишкой, жил с мамой в Актюбинске и видел их, полураздетых, голодных, с детьми – это когда их в одни сутки вывезли всех в Среднюю Азию и бросили на произвол судьбы. Да будь я чеченцем, сам бы дал обет защищать Чечню до последнего вздоха... Неужели Ельцин и его команда не помнят истории?»

Переговоры – вот разумная линия. Год, два, десять...» (1994, декабрь).

Раздумья Вильяма о слове, о литературном творчестве вообще и о собственной литературной работе в частности, повторяю, тоже носят яркий, незаёмный характер. Они выстраданы, а не придуманы в кабинетной тиши.

«Я работаю над иной страницей по 5–10 дней».

«Поэт должен писать о том, что может и должно волновать людей сегодня или будет волновать завтра. Прописная истина, но почему-то именно её и забывают "пишут". Успех Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной заключался в том, что они слушают, знают настроение умов современного среднего человека. Надо жить с народом, как в обще-

жители, за тонкой фанерной стенкой, чтобы можно было подслушать все тайны, пусть даже неприличные».

«...Если спросят, что сейчас наиболее волнует меня в моей работе, отвечу – форма, форма и ещё раз форма. Богатство литературной формы – это, прежде всего, интонация. Оттенки любой фразы бесконечны. Этому нужно учиться у актёров. Они одну и ту же фразу произносят на тысячу ладов: восторг, ирония, презрение, смех... Форма – это поэтический слух. Что толку в пономаре, лишённом музыкального слуха?»

«У меня вырезали стихи из книги "Чайки над городом" – "За окнами дымит мороз" из-за упоминания об О. Мандельштаме. "Притчу о бульоне" не печатали из-за упоминания о китайце-поваре. Международное положение не позволяло. На Алтае не пустили в книгу стихи "Хлеб 1943 года" – безнравственно, – сказала редактор, – что инвалид просит с мальчика хлеба за найденные карточки. Да и сама сцена, где мальчик хочет утопиться, – жестокая и безнравственная».

«Московские классики ходят пить в ЦДЛ, как на работу, – каждый вечер. Пьют раздумчиво».

«...Время убило Пастернака, как хулиган убивает интеллигента у забора. Помню, встретил Пастернака в электричке, предложил покрасить ему крышу на даче, я тогда работал маляром на хлебозаводе...».

«...Одна столичная писательница была у нас на Алтае на "Днях литературы". Приехали выступать в колхоз. По дороге вышли из газика постоять возле поля овса. Писательница подошла к посеву, погладила ручкой колоски и мечтательно сказала:

– Вот она, наша пшеничка золотая!

И всюду выпрашивала то мёду, то варенья. Улетела в Москву с банками, с пчелиными сотами – крохоборка».

«В Москве был три дня. До отъезда в Ярославль оставил рассказ в "Новом мире". Вернулся, позвонил С.П. Залыгину. "Приезжай!" – сидели у него в кабинете, вспоминали Омск 50-х годов. Короче, рассказ о Тихоне Звереве ему понравился, и он отдал его в отдел прозы. И там рассказ получил одобрение. Я встретился с О. Новиковой – редактором отдела. Рассказ будут готовить в очередной номер. Вообще-то, для "новичка", каким я для них являюсь, – это успех. Значит, всё же что-то я умею. Просили и на будущее присылать новые вещи».

Впереди – сложные и тяжёлые письма Озолина, по времени относящиеся к «перестроечным» и «постперестроечным» годам, поэтому пока мне хотелось бы поговорить о более лёгких и приятных предметах, например, о внешнем оформлении писем Вильяма.

Как правило, в левом верхнем углу письма, там, где на «фирменной» почтовой бумаге размещается какой-нибудь рисунок, он тоже что-то рисовал цветными фломастерами. Это могла быть или мужская голова с трубкой в зубах и с торчащим из правого уха цветком (вместо шеи – подпись «Виль Озолин»), или пронзённая штопором бутылка (сверху лозунг – «Пьянке – бой!»), или сидящий человек, грустно склонивший над столом голову (тут могли быть варианты – на столе либо стояли бутылки, либо человек держал в руках что-то пишушее, иногда над его головой парила чайка). Вот изображён стоящий в бухте рыболовный траулер, вот – весьма похожий автопортрет, вот –

Самая, дорогая, милая!

Во вчерашнее письмо много
говню м.к. Вовсе не
дошло ни одно из писем твоих
ни маминих и ни Ари
которых выжили только,
потому что купили только
Вотничья.

Твоего зюмелю в моем
письме Т. Вечером уже
пишешь и я не могу
Сидеть.

Со вчерашним письмом не
знаю, как быть. Те, что
у меня сейчас есть
"портрет" из пестрых
карточек, а также
карточек, а также
карточек. Неужели тебе
важно именно этот
портрет Не знаю,
только.

К тебе я пишу много
всегда тебе и твоим
родным.

Прощай тебе и твоим (здесь
не так много, как у тебя), много любви
и всего и всего, всего и всего (как
ты хочешь).

Уб. К. М. М. М.

Одно из писем.

Одно из писем.

и Вилины произведения выгляде-
то вот что вспоминает на эту тему

197

на искусство и в моё отсутствие сожгла все Вилины постели. Господи, как мне их жалко и сегодня! Мне кажется, по-своему они были ничуть не хуже вывесок и клеёнок Пиросмани».



*Рисунок Вильяма Озолина.
Подарен писателю
Михаилу Малиновскому.
На обороте надписи:
«Дорогим Лие и Мишке
от Иры и Вильки.
Вил. Озолин, апр. 71».
«Лия! Рюмки с компотом! Ира».
Публикуется впервые.*

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. О песнях Вильяма уже шла речь выше. А как он пел их под собственный гитарный аккомпанемент!.. У него был красивый, мужественный и гибкий голос, безукоризненный слух.

У Ильи Фонякова есть даже стихотворение, посвященное озолинскому пению.

ГИТАРА

В Омске,
В Томске,
Во Владивостоке,
В Чите
На открытье
Каких-то «декад» или «дней»
Мы встречаемся —
Те же всегда и не те:
Всякий раз —
Чуть седей,
Чуть грузней,
Чуть грустней.

Коммунальных гостиниц гудят номера,
А когда затихает застольный народ
И для песни хорошей приходит пора –
Мой товарищ Озолин
Гитару берёт.

Эти песни знакомы сто лет наизусть,
Эти песни знакомы сто лет – ну и пусть!
Ну чего тебе надо, скажи мне, чужак?
Нынче нового в мире
хватает и так!

Да к тому же Озолин не так-то и прост:
Всякий раз чуть иначе мотив напевал,
Чтобы к песне
не смог бы пристроиться хвост
Голосистых не в меру лихих подпевал.

Вот почти он смолкает, склоняясь головой,
Приглядишься – уста размыкает едва,
Но гитара становится как бы живой
И сама – по слогам! – произносит слова.

И колышется крупная тень на стене,
И рокошет послушная струнная медь.
Ах, ни денег, ни славы не надобно мне –
Научиться бы так под гитару мне петь!..

Не хуже иного чтеца-профессионала читал он свои и чужие стихи. Это не просто моё дружеское мнение. В 1976-м на выступление Вильяма и Ростислава Филиппова в Дом актёра я приходил не один, а со своей приятельницей – актрисой Омской филармонии, профессиональной чтицей Галиной Куприяновой. Это она мне высказывала своё восхищённое (и компетентное) мнение о самой манере чтения Вильяма, о качестве этого чтения.

А вот совсем уж неожиданный ракурс – изобретательство. В 1983 году я услышал, что о Вильяме вдруг написал журнал «Изобретатель и рационализатор» – орган ЦК ВОИР*. И точно: публикация называлась «Наивность выше всякой мудрости». Оказывается, Вильям увлёкся техническим творчеством, научился работать на токарном станке, прочитал учебник по электротехнике. А после этого изобрёл автомат, чтобы поливать садово-огородный участок. Потом можно целую неделю на своём участке не появляться: автомат полёёт всё и без хозяина. И подобных изобретений у Озолина несколько**.

Из письма от 11 декабря 1987 года:

*«Я только что прилетел из Алма-Аты с Дней сибирской литературы в Казахстане. Ну, сам понимаешь, делалось это с политическими целями. Принимал нас Колбин***. Два часа рассказывал о республиканских делах и проблемах. Хозяйство ему досталось тяжёлое, поражённое байством и пр. недугами. Мужик он с юмором и, видимо, в застольный период очень любил это дело, а потому было указание на места, куда мы разъехались, – писателей в общество трезвости не загонять, а поить с уважением и усердием... Так и было. Я попал в группу (Зеленский, Женя Шерман-Ананьев, Граубин и я), которую увезли в аральскую полупустыню, в Кызыл-Орду. Места знаменитого "шёлкового пути"... Возили на развалины древнего города (IV век нашей эры). Осенью, когда начнутся свадьбы, поеду с настоящим акыном-импровизатором Манапом Кукеповым на ишачках по аулам*

* ЦК ВОИР – Центральный комитет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.

** См.: Изобретатель и рационализатор. – 1983. – № 7.

*** Тогдашний первый секретарь компартии Казахской ССР.

петь песни (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Мои литдела: работаю над новой прозой. Скоро выйдет книга повестей, там "Чёрные утки" будут».

О том, ездил ли Вильям по аулам или план этот не осуществился, ничего не знаю.

Следующее письмо не датировано, но, судя по тому, что в нём Вильям благодарит меня «за Витальку Попова», написано письмо в июле 1988 года. Попов умер осенью 87-го, и мы с его вдовой Наташей сразу же составили книгу его избранного (отдельно книга из-за новых издательских «порядков» не вышла, но позже почти целиком была опубликована – частично в альманахе «Иртыш» (1994. – Вып. 1), частично в коллективном сборнике «Складчина-2» в 1996 году.

«Сашенька!

Письмо твоё получил с большим опозданием, т. к. был с нашими гавриками на заработках в районе Бийска. Выступали перед трудящимися в рамках фестиваля "Союз серпа и молота". Как тебе это нравится? Звучит прямо-таки как "серпом по одному месту"...

Ну да бог с ними! Из поездки вернулся с больными ушами, сидел (и сейчас ещё – вот уже третью неделю!) дома.

Насчёт Димы твоего пока ничего не скажу. В Топчиху пока ничего не намечается, в смысле поездки, но если уж попаду туда, то навещу солдатика.*

Нынче уже 10 июля, а ещё дней 5 с ушами буду остерегаться куда-то ездить. А ещё "задолжал" Ире и Володьке летнюю традиционную рыбалку на Оби. В конце июля куда-нибудь их повезу, скорее всего, в Камень-на-Оби. Мы там уже бывали: гостиница на берегу прямо и причал... И мы можем на речном трамвайчике плыть на берег, а поздно ве-

* В алтайском райцентре Топчиха тогда служил в армии мой старший сын (от первого брака) Дмитрий.

чером на нём же – домой, в гостиницу. Удобно. И для меня, бронхитника-отитника, безопасно... Может, ты когда соберёшься в Барнаул? Приют обеспечим.

Как прошло собрание в СП? Ты мне черкни. И по возможности – подробнее. Как там себя вели омские братцы-писатели?

У нас тут недавно Стаса Яненко – поэта "загробили" с приёмом в СП.

Работаешь ли ты в той "Сибпромдальвосток-организации"? Возможность покататься по стране – вещь хорошая.*

А за Витальку Попова спасибо тебе огромное. Мы с Колей Третьяковым сильно его поминали, чуть сами не отравились вослед...

Я – в работе над новой прозой. Идёт, как всегда, туго. Но если удастся всё, как задумал, то...».

О собрании в СП. Речь идёт о моей попытке стать членом Союза писателей. «Братцы-писатели» поступили со мной так же, как и их барнаульские коллеги с неизвестным мне Стасом Яненко, – забаллотировали. Забегая вперёд, скажу, что следующую попытку я предпринял в 1990 году, после выхода новой своей книжки. И с перевесом в один голос прошёл, но... Но многоопытный Л.И. Иванов (тогда руководил Омской писательской организацией уже не он) задал мне вопрос – как я отношусь к «письму 74-х»? (Под письмом этим стояли подписи и нескольких омских литераторов.)** Я закусил удила и напомнил, что «Литературка» назвала данное письмо «нацистским документом». Вопрос и ответ были занесены в протокол, который вместе с другими документами

* Речь идёт о тресте «Омскнефтепроводстрой», в многотиражной газете которого я тогда с удовольствием работал.

** Литературная Россия. – 1990. – 2 марта. В этом печально знаменитом письме (с которого, по сути дела, и начался непосредственный раскол российского Союза писателей) подписавшие его литераторы подробно жаловались в ЦК КПСС и Совет Министров СССР на засилье в литературной жизни представителей национальных меньшинств.

отправился в Москву, и, конечно же, там меня «отодвинули». К тому времени, как писательская организация России раскололась, в Москве скопилось три таких омских дела – кроме меня «отодвинутыми» оказались прозаик Раиса Абубакирова и поэт Евгения Кордзахия. И в 1992-м весь «интернационал» приняли в Союз российских писателей (СРП). Мы вместе с Эдмундом Шиком и Михаилом Малиновским, которые из-за «письма 74-х» демонстративно вышли из Омской писательской организации, начали организовывать местную «ячейку» СРП.

«У меня что, – сообщает Озолин в письме, которое отправлено, видимо, в конце ноября 1988 года, – сдал стихотворную книгу (в производство), название "Год Быка" – на обложке картина Н. Третьякова "Похищение Европы", а на форзаце его же работа "Бык". Они мне были подарены. Я о Николае написал в "От автора" – и (если книга выйдет!) мы с Колей будем неразлучны навсегда!»

Сборник «Год Быка» вышел в 1989 году. Вот заметка «От автора», о которой упоминает Вильям:

«Эти быки пришли на обложку книги из мастерской моего друга – омского художника Николая Третьякова. Он родился на Алтае, в горном селении Малая Черга. Все его картины пронизаны воспоминаниями о детстве. Готовя к изданию свою книгу, я подумал: "Пусть этот бык, решивший хоть однажды взглянуть на небо, и тот – похитивший Европу, пусть станут памятью о нашей дружбе. Теперь уж никто не сможет нас разлучить!..".»

Странное чувство испытываешь, читая сейчас эти строки и зная, что жить замечательному художнику и близкому другу Вильяма Николаю Яковлевичу Третьякову оставалось

тогда меньше полугода: он скончался в 1989-м, 1 апреля, в возрасте шестидесяти двух лет.

В сентябре восемьдесят седьмого Озолин специально приезжал на его персональную выставку, оказавшуюся последней. Я не смог пойти тогда на её открытие – оставался в своей многотиражке за редактора, а был день вёрстки. Николай передал мне через Вильяма каталог выставки с надписью: «Саше Лейферу от Николая Третьякова. 12.IX.1987 года».

О своём земляке Николае Третьякове и его коллегах – тоже «неправильных» омских художниках – Брюханове, Кукуйцеве, Штабнове – я узнал ещё до знакомства с Вильямом. И узнал, когда жил в Казани, где с 1962-го по 1967 год учился в университете. Однажды мой дружок – учившийся в нашей же группе Витька Лукашов, такой же запойный книголюб, как и я, со словами «Смотри, что там у вас творится» сунул мне под нос «Советскую культуру», где была напечатана неподписанная (но довольно для неподписанной большая) статья про омских художников, про какую-то их скандальную выставку, вызвавшую якобы возмущение омских зрителей тем, что произведения, на ней показывающиеся, искажают образы советских людей – наших славных современников. Фамилия Третьякова упоминалась неоднократно, причём каждый раз в ругательном контексте.

Окончив университет, я вернулся домой и стал работать в редакции «Омской правды». Вначале меня направили в отдел информации, заведовал которым Валерий Зиняков – друг Вильяма.

Я познакомился с Вильямом, то и дело слышал от него (и не только от него) фамилию Третьякова, видел работы Николая Яковлевича на выставках. Но познакомиться с ним всё не доводилось.

И такое знакомство наконец-то произошло. И произошло не где-нибудь, а в Омском медицинском институте –

в узкой, как пенал, мастерской институтского художника-оформителя Озолина, где все стены были увешаны наглядными пособиями, изображающими различные человеческие органы, поражённые всякими ужасными болезнями. Что, впрочем, нисколько не мешало нам выпивать и с аппетитом закусывать.

Озолину куда-то нужно было обязательно идти, но нам с Николаем Яковлевичем он настоятельно советовал ехать к тому в мастерскую и продолжить разговор. Мы сели в такси и поехали в городок Нефтяников, где в фонаре одного из стоявших рядом с райисполкомом домов находилось тогда Колино обиталище.

И Николай стал вначале показывать мне не свои замечательные холсты и пастели, а ранние реалистические, выполненные по всем академическим канонам работы.

– Ну, скажи, Сашка, умею я рисовать, умею? – всё задавал и задавал он мне один и тот же вопрос.

Дело в том, что записные критики Третьякова облыжно обвиняли его в элементарном неумении владеть карандашом. Мол, потому он и стал «формалистом», что той же человеческой руки не в силах правильно изобразить...

С тех пор я бывал у Третьякова не раз. Как правило, приходил не один – вначале с Вильямом, а потом, когда он уехал, – с Поповым или с Зиняковым. Помню, году в семьдесят четвёртом мы несколько раз приходили в закрытый на ремонт ресторан «Маяк», где Третьяков и Валентин Кукуйцев делали роспись банкетного зала «Дорога на Север». Потом, бывая иногда в «Маяке», я обязательно подводил к этой великолепной росписи своих друзей. А в самом начале 1990-х роспись уничтожили, сделав в банкетном зале безвкусное и аляповатое «новорусское» оформление...

Запомнился один случай. Не скажу точно где, в каком городе и когда (помню, что в гостинице) сцепились Николай Самохин и Вильям. Они до хрипоты спорили, кто самобыт-

ней и талантливей – новосибирец (т. е. земляк Самохина) Николай Грицук или наш Третяков. Так ничего друг другу и не доказали.

Но вернёмся к сборнику «Год Быка». Сегодня мне кажется, что в этом сборнике – красивом внешне, полноценном по объёму – автором подведены некоторые «предварительные итоги» своей литературной (а может быть, и не только литературной) биографии. Так ли это – спросить не у кого, но мне представляется, что задумано было именно так. Во всяком случае, некий смотр сил, своего рода переключка, проверка друзей по негласному поэтическому содружеству были в этой книге Озолиным произведены. Помещены стихи, посвященные Р. Солнцеву и Г. Граубину, а в посвящённом М. Сергееву стихотворении «Речитатив о забытой гитаре» поимённо перечислена почти вся компания – Добровенский, Асламов, те же Граубин и Солнцев, Филиппов, Фоняков...

В этом же письме, где идёт речь о книге «Год Быка», Вильям сообщает:

«Я стал автомобилистом, продал своего "Муравья" и купил ЗАЗ–968м – "Запорожец". Ездить начну весной, с Нового года пойду учиться на "права" (мотоциклетные уже недействительны).

У Витьки Смирнова 12 ноября было 60-летие. А я не смог прилететь, т. к. сдавал (очень напряжённо) книгу и должен был 14-го лететь в командировку».

В начале 1992 года Вильям переписал в свой дневник газетное объявление, озаглавленное «Вечер среди бела дня». Протицирую его и я:

«"ВИЛИЧАЛЬНАЯ" ПЕСНЯ

7 января 1992 года во Дворце культуры котельщиков будет исполнена "виличальная" песня, а проще говоря, состоится Творческий вечер поэта Вильяма ОЗОЛИНА.

В первом отделении автором будут исполнены смешные (и не очень) стихи и рассказы в музыкальном сопровожде-

нии пианиста Евгения Третьякова, во втором – выступят известные алтайские поэты, все как один лучшие друзья и завистники Озолина, актёры.

Вечер, как ни странно, начнётся средь бела дня, а именно в 15 часов пополудни. В буфете, по слухам, будут бутерброды и вино.

P.S. Самого В. Озолина просим найти возможность посетить свой творческий вечер».

«От себя замечу, – сказано ниже, – что авторский вечер, банкет и прочее состоялись...» (Встреча. – С. 250).

Новогодняя открытка, отправленная из Барнаула в самом конце 1992 года: *«Поздравляю тебя с принятием в СП (хотя чего это сейчас даёт?). Но всё же!!! Молодец! Пиши, как живёшь, над чем работаешь и где. Как омские "бондаревцы"* гуляют? Поди за Бабурина тосты будут в Новый год поднимать. Где вы, омичи, эту с... откопали? Позор на весь мир.*

Я закончил новую повесть. Лучшую свою! Её уже ждут в московском журнале».

О какой повести и о каком журнале идёт речь – затрудняюсь, как пишут в анкетах, ответить. Могу только предположить, что повестью Озолин первоначально называл свой большой рассказ «Король Лир, принц Гамлет и печник Зверев», появившийся вскоре в «Новом мире» (1996. – № 10).

И раз уж речь зашла о Москве, хочу задать простой вопрос: почему Озолин не выпустил в столице ни одной своей книги? Ещё в 1975 году, рецензируя читинский сборник «Чайки над городом», поэт Марк Соболев писал в «Литературном обозрении»: «Думаю, совсем несправедливо, что Озолин ещё не издавался в Москве. Дело было бы очень доброе и нужное – во вторую очередь для поэта Вильяма

* Союзом писателей России руководил тогда Юрий Бондарев.

Озолина, в первую – для читателя, ценящего и любящего поэзию». Но московские публикации сибирского поэта можно пересчитать по пальцам. При таких широких литературных связях и знакомствах это выглядит странным и непонятным. Впрочем, это не единственная загадка в биографии Озолина.

«13 января 1995.

Саша, рад был получить от тебя письмецо. Живу я так же, в том же ключе. Только всё меньше внешней литературной богемы и суеты.

Последний раз какое-то общение было на Шукшинских чтениях в июле 1994 года. Но всё больше на этот праздник прибывает деятелей кино, а это в основном – или известные пустышки вроде Жарикова и Саши Чёрного, или совсем уж оголтелые "спасатели русского народа". Грустно, т. к. во время кликушеских речей этих "защитничков" людям иной национальности просто неудобно стоять на горе Пикет: вроде бы попали на чужой пир.

Грустно, что у нас в писат. организации всё более утверждается круг людей, настойчиво пропагандирующих и внедряющих в народное сознание мысль, что всё нерусское чуждо и враждебно России. Только непонятно, какую Россию они имеют в виду: ту, которая была в эпоху русских княжеств, или новую, от Прибалтики до Тихого океана, в которой и самих русских-то кот наплакал. Не накликали бы беду наши кликуши!

Короче, мерзость вылезла на поверхность.

Весной я от души пообщался с близкими мне по духу людьми в Красноярске, куда был приглашён на 75-летие Виктора Астафьева. Пожил у Ромки Солнцева. Он издаёт там шикарный по нынешним временам журнал "День и Ночь", редколлегия от С.-Петербурга до Магадана (Пчёлкин). Я тоже представлен.

Между прочим, прилетал к Астафьеву Горбачёв с Раей. Я там на банкете поддал и пошёл "учить" Мишу, как надо

было бы делать перестройку, главная моя (нетрезвая) мысль состояла в том, что Мише не надо было разрушать "аппарат". Там сидели такие безнравственные люди, что им было абсолютно пох..., чего строить – коммунизм или капитализм.

Миша меня молча выслушал, но тут подлетела Раиса и "отняла" его: "Что вы его всё политическими разговорами мучаете?!". И я предложил выпить "на посошок". И мы выпили. И потом – "на костылёк", и потом – "на ползунок". Но уже без Миши, который сбежал...

Я, кстати сказать, этот год объявил годом трезвой свиньи. У меня характер есть, я 5 лет тому назад бросил курить! Моё отрезвление – не прихоть: стал писать, пошла проза, так что или... или... Я, конечно, на юбилее – маме будет 85 лет 15 февраля – шампанского бокал хлопну и где ещё при больших торжествах. Я полностью наложил вето на крепкие вина, водку, коньяк. Ни за что, никогда! Усё! Год продержусь (а я уверен в себе) – а там видно будет. М. б., до 2000 года завяжусь! А чё – 5 лет всего! Мелочь.

Передавай, Саша, привет всем твоим коллегам по СРП. Мише Малиновскому, Э. Шиду! Чекмарёву, если помнит меня. Жаль Лёну Злотину, она же молодая!

Позвони Вите Смирнову. Жаль, конечно, что я никак не могу выбраться в Омск повидать его. Финансы "слабоваты". Пенсия идёт, но у нас дома 2 студента – Вовка и его жена. <...>

В Омске вышел альбом Н. Третьякова, не смог бы его раздобыть и прислать мне? Очень хотелось бы иметь! Мы же были близкими друзьями»*.

Виктор Смирнов скончался от инсульта в больнице 10 февраля 1995 года. (Незадолго до рокового приступа я

* Елфимов Л. Николай Третьяков. – Омск, 1994. В статью о художнике ввёрстана большая, на всю страницу, фотография – «Н. Третьяков и поэт В. Озолин». Снимок сделан в мастерской художника.

заходил к нему, и мы, помню, обсуждали «диалог» Вильяма с экс-президентом СССР. Витюшу эта история привела в полный восторг.) Я послал телеграмму, но Озолин не смог приехать.

За поминальным столом я прочитал несколько листочков из Витино сочинения, с которым он, что называется, носился в последнее время. Это «Записки», в которых он весьма наивно писал о глобальных проблемах – энергетике России, современной школе, свободном времени, сельском хозяйстве... Я помогал ему с перепечаткой текста, один экземпляр оставил на память себе. Три странички, озаглавленные «Вместо предисловия», и были прочитаны на поминках, вот они:

«Я долго думал, с чего начать мои «Записки», и решил познакомить читателя со своей биографией.

Я родился 12 ноября 1928 года в Омске. Детство моё было действительно счастливым. Я жил в хорошей интеллигентной семье. Особенно я помню летнее время. Нас с двоюродным братом с весны до осени вывозили в деревню Чернолучье, где мы жили под присмотром четырёх теток и матери, бравших отпуска по очереди. В то время Чернолучье была глухая деревня, окружённая борами. Мы утром с двоюродным братом и тёткой, пройдя огороды, сразу же оказывались в бору. За 15–20 минут мы набирали там по большой эмалированной кружке земляники, приходили домой, эта ягода заливалась парным молоком. Нам выделялось по горбушке только что выпеченного в русской печи ещё горячего деревенского сытного хлеба. Это был наш завтрак. <...>

В 1937 году (это я узнал уже потом) моего отца – главного инженера, а впоследствии исполняющего обязанности начальника Омского радиоузла РВ–49 – предупредил его друг, работавший в то время в омском ГПУ, что его собираются арестовать по ложному доносу. Он срочно развёлся с моей мамой и уехал в город Бийск. Первое время – около

года – мы получали от него весточки и деньги, и вдруг всё прекратилось. Как мы узнали впоследствии, он был ночью арестован, и след его пропал. Даже потом, как я ни пытался узнать, куда он делся, я не смог этого добиться.

Началась война. Я, прибавив себе один год, поступил работать на эвакуированный в Омск из Ленинграда оптикомеханический завод, где и проработал больше года слесарем-опиловщиком. Потом я поступил в ремесленное училище № 7, которое закончил в 1944 году. Нас отправили на завод им. Баранова. Там проработал я до Победы.

Я любил и умел рисовать и при помощи моей тётки, работавшей в Омском облдрамтеатре, поступил туда учеником в декоративный цех. В 1946 году мне уже доверили написать задник к спектаклю "В старой Москве", работа была выполнена хорошо, начальник декоративного цеха добавил только несколько бликов.

12 ноября 1946 года я отметил свой день рождения – 18 лет. А 3 декабря этого же года был арестован, и 20 декабря был осужден по указу военного времени за самовольный уход с военного предприятия – завода им. Баранова. В феврале 1947 года я был вместе с этапом отправлен в так называемый Свердловск-44 – на строительство атомного завода.

В 1947 году я был амнистирован, но меня заставили при помощи кулаков "добровольно" подписать, что я согласен остаться на строительстве. Я работал в бригаде отделочников.

В 1950 году я работал в так называемом главном корпусе этого атомного предприятия, заканчивал отделку кабинета главного инженера. Главный корпус уже начал работать. Работники этого корпуса ходили в серебристых костюмах, серебристой шапочке, перчатках, в маске и в обуви на свинцовой подошве. Мы же, проходя по цеху, были одеты в обыкновенную одежду. Там, вероятно, я получил дозу радиоактивного излучения, потому что впоследствии я стал болеть.

В августе этого же года нас неожиданно ночью собрали под охраной конвоя, посадили в теплушки и отправили (это мы узнали уже по приезду) на Колыму. Прибыли мы в Магадан в октябре. Затем были отправлены этапом, численностью 5 с половиной тысяч человек, на прииск Мальдяк, где всю зиму проработал шурфовщиком. К июню пошли слухи, что нас осталось три с половиной тысячи. Я сам уже к весне не мог ходить, у меня стянуло ноги. Я, привязывая куски автомобильных баллонов к ногам, ползал на коленях.

Но всё-таки выжил, благодаря употреблению большого количества хвойного отвара из стланника. А весной, когда появились первые ягоды морошки и всевозможная травка, затем голубика, я встал на ноги.

В 1953 году, после смерти Сталина, я был осенью освобождён и выехал в Омск. Поступил работать в ТЮЗ художником.

В 1957 году я участвовал как художник в начальных, пробных передачах любительского Омского телевидения. В 1958 году оно стало государственным, и я перешёл туда работать. Здесь проработал художником 23 года*.

Все эти годы, вернувшись с Колымы, я болел, лечился до 1980 года. Затем лёг в больницу, где мне сделали операцию, и я вышел из больницы инвалидом, каким и являюсь до сегодняшнего дня».

Вскоре после похорон из Барнаула пришло новое письмо:
«Саша, дорогой!

Ну вот: я остался почти один из тех – старых – наших друзей. Жалко очень. Витя долго сопротивлялся болезням, а их у него было – сонм. Конечно, и лагерь в юности, и молодая пьянь, которую мы очень даже культивировали...

* Именно на Омском телевидении В. Смирнов и В. Озолин познакомились и стали друзьями.

Я, честно, давно был готов получить печальную весть из Омска... <...>

Приехать на похороны я не смог, т. к. болен был отитом двухсторонним, гнойным...».

«Я остался почти один из тех – старых – наших друзей», – пишет Вильям, и сегодня эта грустная фраза высвечивается мне каким-то особым образом. «Один из тех» – т. е. из тех, кто, родившись в конце 20-х – начале 30-х годов, хоть и не успел попасть под каток войны, но кого свинцовый век-волкодав всё равно в полной мере пометил своими жёсткими метами. Один из тех, кто, чуть отогревшись после смерти Усатого под неверными лучами хрущёвской «оттепели», вынужден был долгие застойные годы жить по двойным стандартам. Один из тех, кто, едва поверив в демократический пафос перестройки, через неполный десяток лет начал понимать, что, кажется, его провели и на этот раз...

Главный редактор барнаульской газеты «Свободный курс» Владимир Овчинников прислал мне несколько ксерокопий, касающихся Вильяма. Одну из них – очерк В. Озолина о его друге скульпторе Владимире Добровольском, стоит здесь процитировать.

«И мы снова уносимся воспоминаниями в молодые шестидесятые годы, получившие название "оттепели". После XX съезда коммунистов, разоблачившего "культ вождя народов", открывшего ворота сталинских концлагерей, после десятилетий жестокого идеологического холода, сковавшего мозги и души миллионов советских людей, – всё, что подспудно копилось в искусстве, вдруг, как речное половодье, выплеснулось наружу из-под ледяной брони. Власти, не ожидавшие такого оборота, нажали на тормоза. Цековские искусствоведы под руководством Суслова кинулись затыкать пробойны в днище социалистического реализма. Начались идеологические погромы, шумные разборки с художниками и писателями.

Досталось полной мерой и нашему земляку Василию Шукшину. И, что самое позорное, громили его здесь, на родине. По указанию из крайкома для него были закрыты печать, радио и телевидение. Те же искусствоведы от компартии, только рангом пониже московских, давились изжогой от шукинских чудиков, искажавших, по их мнению, радостную картину советской деревни. Это уже потом, после того как шукинскими рассказами зачитывалась вся страна, когда "Калина красная" и "Печки-лавочки" составили золотой фонд нашего кино, стали они проливать на Пикете фальшивые слёзы по безвременному ушедшему таланту. Между прочим, никто из местных шукинистов ни словом не обмолвился о том, почему, приезжая из Москвы в Сростки, Василий Макарович старался незамеченным проскользнуть через Барнаул и, кстати, в местной писательской организации ни разу не бывал.

Так что короткой оказалась "оттепель" шестидесятых годов. Наступили новые жестокие холода. Немногие их выдержали. Снова на выставках стали появляться помпезные полотна о революционном прошлом, замелькали похожие одна на другую картины полевых и прокатных станов».*

В том же письме, что пришло от Вильяма после смерти В. Смирнова, идёт речь и о делах литературных:

«Я написал несколько рассказов сатирических. Печатаю для Ромы Солнцева в Красноярске. М. б., пришлю вам...

От меня приветы всем твоим единомышленникам по СРП. Мише Малиновскому и другим. Я лично ничего общего с СП на Комсомольском проспекте, 13, не только не хочу иметь, но и в упор их не вижу. И своим тут заявил, что со всякой мразью шовинистической, под какими бы они знамёнами ни толпились, знаться не хочу. Впрочем, ко мне давно уже не лезут со всяческими "подписями" и прочим. Знают мою позицию...

* Озолин В. После холодов... // Свободный курс. – 1996. – 23 мая.

...А вообще-то, слава богу, у нас в писат. организации экстремизма пока нет, кучкуются все кто как может и с кем хочет... Ну что, Саша?!

Пусть Витьке земля будет пухом! Приеду – помянем на кладбище».

Всё меньше остаётся писем в озолинской папке. Всё пристальней вчитываюсь в их знакомые строки.

На дворе – весна 1995-го. Мы в Омске готовим Третьи Мартыновские чтения, мечтаем пригласить на них Озолина (мы с Поварцовым – члены оргкомитета Чтений). Это будет его последний приезд в родной город, последняя наша встреча...

Но никто из нас, понятное дело, не знает об этом. И пока Вильям радуется полученному от меня третьяковскому альбому. Из письма от 29 марта того же 1995 года:

«Ты уж прости, я забыл – ответил ли тебе на письмо и расчудесный, иначе не назовешь, альбом "Н. Третьяков" <...>

...Саша, как я тебе благодарен. Альбом – драгоценен! Увидишь Лёню Елфимова, передай от меня поклон и благодарность. Я напишу Ирине Захаровой** – жене Коли.*

Конечно, на Мартыновские чтения был бы рад попасть. Если оргкомитет оплатит хотя бы ж-д билет – будет неплохо. А гостиницу мне, как ты понимаешь, не нужно: у дочери буду ночевать (или у какой-нибудь прекрасной незнакомки). Так что предлагай меня...

...Черкни коротко, когда точно Чтения пройдут, чтоб я разгрёб к этому времени всякие текущие дела. А их – увы – всегда невпроворот.

Вчера на Дне театра договорился о чтении пьесы-мюзикла в мюзикомедии с главным режиссёром...».

* Л.П. Елфимов, искусствовед, преподаватель Омского педагогического университета, автор книги, о которой идёт речь.

** И.В. Захарова, историк, этнограф, кандидат исторических наук, доцент Омского государственного педагогического института.

В связи с последним сообщением (о мюзикле) хочу подчеркнуть, что в последние годы, в свой зрелый период, работал Озолин весьма разносторонне, и общепринятое представление о нём лишь как о поэте явно узкогато. Это подтверждает и апрельское письмо того же 1995 года:

«Я – в трудах и заботах. Ира постоянно подкидывает рабoтёнку (оформление её детской выставки на краевой семинар; разумеется – бесплатно). А тут, как на грех, писаться стало. "Алтайская правда" с колёс напечатала 2 рассказа, а "Свободный курс" – серьёзная газета-еженедельник – заказала еженедельные эссе на свободную тему. Так что Бахусу поклоняться некогда. Да и слава Богу! Очень уж тяжело стало выкруливать после загулов».

В этом же письме Вильям подсказал нам весьма важную вещь:

«Знаешь ли ты о существовании газеты "Очарованный странник", она выходит в Ярославле. Это "Литературная газета провинциальных писателей". Очень интересная! Ориентирована на СРП. В октябре они проводят Всероссийский семинар молодых писателей. Свяжись, авось и получится контакт. Они ждут рукописи на "соискание" семинаристского места до 20 июля. Может, есть у вас такой кандидат?»

Так Вильям с его обширнейшими литературными связями помог своей подсказкой уже не просто одному мне, помог всей нашей только-только становившейся на ноги писательской организации. На Всероссийское совещание молодых писателей, которое состоялось в январе 1996 года под Ярославлем, ездили шестеро молодых омских литераторов. И трое из них – прозаики Александр Дегтярёв, Виктор Богданов и Елена Мурашова были прямо на Совещании при-

няты в Союз российских писателей. Печатались наши ребята и в «Очарованном страннике», его нам присылали – до тех пор, пока эта действительно хорошая газета после гибели её спонсора от руки киллера не приказала долго жить.

А дальше в том же письме – ещё одна творческая под-сказка:

«Я продолжаю сотрудничество с красноярским журналом "День и Ночь"... Журнал имеет хождение от Магадана до С.-Петербурга (Стругацкий – член редколлегии). Печатаются В. Астафьев, В. Аксёнов, Окуджава, Ахмадулина, Евг. Попов...

Уровень отбора, скажу прямо, очень высокий: я когда отбираю что-то, то подхожу реалистически, а не с позиции "вот бы помочь парню напечататься"... Так что имей в виду, может, что и пошлешь. Адрес: на имя Романа».

А потом были Мартыновские чтения, об участии в которых Вильяма я уже говорил выше. Как всегда во время таких мероприятий, суеты и суматохи было предостаточно. Разговаривали мы с Озолиным урывками: ему хотелось всюду успеть, на мне же лежали кое-какие оргбязанности. Расстались где-то на улице – оба спешили в разные места. В «Записках потерпевшего» о Чтениях и о литературной жизни Омска говорится подробно и остро: *«"Чтения" прошли хорошо. Встречался с друзьями на ТВ, радио, с художниками. А вот с писателями сложнее! Такой жуткий разброд среди них! Смотреть тяжело. В старой писательской организации собрались "прокоммунистическо-националистические" типы, которые, может быть, и не полностью разделяют "бондаревско-прохановские" идеи, но мирятся всё же из-за страха, что опять вернуться бывшие хозяева – коммунисты. Да и в целом-то объединяются серость, бездари. Талантливому художнику и ранее, и нынче чуждо объединяться в партийные кучки. Тяжко было слушать и смотреть, как эти "коммнацисты" притягивали под своё знамя омского поэта Леонида Мартынова. А ведь совсем ещё недавно многие из*

них говорили, что Л. Мартынов – поэт более западный, чем русский (!?!), и что он элитарный поэт и простому русскому человеку непонятен». (Встреча. – С. 276).

Порассуждав о мнимой «элитарности» Л. Мартынова, Вильям вновь возвращается к описанию наших литературных нравов – как видно, их картина никак не идёт у него из головы. Упоминается и еженедельник «Омское время», тогда, в середине 1990-х годов, он буквально травил нашу только-только встававшую на ноги молодую писательскую организацию (СРП).

«В омской писательской организации (СПР) махровый национализм тоже ведь от низкой культуры, от злобной завистливости к тем, кто не хочет прислуживать никому, и независим потому, и никаких писем не подписывает, и никаких "партий", как и раньше, не желает знать. Но только эти бездари, к сожалению, не так уж и безобидны! От них исходит опасность гражданской войны, кровопролития. Вот в местной черносотенной газетёнке "Омское время" бывшая журналистка, объявившая себя "казачкой", пишет о разделении Омской писательской организации дословно следующее: "В Вологду для сотворения раскола специально засылали агентов из Москвы, как рассказал Василий Белов. ...В Омске эта затея не больно удалась: только осколки интернационального окраса отлетели, а монолит остался монолитом. Теперь чисто русским. Вот к этим-то омским писателям и поехали гости на душевный разговор!" (№ 44/121).

Да как смеет эта мразь причислять Л. Мартынова, поэта глубоко русского и глубоко интернационального, к своим заединицам! Вот какую боль увёз я в душе из Омска с Мартыновских чтений» (Встреча. – С. 277).

Ноу, как говорится, коммент...

Чтения проходили в конце мая, а 15 июня у меня умер отец. Из письма В. Озолина от 16 июля 1995 года:

«Саша, дорогой!

Во-первых, прими соболезнования по случаю смерти отца. Мама его хорошо помнит (учились ведь вместе) и, конечно, вздыхала и качала головой, т. к. у самой возраст такой же. И я с грустью думал и о ней самой, и о себе».

Через несколько дней после похорон я перебирал отцовские книги и наткнулся на сборник «Чёрные утки» (Иркутск, 1984). В него были вложены две газетные вырезки. Одну из них я процитирую в сноске*, а на другой (это была статья В. Вайнермана к восьмидесятилетию Яна Озолина из «Вечернего Омска») характерным почерком отца сделана надпись:

«С будущей женой Яна Озолина – Деборой Хуторанской я учился в омской 7-летней школе (1924–1926) им. Троцкого (впоследствии шк. № 37). Мы сидели за одной партой».

В том же книжном шкафу, в котором я обнаружил «Чёрных уток», отец хранил свои рукописные «Записки» – пять толстых общих тетрадей. Он написал их в 1978 году после моих настойчивых советов сделать это. В тетради, где описываются школьные годы (в главке «Через полвека»), я прочитал:

«25.XI.1977 года отмечался столетний юбилей школы № 37...

Стало грустно и печально, ведь из нашего выпуска в школу пришли только двое: Дебора Хуторанская и я... Она – ху-

* В сборнике «Чёрные утки» кроме заглавной помещена и небольшая повесть «Северная история». Ей-то и посвящена заметка из «Правды» за 16 мая 1986 года: «СЕВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), 15
(Редактор газеты "Красный Север" В. Котов).

Не предполагал сибирский писатель Вильям Озолин, что у его повести "Северная история" окажется такой эпилог. Лет тридцать назад автор стал свидетелем случая, когда местные авиаторы из фактории Тамбей в штормовую метель ценой огромного риска спасли жизнь пострадавшей девочке. Этот эпизод и лёг в основу повести. А недавно, путешествуя по Северу, писатель рассказал об этой давней истории на встрече с читателями посёлка Новый Порт. По окончании к нему подошла женщина, представилась: Анна Тусида – местная жительница. Именно она и была героиней повести».

дожник, теперь пенсионерка. Её мужем был известный в Сибири поэт Ян Озолин (погибший в 1937 году), а сын Вильям Озолин – тоже поэт и хороший товарищ моего сына».

Помню, отец не раз намекал мне на то, что он не прочь бы познакомиться с Озолиным, и я как-то даже пообещал привести к нему Вильяма. Но вот не получилось... А жаль – он любил и умел разговаривать с пожилыми людьми. Однажды мы вместе оказались в гостях у Виталия Попова (когда тот жил ещё в коммунальной квартире возле кинотеатра «Спутник»). У Виталика была соседка – одинокая, незаметная старушка. Встретившись с ней в общем коридоре, Вильям около часа не возвращался к столу: оказывается, когда-то он знал рано умершего (или даже погибшего, теперь точно уже не помню) сына этой старой женщины. «Пусть, пусть поговорят, – останавливал Виталий Ирину, порывавшуюся вернуть мужа в нашу компанию, – они всегда разговаривают, когда Виля приходит...» Я несколько раз проходил в тот вечер мимо беседовавших, курсируя на кухню и обратно. Было что-то трогательное в том, как широкоплечий, краснолицый Вильям склонился над щупленькой, совершенно седой старушкой и внимательно слушал её, изредка вставляя короткие негромкие фразы. Но обратимся вновь к письму от 16 июля 1995 года:

«Я 14-го вернулся из поездки: Москва – Рига – Москва. Месяц не был дома. Куча писем. В том числе и от Черных из Ярославля. И опять по поводу семинара... Я ему буду отвечать и, конечно, напишу о тебе... С подбором кандидатов у меня некоторая сложность: поскольку я к приёму в профессиональный союз вообще отношусь слишком серьёзно, то предложить что-либо стоящее трудно – те, кто достоин, по возрасту не подходят (до 35 просят), а просто так рекомендовать кого-нибудь для "членства", для увеличения рядов заединчиков не считаю нравственным <...>. Я категорически против "политизирования и национализирования". Хватит, надоело. СП СССР – с чиновниками, глав-

ными писателями, второсортной публикой, принимаемой в СП не по таланту, а по преданности идеям КПСС... Зачем всё это снова? Конечно, грех забывать, что СП СССР прикармливал писателей, квартиры давал, командировки... Но ведь за это нужно было помалкивать, поддакивать, а то и просто подличать. Не все этим занимались, мои друзья, во всяком случае, сопротивлялись, как могли. Всё равно – до сих пор рвать тянет, да и в местных организациях всё ещё живут по старинке.

Ещё о семинаре. Поскольку опять же семинар пройдёт под эгидой СРП и оплачен им же, то надо и кандидату ясно дать понять, что если он согласен ехать, то будет иметь моральные обязательства.

И это противно. Я ведь вообще за возвращение к старой областной форме – Писательской Артели, без чёткого членства. Придёшь на собрание, принимаешь участие в жизни Артели – можно говорить о тебе как о кандидате в правление. Перестал работать – изволь уступить место более активному. Литобъединение Омска при "Омской правде", при издательстве – проверенная форма. Все мы вышли в литературу оттуда...

...Вот такие у меня мысли. А что насчёт "бондаревского" Союза в Омске и что касается таких тварей, как С., так их всегда было полно. Только раньше они чистоту марксистско-ленинских рядов защищали, чтобы компенсировать свою бездарность, а теперь чистоту национальных рядов бдят. Шовинизм – он везде шовинизм. Был я в Латвии – то же самое! Хотя простой народ (со многими разговаривал) такую политику не одобряет. А уж в Сибири с её многонациональной структурой и подавно национализм захлебнётся в собственном говне».

Многое в этом искреннем и взволнованном монологе верно. Многое, но, на мой взгляд, не всё. Но вступать в запоздалый спор со своим другом не стану. Он был, как и все мы, растерян. Простая вещь – как послать на «чужой» семинар

формально «своего» кандидата – создала для Вильяма при его шепетильности чуть ли не тупиковую ситуацию.

А тогда разрешился этот тупик весьма просто: Союз писателей России, в который автоматически, вместе с Алтайской писательской организацией, входил и Вильям, вскоре провёл для «своих» молодых авторов отдельный семинар во Владимире. Сейчас от такой «раздельной» практики начинают отказываться – последнее Всероссийское совещание молодых писателей в подмосковном Доме творчества Малеевка (декабрь 2001 года) проходило под эгидой обоих писательских Союзов. Вот что вспоминает участник этого совещания – молодой омский поэт Михаил Симонов:

«Продекларированное на вступительном собрании примирение и сближение двух писательских Союзов наблюдалось больше на бытовом, чем на официальном уровне. Численно мы (т. е. кто из СРП) были в меньшинстве, но ни малейшей в этом или любом другом смысле ущербности не чувствовали. Скорее, наоборот, было приятно погружаться только в литературную и никакую другую атмосферу, отчего лично меня не оставляло ощущение нормальности происходящего, само по себе весьма редкое в обыденности. Знаю, что отсутствие в стихах или прозе берёз – лугов – рассветов, красных штандартов и патриотических слёз умиления от их внешнего вида засчитывалось за серьёзный недостаток на обсуждениях семинаров Союза писателей России. С другой стороны, не так уж их и мало было там, этих деревьев и полотнищ. Но общаться с делегатами "того" Союза разница во взглядах на великую сермяжную правду и на роль русской интеллигенции совершенно не мешала»*.

Жизнь постепенно расставляет всё по своим местам. В том же «пилотном» номере нашей газеты «Складчина» рядом с малеевским репортажем М. Симонова напечатана заметка «К вопросу о единомыслии»:

* Симонов М. Литературный «котёл» // Складчина. – 2002. – март. – № 0. – С. 28.

«Оба главных писательских издания – "Литературная газета" и "Литературная Россия" – напечатали коллективное обращение, призывающее членов различных писательских Союзов объединиться в "единую профессиональную организацию". Писателей России призывают начать подготовку к объединительному съезду. Развёртывается дискуссия на данную тему, преобладают в которой пока что эмоции и прекраснотушние на "пушкинскую" тему – мол, "друзья мои, прекрасен наш Союз!"».

В дискуссию мы пока вступать не станем. Пока приведём мнение на этот счёт руководителя Союза российских писателей Светланы Василенко. На вопрос "Литературной газеты" "Нужен ли единый Союз писателей?" она ответила: "Не нужен. Потому что время единомыслия уже прошло. Чтобы бороться за свои профессиональные права, нам нужна Ассоциация множества Союзов, которые сейчас существуют. Ведь в законе о профсоюзах такая профессия, как писатель, вообще отсутствует. Поэтому и действие закона на нас не распространяется. И сколько бы ни создавали Союзов, прав мы иметь не будем. Бороться нужно другим способом – пробивая Закон о творческих Союзах и творческих работниках"» (Литературная газета. – 2002. – 6–12 февраля).

Дискуссия в вышеупомянутых еженедельниках постепенно сошла на нет, призывы «слиться в экстазе» приутихли, ни о каком «объединительном» съезде что-то ничего больше не слышать. А вот практические шаги по укреплению единого писательского Литфонда делаются. Поговаривают и о параллельном создании ещё одной структуры – писательского профсоюза (с местками на местах), который защищал бы наши права.

Поживём – увидим...

...А теперь постараемся вернуться в 1995 год – к уже цитировавшемуся озолинскому письму от 16 июля.

«...Ну, что ещё? – продолжает Озолин. – В Москве был у Г.А. Суховой-Мартыновой. Долго сидели за столом, рас-

сказал ей про "мартыновские" дни. Она всё же очень обижается на омичей: приглашения официального у неё ни от кого не было <...> О тебе она очень добро отзывалась <...>

...Ну, всё? Привет Мишке Малиновскому, Кудрявской и Лёньке, Поварцову.*

Не лезь, Саша, в споры с "бондаревцами". В конце-то концов, теперь народ пойдёт за теми книгами, которые написаны талантливо, а говорить любую чушь ныне не запретишь, что и хорошо, с одной стороны, и плохо, т. к. негодяи чувствуют себя безнаказанными».

И ещё об одном. Вильям всегда был резок в своих оценках и суждениях. Да и сама его фигура вызывала и вызывает до сих пор неоднозначную реакцию. Поэтому я решил, что не стоит и пытаться как-то смягчать резкость и бескомпромиссность, переполняющую его письма, особенно письма последних лет жизни. Всё равно среди читателей моей книги о нём обязательно найдутся недовольные и, возможно, даже обиженные (а то и попросту заведомо недоброжелательно настроенные к Озолину) люди.

Да что там говорить о недоброжелателях. О Вильяме до сих пор спорят те, кто вполне хорошо к нему относился и относится. Несколько лет тому назад такой спор даже нашёл отражение в печати. Один из авторов, говоря об омских «шестидесятниках», причислил Озолина к диссидентам**. Другой заявил, что такое утверждение ошибочно и что вообще – Вильяма из Омска никто не гнал***.

Тут трудно судить однозначно. Диссидентом, то есть человеком, активно выступавшим против существовавшего политического режима, Озолин, конечно, не был. (Например, среди написанных им стихов есть и вполне просоветские.)

* Г.Б. Кудрявская, писательница, и Л.Я. Кудрявский, её муж, известный омский радиожурналист – друзья Вильяма.

** Флаум Л. Дорога из плена // Вечерний Омск. – 1999. – 27 октября.

*** Петров И. Об омских «диссидентах» // Новое обозрение. – 2002. – 3–9 апреля.

Но ждать от сына ни за что ни про что расстрелянного человека особой любви и преданности к власти тоже не приходилось, конкретные представители этой власти вполне данный факт осознавали, и отношение омского начальства к Вильяму было хоть и не откровенно враждебным, но прохладным и насторожённым. Хотя...

Расскажу сейчас историю, которую знают далеко не все. Одно время Комитет государственной безопасности по Омской области возглавлял генерал Михаил Андреевич Лякишев. Необычный это был генерал. Написал, например, весёлую пьесу, по которой Омская музкомедия поставила спектакль. Устроил на непыльную работу в отдел НОТ (научной организации труда) богатого оборонного завода всюду тогда гонимого за «антиобщественное» поведение брата поэта Павла Васильева – Виктора Николаевича (Виктор со смехом рассказывал мне, как для начала генерал сам привёз его на этот завод, как на морозной улице их встречал испуганный начальник первого отдела, как иногда (главным образом за зарплатой) он являлся потом на завод и как с треском был уволен сразу же после внезапной смерти генерала, тот умер во время операции на печени).

И вот в один прекрасный день Вильям Озолин был приглашен в КГБ. Нетрудно представить, с какими чувствами шагал он на улицу Ленина – в наш знаменитый Серый дом... Но в кабинете генерала (а провели поэта именно туда) ему было сделано... интересное творческое предложение. Разумеется, Вильям ждал чего угодно, только не этого; возможно, от неожиданности и отказался. А предложил ему М.А. Лякишев написать о никому тогда не известном омском телеграфисте, который, попав во время войны на оккупированную территорию, руководил подпольем двух областей. Это сейчас о Филиппе Комкове знает каждый, кто проходил мимо Омского почтамта, на котором ему установлен мемориальный барельеф (примерно такой же есть в Херсоне; в Николаеве, в Херсоне и Омске есть улицы его имени и т. д.).

А тогда, в середине 1960-х годов, это имя только всплывало из небытия.

Озолин порекомендовал генералу вместо себя омского писателя Бориса Малочевского. Борис Александрович вначале взялся за тему с энтузиазмом – съездил в Херсон и Николаев, разыскал бывших подпольщиков – боевых товарищей Комкова. Помню, как по Омскому радио звучал цикл передач Б. Малочевского об этом, участвовал однажды вместе с ним во встрече с читателями, где писатель рассказывал о своих поисках. Но книги о Комкове у Малочевского так и не получилось – не справился, как он сам потом признал, с незнакомым документальным жанром. Позже за дело взялся другой омский писатель – Иван Петров, ему принадлежит небольшая документальная повесть о Комкове «Меченый». А началось-то всё с вызова Вильяма в КГБ.

Если уж затронута «линия» Озолин и Серый дом, то расскажу, как Вильям однажды (примерно в 1970-м или в 1971 году) познакомил меня с Вячеславом Васильевичем (фамилия тут, думаю, ни к чему) – сотрудником этого самого Дома. Вместе с ним Озолин пришёл как-то к нам в редакцию «Омской правды», и мы, закрывшись в кабинете моего заведующего Валеры Зинякова, потихоньку нарушали трудовую дисциплину. Занимался Вячеслав Васильевич, кажется, охраной секретов омской оборонки, но об этом, естественно, старался не говорить, да мы его и не расспрашивали. Оказалось, что мы с В.В. живём в одном доме (вселились в него только что). Мы не раз потом ходили друг к другу в гости, разговаривали о литературе, о Вильяме. Помню, как я удивил своего гостя, когда достал с полки полдесятка сборников Солнцева, и в каждом были стихи, посвящённые Озолину. А однажды В.В. повёл меня в соседний дом и познакомил... с бывшим бортмехаником Василия Сталина – ни больше ни меньше. Тот тоже работал в их управлении на какой-то небольшой технической должности. Разинув рот, я слушал рассказы о безудержной смелости и таком же безудержном самодурстве

сына Верховного главнокомандующего, тогда об этом ещё нигде не было написано. Правда, и я тоже удивил бывшего бортмеханика, рассказав ему о могиле Василия на одном из казанских кладбищ, её я несколько раз посещал, так как кладбище находилось рядом с нашей университетской общагой. Помню, как мы вместе с В.В. и бортмехаником гадали и спорили – кому принадлежит надпись на надгробии бывшего лихого лётчика: «Единственному от М. Джугашвили». (Много лет спустя, уже в перестроечные времена, я где-то вычитал, что М. – это предприимчивая медсестра Маша, последняя любовь опального, спившегося генерала, ухитрившаяся под конец, к великой досаде родственников, официально женить его на себе.)

Конечно, с одной стороны – истории эти несколько уводят нас в сторону, но с другой – точнее и объёмнее показывают Озолина, круг его общения, например. Разумеется, он не любил и побаивался чекистов, но, как видим, на практике мог и водить знакомство с кем-то из них. Впрочем, знакомства у него вообще были самые широкие и неожиданные...

Относительно же того, что из Омска Озолина никто не гнал, сказать нечто однозначное тоже невозможно. Конечно, это не случай Леонида Мартынова, когда имя автора «Эрцинского леса» склоняли по всем падежам на бюро обкома партии. Но то, что после скандальной личной истории Озолину не светило в Омске ни с литературным заработком, ни с жильём, вполне ясно. В далёкой же Чите писательской организацией руководил не равнодушный и недоброжелательный, всегда ревниво относившийся к чужому творческому успеху человек, а друг, член того самого святого писательского братства, к которому имел прямое отношение и сам Вильям, – Георгий Граубин. Так что не только непоседливый характер и склонность к перемене мест, как это утверждает в статье глубоко уважаемого мной Ивана Фёдоровича Петрова в «Новом обозрении», побудили Озолина в семьдесят втором году уехать из родного города, оставив тут престаре-

лую мать. Паковать вещи заставила полная, абсолютная бесперспективность дальнейшего здесь пребывания.

Многое проясняет большая запись Озолина в его дневнике, сделанная в апреле 1989 года – в день получения известия из Омска о смерти Н.Я. Третьякова. Несмотря на немалую величину, привожу эту запись полностью, ибо над многим она ставит точки над і.

«...Это было в конце 60-х годов...

Николай Третьяков уже был "абстракционистом", формалистом, идейно-порочным и т. д. Безграмотная сволота всех рангов улюлюкала, оплёвывала художника и его работы. Я в то время работал художником-оформителем в мединституте. Подходит ко мне один старикан из компетентных органов (ага, вспомнил! это было в 1967 году) некто Августов (фамилия-то как хороша!). И этот старикан пронизательно так смотрит на меня и просит написать "объективку" на Колю, потому что я его друг и желаю ему добра! А поскольку я ещё к тому же и член Союза писателей, то должен дать зрелую политическую оценку "плутаниям" Н. Третьякова. Я-то знал, что несоставление такого документа влекло за собой предоставление мне "права" не печататься и быть неупоминаемым в местной печати, радио и телевидении и прочие ограничительные удовольствия. Старика я, естественно, выпер из мастерской, сказав ему, что Николая считаю самым талантливым в Омске художником и что однажды из-за такой вот "объективки" был арестован и расстрелян мой отец Ян Озолин.

Вечером мы с Колей в его мастерской надрались, а к ночи поссорились, т. к. Коля стал утверждать, что донос на него я всё-таки написал, и упорно не хотел ничего слушать и соображать. С ним такое тогда случалось. Рано утром, оскорблённый до глубины своей нетрезвой души Августовым, с одной стороны, и лучшим другом – с другой, я пошёл бить морду сотруднику Августову, с чем и явился на порог самого внушительного по архитектуре здания в Омске. Постовой,

взглянув на моё расстроенное лицо, догадался о моих планах и проводил меня налево от лестницы – в комнату дежурного по управлению. Дежурный, молодой офицер, меня узнал и стал успокаивать: дескать, Августов уже старый, скоро уйдёт на пенсию, мы, мол, сами его недолюбливаем; а если я ворвусь в его тихий кабинет, то будет громкий скандал, и даже, может быть, и выйти оттуда не будет возможности... С Колей мы вечером в его мастерской помирились, и наша дружба стала ещё крепче, чем прежде, во много раз. Печатать меня в прессе перестали.

А в местной писательской организации был некто Леонид Иванов, известный своей необычайной подлостью сельскохозяйственный очеркист и большой любитель в часы досуга читать особым способом справочник СП СССР:

– Ага!.. Сергеев Марк Давидович! В скобках – Гантваргер!.. Евтушенко Евгений Александрович... Кхе-кхе-кхе! Тоже... О!.. Сидоров Иван Мефодьевич... в скобках... Кхе-кхе-кхе! Шмуйлович Хаим Афроимович!..

Так вот, этот любитель этнографии после визита ко мне тов. Августова вдруг стал что-то очень часто замечать меня "выпимшиш" то на вокзале, то на коммунальном мосту через Омь, то ещё где-то в общественных местах общего пользования. А учитывая ещё моё многосемейное по молодости лет положение, вдруг стал намекать на обсуждение моего морального состояния на ближайшем общем собрании. После всего этого мне ничего не оставалось, как сесть в такси голым (зимой) и проехаться по городу Омску (молва упорно приписывает мне газету "Правду", или, точнее, "с газетой в руках", но это чистый поклёп, ехал я без газеты, а просто так. Кстати, шофёром такси был мой друг Коля Морда, он бы мог это подтвердить). Итак – голый зимой в такси. Много так не накатаешься, и я уехал из города совсем в Читу, прихватив с собой красавицу жену скромного обкомовского работника-комсомольца. С его женой я в славном городе Чите морально исправился и перевос-

питался по отношению к женщинам, живу с нею и по сию пору! Аминь!

Историю эту я рассказал исключительно для того, чтобы вам было понятно, почему на обложке моей последней книги стихов "Год Быка" отпечатана картина Н. Третьякова "Похищение Европы", подаренная мне им в один из моих приездов в Омск из Читы» (Встреча. – С. 231–233).

Вильям уехал в чужие края, но зато никогда больше не зарабатывал рисованием поражённых язвой желудков и «наглядной агитацией» о неуклонном росте нашего благосостояния. (Только в тяжёлые перестроечные времена он однажды занялся не своим делом – стал помогать работающему по металлу скульптору: научился ковать, гнуть из металла цветы и листья, освоил сварку, делал всё с азартом и удовольствием.) Писал стихи и прозу, занимался журналистикой, выступал перед читателями, ездил в творческие командировки. И хоть действительно «за жизнь свою не накопил денег», но получал свои скромные рубли, занимаясь любимым делом, имел нормальные жилищные условия. В Омске всего этого наверняка бы не было...

Последнее письмо Вильяма было вложено в переданную мне Сергеем Поварцовым книжечку – «Белые сады» (Барнаул, 1996). Последнее прижизненное издание поэта выглядит скромным – всего-то тридцать шесть страниц. На титульном листе надпись: *«Саше Лейферу – старому другу по омской литературной богеме. Были и будем! Напиши о нас. Твой Виля Озолин. 26 июня 96. Барнаул».*

Письмо датировано тем же числом:

«Прости, но пишу коротко. Всё, что происходит в моей жизни, написал Серёже. Он даст тебе письмо посмотреть».

Эту книжечку – "визитную карточку" – я издал почти что на свой счёт с подачи инвалидного альманаха "Встреча". Тираж 400 экз., но ведь и у Ахматовой в 20-е годы боль-

ших тиражей не было, а пушкинский "Современник" выходил на всю Россию небольшим тиражом.

От тебя жду серьёзного анализа деятельности вашего СРП. Это мне пригодится для разговора с Солнцевым, которого надеюсь вскоре увидеть.

Моё же мнение: эпоха тех Союзов, идеологически здоровых, подчинённых местным "парткам", уходит в историю. Нужен Дом литераторов, в котором могли бы собираться писатели любых худ. направлений и убеждений. Так и властям легче помогать творческим людям <...>

...Ну – всё! Будь здоров, не пей, береги себя. Я теперь делаю это нечасто, только на дружеских посиделках.

Обнимаю.

Виля».

Сомнения мучили не только меня, но и Вильяма. А ведь ещё за четыре года до этого он записал в дневнике 28 октября 1991 года, вернувшись с учредительного съезда Союза российских писателей (от Омска там был Эдмунд Шик):

«С 21 по 27 был в Москве на учредительном съезде российских писателей. "Союз российских писателей" образован как альтернативный шовинистическому, реакционному СП РСФСР – прохановско-бондаревскому. В СРП почти все самые известные в стране писатели: Б. Окуджава, А. Вознесенский, В. Соколов, Е. Евтушенко и др. Во всяком случае, все мои друзья: Р. Солнцев, Р. Добровенский, М. Сергеев, Г. Граубин, И. Фоняков, да и все порядочные писатели и люди по всей стране. В этом-то и «соль» новой организации. Подонки, трусы – пусть пресмыкаются, как и прежде. Я лично ещё со времен знаменитого "письма 74-х писателей", которое не подписал, – решил, что с бондаревской «шовинистической» шайкой мне не по пути. Система, равная КПСС. А более сейчас и говорить не хочется» (Встреча. – С. 249).

Вили нет, и спорить, повторяю, не с кем.

Что целесообразней – СРП, Артель, Дом литераторов? Время покажет.

Скажу одно. Сейчас 2003 год. Десять лет назад мы начали собираться на первые собрания, 14 июля 1993-го зарегистрировали свою писательскую организацию. За эти десять лет в ней пока (тьфу-тьфу три раза!!!) не было ни одного более или менее серьёзного конфликта. Говорить за всех не могу, но лично я, провинциальный литератор Александр Лейфер, счастлив тем, что в нашей писательской организации окружён талантливыми людьми, единомышленниками, доброжелательно относящимися ко мне коллегами. С ними я общаюсь, работаю, радуюсь и печалюсь и не боюсь, что кто-то меня подсидит или предаст. Можно ли в наше неустойчивое время пожелать большего?..*

Всё. Папка, где хранились озолинские письма, пуста. Остались две совершенно одинаковые новогодние открытки: с 1997 годом – последним годом своей жизни – Виля по рассеянности поздравлял меня дважды. Тексты открыток, правда, чуть разнятся между собой, но печальная новость сообщена и в той, и в другой: Озолин «мотается» между двумя больницами – туберкулёзной и онкологической, что-то с лёгкими. И неизвестно, дома ли будет встречать Новый год.

И последнее доброе слово:

«Сашенька, спасибо за "Складчину-2"! Я её почти всю уже прочитал. Твои рассказы мне очень понравились: и написаны хорошо, и с такой теплотой. Молодец. Да и вообще много интересного. Особенно то, что касается истории, литературоведения <...>

...Привет всем, кто помнит. Мише Малиновскому. Обнимаю».

* О деятельности Омского отделения Союза российских писателей см.: Лейфер А., Малиновский М. «Мы должны научиться свободе...» // Знамя. – 2001. – № 10. – С. 210–215.

Я долго не решался дать в «Складчину» эти небольшие автобиографические рассказы*, мне всё казалось, что читателю они будут неинтересны. Но потом всё-таки осмелился. И вот такая оценка столь придиричливого критика, каким был Вильям...



*На фоне картины
Николая Третьякова
«Похищение Европы».
Один из последних снимков.
Барнаул, середина 1990-х гг.*

Спасибо, Вилия! Я не успел тебе сказать, что эти

так понравившиеся тебе рассказы – из книги, которую я хочу назвать «Богородская трава» и посвятить вырослившей меня простой русской женщине – моей бабушке по материнской линии Глафире Алексеевне Болотовой. Постараюсь дописать эту книжку и постараюсь сделать это так, чтобы тебе за меня, если б ты смог её прочитать, не стало бы стыдно.

Если бы можно было сейчас отправить тебе письмо, я бы написал в нём, что несколько месяцев осталось до того дня, когда и я разменяю свой седьмой десяток. И стану потом догонять твой возраст, а затем и тебя самого.

К сожалению, на меня не снизошла вера, что нечто есть и на другой стороне. Но даже те, кто верит, предполагают, что людские души, встречаясь Там, не узнают друг друга. Как это у Гейне – Лермонтова:

...но в мире новом друг друга они не узнали.

Никто не знает, сколько времени отпущено ему на этом свете, не знаю и я. Но уверен, что, сколько бы ни пришлось мне ещё находиться по эту сторону всего живого, я всегда буду вспоминать тебя, время от времени снимать с полок

* «Верить в душе: (Из семейных историй)» // Складчина-2. – Омск, 1996. – С. 358–371.

твои книжки, разговаривать о тебе с нашими общими, тоже стареющими друзьями.

Вот, собственно, и всё.

Омск, 2003 г.

Примечание 2013 года

Очерк «Мой Вильям» дважды выходил в Омске отдельной книжкой – в 2003-м и в 2006 годах. За прошедшие годы ушли из жизни друзья и соратники Вильяма Яновича, упоминающиеся на страницах очерка, – Ростислав Филиппов, Роман Солнцев, Георгий Граубин, Илья Фоняков, Михаил Малиновский. Но, кроме печальных событий, произошли и радостные. Одно из них дало мне повод написать эссе «Возвращение Вильяма Озолина». Речь идёт об установке в 2011 году на Аллее литераторов Памятного (закладного) камня, посвящённого поэту. Начат выпуск серии книг тех литераторов, которые подобным же образом увековечены на этой Аллее. Надеюсь, что в ближайшем будущем дойдёт очередь и до В. Озолина и впервые появится книга, на титульном листе которой будет значиться название его родного города (до сих пор сборники поэта выходили в Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Барнауле). Кстати, в Барнауле недавно издана книга избранных стихов «Фантазёр, гитарист, сочинитель». Удалось также перепечатать в альманахе «Складчина» неоднократно цитирующиеся в тексте «Моего Вильяма» дневниково-мемуарные «Записки протерпевшего» (№ 1(36) за июль 2011 г., № 2 (38) за август 2012 г. и № 1(39) за июль 2013 г.).



*Памятный камень,
установленный в Омске
на Аллее литераторов
(бульвар Л. Мартынова)
в 2011 году*

«НА ДОБРЫЙ ВСПОМИН»

Когда омским синоптикам в ноябре, декабре, январе, феврале, а иногда даже и в начале марта нужно припомнить самую низкую температуру, зафиксированную в наших краях за последние много-много лет, они вспоминают зиму 1968–1969 годов. И действительно – зима была жуткая, другой такой не припомню ни до, ни после. Морозы стояли с ноября по самый конец февраля, давили, не давая роздыха ни на один день. Декадами, а то и полумесяцами температура не поднималась выше сорока. При этом наблюдалось (какое неуместное в данном случае слово: не «наблюдалось», а «ощущалось»), ощущалось всем до души промёрзшим, слабым человеческим организмом невиданное в Сибири сочетание морозов и ветра. Обычно у нас во время сильных морозов ветра стихают, природа как бы жалеет несчастные, малоприспособленные к низким температурам человеческие существа, она украшает городские деревья невыносимой красоты куржаком, а сама стихает и молча наблюдает, как придавленные сорока, сорока двумя, а то и сорока пятью градусами люди всё-таки спешат куда-то по своим делам и всё-таки нет-нет да взглядывают из-за заиндеветых воротников – любуются на сказочное кружевное убранство зимних скверов. Ветра нет. Только едва заметно потягивает вдоль реки хиус – чисто сибирское природное явление. Это не ветер – вряд ли даже зажжённая спичка сильно от него поколеблется, это именно хиус – едва уловимое, но тем не менее неостановимое движение морозного воздуха вдоль речных берегов и на весьма недалёкое расстояние в сторону от них...

Какой там к чёрту хиус! Самый натуральный, причём довольно сильный ветер дул мне в лицо с Иртыша, когда я вечерами, возвращаясь в ту распроклятую зиму с работы, шёл от остановки до своего дома на Иртышской набережной. Ветер добавлял холода к «официальным» градусам, насквозь

пронизывал пальто, вгрызался в лицо, выдавливал слёзы, превращал в ледышки спрятанные в жалкие перчатки руки. Ветер, казалось, выдувал из тела не только тепло; добираясь до самых печёнок, он сводил на нет саму волю, само стремление ко всяческому сопротивлению этой безжалостной зимней стихии. До своего подъезда я каждый раз доплетался обессиленный и раздавленный.

И вот в самый разгар той ужасной зимы, в воскресный день, когда я сидел дома и радовался, что никуда сегодня не надо идти, вдруг раздался звонок: кто-то пришёл.

– К тебе!.. – сказали мне мои домашние.

В полумраке прихожей я не сразу узнал гостя. И не мудрено: поверх поднятого воротника небогатого пальтишка он был до самых глаз замотан шарфом. Всё заиндевело, и чувствовалось: замёрз человек до последней крайности.

– Сашенька, дорогой вы мой, я к вам. Извините, как говорится – незванный гость... Но ведь телефона-то у вас нет...

Говорил человек невнятно. Чувствовалось, что и губы у него свело морозом.

– Сашенька! Вы собирались на мою книжку рецензию писать, так вот, не надо, не трудитесь зря. Оказывается, рецензия уже написана, уже есть – Калашников написал.

– Калашников? – переспросил я, чтобы хоть что-то сказать. Наконец-то, я узнал гостя: это был Андрей Фёдорович Палашенков, с которым я познакомился примерно год назад.

– Калашников, Калашников. С вами же в «Омской правде» работает. Он вчера мне сам сказал...

Оказывается, он вышел на остановку раньше, так как точно не знал, где я живу, и никогда не бывал в нашем микрорайоне. Вокруг была огромная стройплощадка – кучи земли, котлованы, среди которых А.Ф. заблудился. И спросить-то не у кого – прохожих почти нет. Номера на домах ещё не проставлены...

Речь же шла о его книге «Памятники и памятные места Омска и Омской области», которую А.Ф. подарил мне ещё в августе. Вышла книга аж в прошлом году, и недавно, будучи у него в гостях и узнав, что на неё до сих пор так никто и не отозвался, я пообещал написать – в «Омскую правду», где тогда работал. Пообещал, но всё откладывал, всё находились какие-то другие, более, как мне тогда казалось, важные и нужные дела. А вот он, узнав, что писать мне

ничего уже не надо, сразу же, на другой же день, всё бросив, поехал об этом меня предупредить. Поехал, несмотря на свои восемьдесят два года и на то, что на улице сорок три с неслабым ветерком...

– Так я пойду, Саша...

Я чуть ли не за шиворот уже на лестничной площадке поймал Андрея Фёдоровича, затащил его обратно, раздел. Нам подали чай, бутерброды. После второго стакана А.Ф. вроде бы пришёл в себя, отогрелся. И сразу же стал пристально рассматривать книги.

Книг у меня тогда было ещё немного – только то, что вместил секретер. Но всё равно гость начал хвалить более чем скромную библиотеку:

– Знаете, что хорошо? Хорошо, что у вас нет собраний сочинений, а то все именно за ними гоняются – мода.

И он прочёл мне мини-лекцию о том, какой должна быть, по его мнению, библиотека у пишущего человека: библиотека-помощница, библиотека-инструмент. Справочники, словари, основная литература по профессионально интересующим темам – это костяк. И что-то для души – та-



кое, что не сегодня, так завтра потянет перечитать или просто подержать в руках.

И рассказал, что летом был проездом в Смоленск в Москве и купил прижизненного Пушкина. Точно сейчас не помню, что именно, кажется, какие-то отдельно изданные главы «Евгения Онегина». «Какое это наслаждение, Саша, просто подержать такого Пушкина в руках, просто погладить...»

Конечно, я тогда проводил Андрея Фёдоровича до остановки, усадил в автобус.

— Старой закалки человек, скоро таких совсем не будет, — сказала мне, когда я вернулся, жившая тогда у нас тётка жены — простая и мудрая женщина — Ольга Васильевна Белихова. — В такую морозину идти через весь город... И для чего? Чтоб предупредить: мол, лишнего из-за меня не работай, не беспокойся, всё, мол, уже сделано... Нет, это надо же!..

И, помолчав, спросила:

— А вот ты бы сам из-за этого вот так же пошёл бы?

Кажется, я предпочёл отмолчаться.

Есть среди многих десятков и сотен фондов, хранящихся в Государственном архиве Омской области, фонд № 2200 — бумаги учёного и литератора-краеведа, бывшего директора областного краеведческого музея Андрея Фёдоровича Палашенкова.

Фонд — слово в общем-то скучное, это специальный архивный термин, обозначающий комплекс документов, образовавшихся во время деятельности какого-либо учреждения или, как в данном случае, отдельного лица. Но иногда хочется узнать первоначальное значение того или иного названия. Часто бывает, что после этого привычное и маловыразительное слово как бы засветится изнутри новым, волнующим светом. И помогает в этом, конечно же, Владимир Даль —

поэт и хранитель русской речи. Даль переводит французское слово «фонд» как «основной истинник». И вот сколько сим-волики порой найдёшь в этом удивительном словаре: старое и забытое ныне слово «истинник» стоит в гнезде «истина» и обозначает «не мнимое оборотное или долговое богатство, а истинное, наличность».

Истинное богатство – именно эти слова и будут самыми точными, когда захочется определить личный фонд Андрея Фёдоровича Палашенкова да и вообще всё оставшееся для людей после его долгой и полной непрерывного труда жизни.

Он родился в 1886 году далеко от Сибири – на Смоленщине, в Сибирь же попал в середине тридцатых. Сознательная жизнь, таким образом, разделилась на два почти равных периода – смоленский и сибирский (умер Андрей Фёдорович в 1971 году). И поэтому, горячо полюбив наш край, неустанно работая для него, он всё же никогда не переставал любить и родную землю. Не случайно над его столом всегда висели карты двух областей – Смоленской и Омской...

Именно там, в небольшом селе Надва, где родился Палашенков, надо думать, и появился у него самый первоначальный интерес к народной поэзии и истории, который затем стал интересом всей жизни. Родители были бывшими крепостными крестьянами. Жители села хранили были и легенды о прошлом – о жизни при помещиках, о нашествии Наполеона. В округе было немало искусных сказочников и песенников. «Мать его, Агафья Гавриловна, была песенницей, сёстры – старшая Иулита, младшая Евдокия – тоже хорошо пели. Лучше пела младшая, а больше песен знала старшая – около двухсот песен. Позже от сестёр Андрей Фё-

дорович записал около ста песен». (Воспоминания И.С. Коровкина «А.Ф. Палашенков». Рукопись.)*

Семилетнего Андрея отдали в Надвинское земское училище. Затем он стал учиться дальше и в результате поступил в учительскую семинарию. Семинария была окончена в 1907 году, и молодой учитель получил назначение в земскую школу.

А.Ф. Палашенкову много раз везло на встречи с людьми. Одна из таких встреч оказала влияние на весь дальнейший путь. Инспектором народных училищ Смоленской губернии был в то время Владимир Николаевич Добровольский (1856–1920), видный учёный-этнограф, историк, лингвист, фольклорист. Это именно Добровольский убедительно посоветовал понравившемуся ему молодому педагогу начать сбор образцов устного народного творчества.

Деятельность в качестве сельского учителя разных школ Смоленщины продолжалась, но теперь она сопровождалась регулярным сбором фольклора, научной работой.

В 1965 году, то есть много лет спустя после описываемых событий, нашли друг друга пенсионер Палашенков и его бывший ученик – ленинградский профессор Фёдор Игнатьевич Быдин. Письма Ф.И. Быдина и черновик первого ответного письма – волнующие человеческие документы**.

«Глубокоуважаемый, дорогой мой первый учитель Андрей Фёдорович!» – начинает своё письмо в Омск Быдин. «Ваши строчки взволновали меня до слёз», – отвечает Палашенков бывшему ученику Челновской школы.

Приведём два отрывка, содержащих биографические сведения.

«Вы учили нас год или два, – пишет Быдин, – были, насколько помню, у нас дома... Очень уважали и любили Вас мои родители, братья и сёстры...»

* Хранится в архиве автора данной книги.

** Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 2200 (Палашенкова). Оп. 1. Д. 26. Св. 18. Листы не пронумерованы.

О дальнейшем узнаём из ответа Палашенкова:

«Славные революционно настроенные учительницы Быковской школы (В.Я. Гречишникова и Е.М. Воронец) предупредили меня, что мне нужно расстаться с Челновой. И вот я на Киевищине, на родине Т.Г. Шевченко, заведующим министерским 2-классным училищем. Организовал хороший хор, воскресную школу, народную библиотеку. Стряслось несчастье: заболело горло. Петь запретили. Сдал экзамены на уездного учителя. Работал в Выси. народ. учил., а затем в младших классах гимназии. Институт...»

На этом мы закончим цитирование письма, ибо об институте стоит сказать поподробней. Это был Московский археологический институт. Палашенков прослушал курс двух его факультетов – археографического и археологического. Основные дисциплины читали видные учёные – этнографы, историки, языковеды. Отечественную историю, например, – профессор Н.Н. Фирсов.

В 1918 году, сразу же после окончания института, Андрей Фёдорович получил назначение на родину – директором Смоленского музея. С тех пор музейное дело становится его профессией.

Первые годы советской власти. Это не только борьба с бандитизмом, голодом и разрухой. Это ещё и борьба за сохранение памятников отечественной культуры. Сотни дворянских усадеб оказались в те времена на Смоленщине (да и не только там) бесхозными, а в них порой находились ценности, стоимость которых исчислялась не просто в рублях. Это были произведения искусства, памятники духовной жизни.

В начале двадцатых годов благодаря его стараниям Смоленщина получила два новых мемориальных музея, посвящённых знаменитым землякам, – М.И. Глинке и Н.М. Пржевальскому.

Шли годы. Появлялись первые научные работы, росло количество записей народных песен, сказок, причитаний (к 1933 году таких записей было собрано свыше одиннадца-

ти тысяч). Немало сил отдавал тогда Андрей Фёдорович и охране памятников архитектуры, которыми так богат Смоленск и его окрестности.

Интересную подробность этих лет сообщает в своих неопубликованных воспоминаниях о Палашенкове его ученик, коллега и почитатель – краевед и фольклорист И.С. Коровкин: «Рассказывал он мне о встречах с М.М. Пришвиным. В первые годы Советской власти, когда Андрей Фёдорович был директором Смоленского музея, М.М. Пришвин работал агрономом. В Дорогобужском уезде без надзора оставалось здание в имении помещика Барышникова (здание находилось в ведении Смоленского музея), Андрей Фёдорович устроил Михаила Михайловича хранителем этого здания. Пришвин проработал в этой должности всего несколько месяцев».

Нас познакомила опять же книга. Её давно у меня нет, но хорошо её помню: в ладонь величиной, деревянный переплёт обтянут кожей. А главное – рукописный текст.

Книгу подарили мне в Костроме. Я привёз её в Омск и задумал разузнать о ней побольше, а потом написать. Вот пишу – чуть ли не сорок лет спустя. Кое-какие записи так и остались с тех пор.

Называлась книга «Цветник». Датирована она была странно – какими-то непонятными знаками. Тогда я ещё не знал, что это так называемый полуустав. Сделал запрос в Ленинку – нынешнюю Российскую государственную библиотеку. Ответ пришёл быстро:

«Мы предполагаем, что "Цветник" Д. Рябинкина, о котором Вы пишете, – рукописная книга и сказать что-либо об этой книге можно, только просмотрев её непосредственно. Возможно, что книга содержит тексты известные, возможно, что текст её оригинален. Для того, чтобы сказать,

относится ли указанная Вами дата (она расшифровывается как 1838 год) ко времени написания рукописи и можно ли прочесть текст, написанный красными чернилами, опять-таки нужно видеть книгу. О Рябинкине ничего сказать не можем, — часто свои имена на рукописях оставляют писцы или владельцы».

Этот ответ, написанный на бланке главной библиотеки страны, только раздражил меня. Вновь и вновь всматривался в трудночитаемые, полные поэзии, таинственные тексты «Цветника», рассказывающего, «как которая трава растёт на земле».

«...Есть трава именем Царь Архангел <...> у которой жены детей нет и тот корень топить в вине и дать попить, то будет детей иметь».

Другая травка (возле некоторых названий были кем-то явно позже приписаны их латинские наименования) рекомендовалась «от нечистого духа и чёрной болезни».

Ещё про одну траву говорилось: «А коли муж жены не любит, дать — станет любить».

«Есть трава одолен...»

«И та трава добра. От еретиков».

«Есть трава Петров Крест...»

«Есть трава попутник. Растёт по пути, что капуста, вверху — сторожек». Должно быть, речь тут идёт о подорожнике, так как рекомендуется эту траву «присыпать к ранам».

Пошёл с книжкой на кафедру русского языка пединститута. Там-то мне и порекомендовали обратиться к Палашенкову как к знатоку старой книги. И дали адрес: улица Успенского, 6, за тридцать седьмой школой.



Так я познакомился с Андреем Фёдоровичем. Он сказал, что скорее всего книжка переходила от одного коллекционера к другому, что она и в самом деле рукописная, а дата 1838 год – возможно, обозначает год последней переписки. Но самое интересное: дубовый, обтянутый телячьей кожей переплёт сделан в XVIII, а может быть, даже и в XVII веке. Это раритет, и мне очень с ним повезло. Вообще же традиция составления цветников и травников уходит в древнерусской литературе аж в XIV век.

В 1936 году Андрей Фёдорович оказался в Омске.

Омская область в то время была огромна – в неё входила ещё и территория нынешней Тюменской. Должно быть, такие размеры – от Казахстана до острова Белого в Карском море – поразили нового научного сотрудника Омского краеведческого музея. И он, будучи человеком жадным до всего нового, неизведанного, начал «осваивать» прежде всего Север.

Летом 1938 года Палашенков организовал экспедицию за Полярный круг, на полуостров Ямал. Он изучает быт ненцев, живущих по берегам реки Ныда, собирает экспонаты для музея, обследует мыс Ваули, связанный с именем национального героя народов Севера Ваули Пиеттомина, производит раскопки Полуйской стоянки, а возле Салехарда исследует мыс, где в 1593 году был заложен город.

Тогда же была совершена ещё одна интереснейшая экспедиция, к ней Палашенков привлёк омского художника Дмитрия Суслова и тобольских школьников. Объектом исследования стало место, где когда-то стоял город Искер, столица последнего хана Сибирского ханства – Кучума. Члены экспедиции сделали разрезы, сняли план городища, произвели обмеры. Экспедиция эта была весьма своевременна: Иртыш

постоянно подмывал высокий берег, на котором располагался город.

В самом начале семидесятых годов с помощью ветерана Омского краеведческого музея, многолетней хранительницы музейной библиотеки Нины Митрофановны Столповской (1912–2000), которая была другом Палашенкова и всячески поощряла мой интерес к его личности, я узнал московский адрес вдовы Дмитрия Степановича Суслова – Раисы Ивановны (1909–1989). И та сразу же согласилась мне помочь – сняла копии с писем А.Ф. к её мужу, хранившихся в семейном архиве, и с тех записей дневников Д.С. Суслова, которые касались Палашенкова (хранятся копии в моём архиве).

Начну цитирование с дневниковой записи, сделанной 8 июня 1938 года – по пути на Обской Север – на пароходе:

«До Большеречья часа 2 писал этюд с Анд. Фёд. Отвык работать, выходит неважно. Цвет неплох, а форму ещё не уловил, хотя он с ярко выявленными чертами лица. Затылок резко сдвинут взад вместе со всею верхнею частью лица. Нижняя челюсть выдаётся вперёд. Широкий прямой подбородок, конец носа – луковица, и добродушные открытые детские глаза».

А вот запись из дневника, сделанная уже в Искере 28 июня того же 1938 года:

«Анд. Фёд., а с ним Гоша, Ваня и Саша – ребята-семиклассники, наши помощники, бродят по краю обрыва, по оползням в поисках предметов быта, остатков построек татарской культуры. Кок нашего лагеря – Анд. Фёд., вечный скиталец и бродяга, обладатель неиссякаемой любви к жизни, людям и природе, должен был творить чудеса, чтоб прокормить молодёжь, успокоить и заставить работать. Ра-

ботали много и быстро. Самое опасное и тяжёлое – обмеры. Инструментов геодезических нет, да если бы и были, то оказались (бы) бесполезными. Мы не спецы обращаться с ними. Выручили мужичья народная смётка и сноровка, приобретённые Андр. Фёд. и мной с детства.

Ещё трудней обмер к Иртышу. Местами отвесные высокие обрывы совершенно неприступны. А по ним надо было пройти. Лазили я, Саша и Ваня. Они босиком.

Нельзя не посвятить несколько отдельных строк Андрею Фёд.

Поехав из Тобольска, он обул сапоги, уже в городе оскалившие зубы. В первые же дни шатаний по сопкам сапоги развалились окончательно, подмётки отлетели. Смысл дальше носить их отпал, и Андр. Фёд. пошёл босиком. Чтоб привести свой облик в полное равновесие, он сбросил ремень, распустил чёрную старую рубашку, из-под которой выглядывала на вершок белая, постельная. Брюки на коленях дырявые. Обросший, чёрный от ветров и солнца, ходил чуть-чуть согнувшись, улыбаясь по-детски и бормоча: "Хороша жизнь! Вот так бы настоящим босяком остаться здесь на всё лето! Или побыть бы бакенщиком, а то забраться в урман, подальше, ну хотя бы в Сузгунский район. Люблю жизнь, люблю природу и больше всего люблю крестьян".

Я ему верю. Он странный человек. Имеет высшее образование, прекрасный знаток русской истории, особенно ранней эпохи. Неустанный и неутомимый работник, довольствуется самым малым. Ему была бы возможность заняться любимым делом – копаться в старине, и больше ничего не надо. Выходец из крестьян, с детства приученный к труду, сам пробил себе дорогу ещё в трудное дореволюционное время. Он знает русский народ, его обычаи и быт, нужды и запросы. К. Федин правильно охарактеризовал его, назвав "собирателем земли смоленской". Сейчас он собирает тобольскую и всея сибирские земли».

Самое первое из скопированных для меня Р.И. Сусловой писем Палашенкова её мужу датировано 12 января 1939 года и отослано в Омск из Смоленска, куда, судя по всему, А.Ф. приезжал тогда в отпуск. Письмо интересно не только биографическими подробностями, но и тем, что приоткрывает внутренний мир автора.

«Рад, безмерно рад был Вашему письму, дорогой Дмитрий Степанович. Немногие строчки напомнили о многих счастливых днях минувшего года. Вспомнились зимние вечера, когда, сидя за столом, мы с детским увлечением обсуждали план нашей поездки в Тобольск, на Искер и в «полуночный край».

...Вспомнился и уснувший под покровом столетий Искер. С необъятными горизонтами и рассыпанными юртами в заречной стороне... Счастливое время: дни казались часами. Работа была нашей радостью и счастьем.

Есть о чём вспомнить. Но нужно удержаться себя от этого удовольствия. И скованного сейчас морозами Севера будить не буду. При встрече, в воспоминаниях наших растает лёд его.

Живу в Смоленске, в семье старшего брата; здесь имеется постоянно забронированная (за мной) великолепная комната с сосредоточенной в ней библиотекой, роялем и фисгармонией. Окружён заботой и любовью. Набросился на книжки. Правда, не столько читаю, сколько перелистываю любимые. Всё же кое-что и прочитал. Вчера вот, например, пробежал по страницам "Княгини Натальи Долгорукой" (берёзовская узница XVIII в.), "Детей декабристов" (рассказ из Ялutorовской ссылки). Временами сажусь за рояль или фисгармонию, но обычно музыка моя продолжается 5–10 минут. Играю ведь я только народные песни – песни наших Марфуш, Настёнок, о которых часто-часто вспоминаю.

Посещаю отца и сестру, которые живут на окраине го-

рода, многих друзей посетил, погостил у сестры и матери бывшей жены, с которыми у меня отношения самые лучшие. Посещаю кино. В театре пока не был. Несколько дней занимался подбором текста для издаваемого ГИЗом альбома худ. Мушкетова "История Смоленска в картинах".

Пединститут предлагает работу организационного характера. Отказываюсь. Привык я бродяжничать, жажду больших просторов. В этом отношении Зауралье незаменимо. Поработаю в Омском музее. Начатое надлежит кончить, а там видно будет. <...>

Р. С. Зная Ваше, Д.С., тяготение к истории, пишу на бумаге конца XVIII века.

А.П.»

Среди скопированных и присланных мне Р.И. Сусловой писем Палашенкова есть письмо, датированное 9 августа 1942 года и посланное из Омска на фронт. Дмитрий Суслов воевал, а его семья эвакуировалась из Москвы к родственникам в Омск:

«Дорогой мой Дмитрий Степанович!

Пишу в библиотеке музея. Минуток десять тому назад пришёл Костя. Попросил дать ему журналов с картинками и песнями. Ниночка подобрала, и вот он засел за стол, внимательно смотрит. Это не первый раз. Он частенько заходит ко мне. Поговорим, повспоминаем поездку на Север, посмотрит картинки и уходит. Выглядит он хорошо, загорел, возмужал, степенно рассуждает. Вчера наколол себе ногу, немного похрамывает. Ходит в магазин за хлебом и таким образом помогает в хозяйстве...»

Мог ли я знать, читая в 1980 году эти строки, рассказывающие о сыне Сусловых – десятилетнем мальчике Косте,

что много лет спустя, летом 1996-го, вдруг вынул из почтового ящика письмо, в неизвестном московском адресе которого будет значиться – Суслову Константину Дмитриевичу:

«Прошу не удивляться письму от совершенно незнакомого Вам человека – бывшего омича, уехавшего из города ровно 50 лет назад четырнадцатилетним подростком. Перечитывая весной этого года Вашу книжечку «Удивительная библиотека» (Омск, 1989), я вдруг обнаружил, что в 1996 году исполняется 110 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича Палашенкова и одновременно – четверть века, как перестало биться сердце этого удивительного человека. Так как я познакомился с А.Ф. ещё ребёнком, в 1936 году, и знал его все 35 лет до его кончины в 1971 году, то и решил написать Вам несколько страничек об этом скромном, обаятельном, высокообразованном человеке.

Дело в том, что мой отец – Суслов Дмитрий Степанович (1907–1964) был, пожалуй, одним из самых близких, если не самым близким, другом А.Ф. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, этих двух людей связывала многолетняя творческая дружба, основанная на огромном взаимном уважении и любви к истории своей Родины. Не могу сказать точно, как происходило их знакомство и сближение в середине 30-х годов, но знаю, что после окончания Омского художественного техникума (1932 г.) отец работал сначала преподавателем в техникуме, а затем – с 1936 года – председателем правления омского товарищества "Художник". Уже в это время они с А.Ф. в летнее время совершали поездки под г. Тобольск, где занимались поисками и раскопками стоянки хана Кучума и розыском места гибели Ермака. Материалы об этих исследованиях были напечатаны в каких-то сибирских журналах и попадались мне на глаза в последующие годы.

В 1937 (или, возможно, в 1938 году) они предприняли длительную поездку в г. Салехард и на Обскую губу, куда

отец взял и меня. Впечатления от этой экспедиции остались у меня, шестилетнего мальчика, на всю жизнь. Запомнились белые ночи в Заполярье и красота Иртыша и Оби, особенно в месте слияния этих двух великих рек, а также тучи мошкары, буквально отравлявшей наше существование. От неё не спасал ни огромный плащ, в который меня закутывали, ни дым костра. Мошкара лезла во все щели и падала слоём в кружку с горячим чаем, так что не только сидеть, но и питаться нормально было очень трудно.

Во время последующих довоенных и послевоенных встреч они со свойственным им юмором вспоминали, как уже собирались отдавать Богу душу, когда сильный шторм, разразившийся в Обской губе, более трёх суток трепал маленький почтовый катер, на котором они отправились обследовать отдельные населённые пункты ненцев.

Их большая дружба не прерывалась и после того, как в 1940 году отца избрали зам. председателя правления товарищества "Всекохудожник", и мы всей семьёй переехали в Москву. С началом войны отец ушёл на фронт, а мы с матерью и совсем маленькой сестрёнкой вернулись в Омск и всю войну прожили на улице Чкалова.

В эти годы я уже самостоятельно несколько раз приходил к А.Ф. в Омский музей, и он с присущим ему тактом посвящал меня, мальчишку, в тайны истории Сибири и города Омска, знакомил с обычаями, образом жизни и характером народностей, населявших Сибирь.

Эти и последующие послевоенные встречи в Москве, куда мы окончательно перебрались в 1946 году, навсегда остались в моей памяти.

А.Ф. тяжело переживал смерть моего отца в декабре 1964 года и весной 1965 или 1966-го привёз и посадил на его могиле сибирскую берёзку, которая за эти 30 лет выросла в стройное дерево и в настоящее время украшает могилу отца и служит напоминанием о дружбе и взаимном уважении двух замечательных людей.

Теперь самое важное, о чём мне хотелось бы сообщить Вам в этом письме. Может быть, я и не открою чего-то нового для Вас, т. к., судя по воспоминаниям об А.Ф., Вы часто встречались с ним и были его учеником. Но всё же мне хотелось бы узнать, делился ли когда-нибудь А.Ф. с Вами воспоминаниями о том, как он, сотрудник Смоленского музея, в середине 30-х годов почти в пятидесятилетнем возрасте оказался в Омске? Из отрывочных высказываний и отдельных реплик при встречах в 50-е годы я отчётливо помню, что А.Ф. оказался в Омске после нескольких лет пребывания под городом Томском. А там он жил, по-видимому, не по своей воле, так как в конце 20-х годов попал в Смоленске в немилость со стороны местных властей. Как отложилось в памяти, всё дело заключалось в том, что местным органам НКВД и милиции г. Смоленска понадобилось строить новое здание управления (милиции, НКВД или даже тюрьмы – ?). Так как в это время ощущалась острая нехватка строительных материалов, то власти не нашли лучшего решения, как дать команду разбирать стены знаменитого Смоленского кремля и из его кирпича строить новое административное здание.

А.Ф., очень глубоко обеспокоенный такими действиями, начал протестовать, за что и поплатился и должностью, и жильем, а может быть, и свободой.

...Мне кажется, что сам факт поселения А.Ф. в Омске, его некоторая замкнутость, в определённой степени нерешительность и повышенная чувствительность к грубости являлись следствием тех серьёзных нравственных переживаний, которые выпали на его долю в те далёкие теперь уже годы.

Тем большей памяти заслуживает этот добрейший человек в сердцах всех, кто его знал.

Материалы о моём отце, вероятно, хранились у Андрея Фёдоровича в его архиве, возможно, что-то передано в Омский музей. Если же за давностью лет всё утеряно, то при необходимости я смогу переслать в Омск каталог посмертной выставки произведений отца (1966), где собраны и воспоминания художников, когда-то близко знавших его.

...Можно было бы вспомнить очень многое из жизни знакомых художников в Омске, но это уже другая тема.

Всего доброго.

Ваш Константин Суслов.

20.VII.96 г.»

О «немилости» смоленских властей по отношению к Палашенкову ниже будет сказано особо. Что же касается истории со строительством в Смоленске «административного здания», то она представляется весьма правдоподобной. За аналогичным примером далеко ходить не надо: наш многоуважаемый «Серый дом», во-первых, надстроен над Архирейским домом, а во-вторых, – говорят, на его строительство пытались пустить материал с разрушенного по соседству в 1935 году Успенского кафедрального собора, который сейчас с таким шумом восстанавливают.

О пребывании А.Ф. под Томском ничего не слышал. Вообще расспрашивать его о подробностях его перемещения с родной Смоленщины в наши края я при встречах как-то не решался...

В 1939 году Палашенков возглавляет ещё более трудную экспедицию – по рекам Северной Сосьве и Ляпину. От Берёзова до восточных склонов Урала плыли на лодках, преодолев расстояние свыше шестисот километров (как после этого назовёшь работу научного сотрудника музея кабинетной?). В результате археологической разведки было открыто двадцать четыре городища и древних поселения. Особенно ценный материал дали раскопки Ляпинской крепости (XVI век). Позднее (в 1963-м) Палашенков написал об этом небольшую статью «Ляпинская крепость».

Нельзя не сказать ещё об одной важной работе Андрея Фёдоровича, относящейся к предвоенному периоду. Десятки тысяч туристов посещают сейчас архитектурную жемчужину Сибири – древний Тобольск. Его кремль является единственным на всей территории от Урала до Тихого океана. Но мало кто знает, что работа по спасению кремля, по приведению его в порядок была начата именно Палашенковым.

По поручению Омского облисполкома он в течение 1938–1940 годов производит детальное описание кремля – стен, башен, всех расположенных на его территории строений. А надо сказать, что в то время всё это находилось в запустении. Был обследован и описан также ряд полузабытых могил на тобольском Завальном кладбище – декабристов Муравьёва, Вольфа, Башмакова, Барятинского, Кюхельбекера, историка Словцова, автора «Конька-Горбунка» Ершова, художника Знаменского, украинского поэта Грабовского. Были описаны также дом декабриста Фонвизина и памятник Ермаку. Обмеры, планы, описания, фотографии составили три обширных тома. Облисполком представил эти материалы в Совнарком РСФСР.

За неделю до начала войны в «Известиях» появилось сообщение:

«Кремль в городе Тобольске (Омская область), создававшийся в конце XVII и начале XVIII веков, принят два года назад вместе со всеми его сооружениями на централизованную государственную охрану. По инициативе Омского городского Совета и областного краеведческого музея решено реставрировать этот ценный памятник старинного русского зодчества.

Вчера в Академии архитектуры СССР под председательством академика архитектуры И.В. Рыльского состоялось заседание отдела охраны памятников Управления по делам искусств при СНК РСФСР. Обсуждался проект реставрации Тобольского кремля. Доклад, сделанный директором областного музея А.П. Петровской, подвергся обстоятельному

обсуждению. Выступавшие отмечали ценную инициативу местных организаций, проявивших большую заботу о памятнике.

Реставрационные работы рассчитаны на несколько лет. Будут восстановлены Успенско-Софийский собор кремля – одно из первых каменных зданий в Сибири, стены и башни, замечательный архитектурный ансамбль "менового двора", так называемая "шведская палата", дом декабриста Фонвизина, памятники над могилами декабристов и проч.

К подготовительным работам намечено приступить в этом году»*.

Конечно, всему этому помешала война. Грандиозным планам восстановления Тобольского кремля суждено было осуществиться гораздо позже. Но начало было положено именно тогда и положено именно неназванным в московской газете скромным музейным сотрудником Палашенковым. Вспомним об этом, когда будем любоваться белоснежным Тобольским кремлём – сейчас отреставрированным и нарядным...

Небольшая книжка – А.Ф. Палашенков, «Основание Омска». На ней стоит гриф: «Омский областной краеведческий музей». И не было бы ничего особо необычного в том, что музей издал эту книжку – ведь он и призван распространять знания. Но обратите внимание на дату издания, и вы другими глазами взглянете на эту скромную брошюру – 1944 год.



* Известия. – 1941. – 14 июня.

Музей работал всю войну. Сам этот факт, должно быть, говорил посетителям того времени немало. Где-то далеко на западе – под Москвой и Ленинградом, на волжских берегах и под Курском – в крови и грохоте решается судьба страны, судьба миллионов людей, а здесь – строгая музейная тишина, стенды, экспонаты... Значит, сильна и непобедима держава, если в тяжелейшее время она находит возможность заботиться о сохранении свидетельств своей истории.

Только за первые три военных года музей посетили триста тысяч человек.

Доныне хранится в музее общая тетрадь, на обложке которой написано: «Тетрадь для записи дневных работ ст. научного работника А.Ф. Палашенкова». Андрей Фёдорович, сотрудник, а с 1943 года – директор музея, скрупулёзно вёл записи для самого себя, для собственной памяти. Но даты, стоящие на обложке, опять же делают скромную тетрадку одним из неповторимых документов времени: «1941–1943».

Вот содержание некоторых записей.

1941 год. 26 июня состоялось собрание научных работников музея по вопросу организации выставки «Великая Отечественная война советского народа». 22 июля – выставка открыта. 13 сентября – выставка перенесена в помещение драматического театра.

Запись от 3 мая 1942 года:

«После того, как в музей поступили трофеи, взятые на Ленинградском фронте, в музей стал большой наплыв посетителей». (В иные дни на выставку приходило до трёх тысяч человек. – А.Л.)

Более поздняя запись:

«Тов. Косенко Апполинария Ив. (жена погибшего под Сталинградом полковника) подала заявление о принятии её сотрудником музея по сбору материалов по Великой Отечественной войне. Работать тов. Косенко соглашается без оплаты содержания».

Надо ли комментировать такое?..

История грозна и поэтична одновременно. В XIII веке Александр Невский предупредил многие поколения наших врагов, сказав свои знаменитые слова: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». В том же веке его сын Дмитрий разгромил ливонских рыцарей и как символ победы вывез из Дерпта в Новгород знаменитые Сигтунские ворота, весящие более тонны. Захватив в 1941 году Новгород, гитлеровцы судорожно искали эту реликвию, но они напрасно тратили время: ворота были эвакуированы в Омск и стояли во дворе музея под специально построенным навесом. Сейчас этим шедевром древнего искусства по-прежнему любуются тысячи посетителей новгородской Софии.

Музей принял у себя и бережно сохранил не только новгородские сокровища. В военные годы здесь были сосредоточены коллекции Государственного Исторического, Вологодского и Воронежского музеев.

Несмотря на стеснённость помещения, музей продолжал работать. Как бы назло врагу, мечтавшему уничтожить не только нашу государственность, но и нашу культуру, музей отмечает различные юбилейные даты, ведёт учёт исторических памятников – то есть делает обычную, текущую, мирную работу. Судя по записям А.Ф. Палашенкова, он то идёт к строителям, раскопавшим на улице Потанина кости, похожие на кости мамонта, то вместе с секретарём Кировского райкома партии осматривает места, связанные с антиколчаковским Куломзинским восстанием 22 декабря 1918 года, то проводит беседу с домохозяйками по месту жительства.

Из Тобольска пришла тревожная телеграмма: собираются разбирать на дрова дом, в котором жил автор знаменитого «Конька-Горбунка» Пётр Петрович Ершов. Срочно выезжает туда и вовремя: успели сломать только крыльцо.

В письме к Д. Суслову, написанному 3 мая 1944 года на пароходе, шедшем из Тобольска в Омск, об этом говорится так:

«...В Тобольске был месяц. Выезжал в связи с отпуском средств на поддержание памятников старины, а также спасти дом, в котором жил Ершов. Тобольки решили его снести и уже в этом отношении кое-что предприняли. Остановил ретивых горкомхозовцев. Составил смету на его восстановление – 47 000 руб. Жил в музее...

Посетил Чувашский мыс. Нашёл череп одного из участников сечи. Везу в Омск».

Адрес Суслова на конверте: полевая почта 26081-Б.

Андрей Фёдорович вряд ли думал, что совершает что-то выдающееся, героическое. Он просто работал, делал своё обычное дело. Но именно в этой обыденности видится нам сегодня глубоко осознанное этим человеком высокое призвание музейного работника, чутко чувствующего историзм своего времени.

После войны немало сил уходило на ремонт здания музея, на новую инвентаризацию фондов, на создание новых отделов – культуры, сельскохозяйственного, местной промышленности. Но у директора Палашенкова были и главные, если так можно выразиться, генеральные направления работы. Вот их результаты.

1950 год. Открыт в качестве филиала музея мемориальный музей сибирского садовода П.С. Комиссарова (в сорока километрах от Омска). Для нового музея построено специальное помещение. На могиле П.С. Комиссарова установлен памятник.

1952 год. В связи со 150-летием со дня смерти А.Н. Радищева в сёлах Копьёво и Артын начата работа по увековечению его памяти: в Артыне установлена мемориальная доска, в Копьёво заложен памятник.

1953 год. Открыт ещё один филиал на станции Марьяновка – на месте боя омских красногвардейцев с мятежными

белочехами (1918). Построено специальное здание, развернута экспозиция.

1957 год. По инициативе Палашенкова пятнадцатикилометровый участок старого Московско-Сибирского тракта от центральной усадьбы Копьёвского совхоза до границы с Новосибирской областью решением облисполкома объявлен заповедным.

А.Ф. Палашенков известен многим и как активный член Омского отдела Географического общества СССР. Много лет он бессменно являлся заместителем председателя отдела. Но не все знают, какую важную организационную роль сыграл он в возобновлении после войны деятельности отдела.

В неопубликованной «Автобиографии» читаем:

«Будучи в 1947 году (как директор музея) делегатом на Втором Всесоюзном географическом съезде, мной был поставлен вопрос перед председателем Географического общества академиком Л.С. Бергом о возрождении Западно-Сибирского отдела Географического общества. Он был обрадован постановкой вопроса и дал нужные указания для оформления возрождения отдела. По возвращении в Омск был создан оргкомитет, и Западно-Сибирский отдел под именем Омского возродили к жизни».

Позже А.Ф. Палашенков стал первым лауреатом премии имени М.В. Певцова, учреждённой Омским отделом Географического общества.

По его мнению, слово «служба» отнюдь не было близким к однокоренному торжественному слову-понятию «служение», наоборот: служба, считал А.Ф., – это нечто нудное, добровольно-обязательное. Святым для него было слово «работа», оно ассоциировалось с чем-то подвижническим,

захватывающим, увлекательным. Начитавшись моих неспелых опусов в «Омской правде», где я тогда работал (или служил – ?), он несколько раз говорил мне:

– Завидую вам, Саша, по-хорошему завидую! Вы с молодых ногтей, с самых первых своих трудовых шагов работаете, именно работаете, а не служите. И делаете это с удовольствием, я же вижу...

Я было пытался сказать А.Ф., что зря он так романтизирует производственную деятельность газетной редакции, что и там всякой нудоты и обязаловки хватает. Но мои доводы Андрея Фёдоровича не убеждали:

– Нет, Сашенька, всё равно – цените свою работу, цените. Ведь вы же получаете удовольствие, удовлетворение от того, что пишете, особенно тогда, когда хорошо выходит? Получаете! А плюс ко всему вам за это ещё и зарплату платят! Ну, разве не здорово?!

(Особенно, в скобках замечу, я и не спорил: атмосфера у нас в редакции была действительно замечательная. И вообще – жил я тогда, как в тумане: писал по ночам, строил планы, радовался каждой публикации. Рядом были яркие творческие люди – Елена Злотина, Михаил Сильванович, Геннадий Гаврилов, Михаил Малиновский. Всё получалось, всё было интересно. И уж точно: похвала на летучке радовала меня в десять раз больше, чем аккуратно выплачиваемые аванс и получка.)

– А вот я, – продолжал Андрей Фёдорович, – только и начал работать, как на пенсию вышел. А то всё служил, всё собрания-заседания какие-то были, отчёты, справки, приказы...

На пенсию А.Ф. вышел в 1957 году. Вышел... и продолжал работать. Многочисленные и хлопотливые обязанности

директора музея больше не отвлекали от науки и творчества, и он был безмерно рад этому. Вот как сам Палашенков описывает свой образ жизни этого периода:

«Вышел на пенсию с тем, чтобы развязаться от службы и заняться только работой... Исхлопотал для Отдела (то есть для Омского отдела Географического общества СССР. – А.Л.) автомашину ГАЗ-51 и целое лето путешествую по Прииртышью. Сделал несколько дальних поездок – на Иссык-Куль, поклонился могиле великого соотечественника и земляка Н. Пржевальского; в прошлом году взбирался на снежные вершины Алтая. Зиму сижу в Омске, а в начале апреля еду месяца на два в Москву, Смоленск, Ленинград. Люблю я Ваш город (Ленинград. – А.Л.), Москву не люблю. Несколько раз мне предлагали работу в Москве – отказался. Родные улицы Смоленска, дороги и тропки Смоленщины, которые топтал резвыми ногами, мне особенно дороги...

Привык к Сибири, к её просторам, многоводным рекам, к горячему солнцу...

Зимой немного пишу, читаю, упорядочиваю собранную коллекцию портретов государственных и политич. деятелей, деятелей науки, искусства и т. д.» (черновик письма Ф.И. Быдину, ноябрь 1965 года)*.

Омск дважды отмечал юбилеи Палашенкова: семидесятилетие – в 1956 году и восьмидесятилетие – в 1966-м. По своей давней привычке уважительно относиться ко всякой бумаге Андрей Фёдорович сохранил все юбилейные материалы: грамоты, письма, многочисленные телеграммы... В числе последних – две телеграммы от замечательного прозаика И.С. Соколова-Микитова:

* ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 269. Св. 18. Листы не пронумерованы.

«Поздравляю вас дорогой Андрей Фёдорович днём вашего семидесятилетия дивлюсь вашему подвижничеству глубокой преданности любимому делу родной земле и старине. Дружески вас обнимаю» (Карачарово, 1956 год).

«Сердечно поздравляю дорогого земляка подвижника земли русской желаю главного человеческого жизни покоя здоровья» (Ленинград, 1966 год).

Есть телеграмма и от М.В. Исаковского: «Дорогой Андрей Фёдорович в день вашего семидесятилетия от всей души приветствую и поздравляю вас. Желаю вам здоровья и новых больших успехов в работе, которую вы неустанно ведёте вот уже пятьдесят лет. Крепко жму вашу руку» (Москва, 1956 год).

Оба писателя были давними друзьями Палашенкова.

Доклад на последнем юбилее (25 декабря 1966 года) делал товарищ и коллега – учёный, старый музейный работник Сергей Романович Лаптев.

Приведём из обширного текста доклада лишь два абзаца, которые в комментировании не нуждаются:

«Вспоминая свою почти двадцатилетнюю дружбу с Андреем Фёдоровичем, частые, почти ежедневные встречи, сравнивая прежнего и настоящего Андрея Фёдоровича, я не замечаю в нём каких-либо заметных перемен ни в его внешнем виде, ни в душевном складе.

Как он был скромным, требовательным к своим работам, увлекающимся, преданным своей науке, неистовым в своих мечтах, таков он и сейчас. Научная честность и требовательность сочетаются в нём с поэтически настроенной душой, лирической, а иногда сентиментальной душой поэта».

Извлечём также из доклада С.Р. Лаптева любопытную цифру, дополняющую рассказ пенсионера Палашенкова о своих путешествиях. Лаптев подсчитал, что за первые десять лет жизни на пенсии Андрей Фёдорович только по территории Омской области проехал свыше сорока тысяч киломе-

тров. А кроме поездок в Пржевальск и на Алтай, в докладе упоминается путешествие в Павлодарскую область – на место Ямышевского лагеря основателя Омска полковника И.Д. Бухольца.

Одну из поездок по области описал в своей неопубликованной рукописи «А.Ф. Палашенков» Иван Семёнович Коровкин. Приводим это описание в несколько сокращённом виде:

«В июле 1962 года мне посчастливилось вместе с А.Ф. Палашенковым и С.Р. Лаптевым совершить поездку по Любинскому и Называевскому районам. Учёные приехали ко мне в Больше-Могильное 17 июля после обеда на машине Омского отдела Географического общества. Начался оживлённый разговор о том, куда поедem, об истории села Больше-Могильное, о прошлых поездках этих двух энтузиастов...

После обеда сфотографировались и поехали. Ночевать остановились недалеко от соседнего с Больше-Могильным посёлка Северного, у опушки леса. Разожгли костёр, пили чай, Сергей Романович и Григорий Акимович



С И.С. Коровкиным

(водитель автомашины. – А.Л.) улеглись спать, а мы с Андреем Фёдоровичем долго разговаривали у костра. Он рассказывал о М.И. Погодине (давний друг Палашенкова, известный этнограф, внук историка и писателя М.П. Погодина. – А.Л.), о его жене Марии Андреевне, художни-

це... Рассказывал о М.В. Исаковском, об И.С. Соколове-Микитове...

А как образно, ярко рассказывал Андрей Фёдорович о войне 1812 года, о Кутузове и Наполеоне, о русской и французской армиях! Будто перед тобою стояли солдаты, и хотелось протянуть руку и потрогать их обмундирование, которое так живо описывал Андрей Фёдорович.

Утром мы с ним встали рано, в семь часов. Пока я занимался физзарядкой, он разжёл костёр, рассматривал открытки "Поле Бородинского сражения", купленные в Любино. Рассказывал о поездках с С.Р. Лаптевым по районам Омской области, которые стали совершать с 1956... В Саргатском районе в 1961 году знакомились с революционным прошлым района, нашли могилу борцов революции, собирали сведения о Героях Советского Союза...

Едем в деревню Лыжино, где многие годы жил и умер Фёдор Егорович Михайлов, служивший кочегаром на легендарном крейсере "Варяг". Беседуем с родными героя. Фёдор Егорович служил на "Варяге" со дня его спуска на воду и до гибели крейсера...

...В доме сына героя висел большой портрет Фёдора Егоровича работы омского художника Козлова. С.Р. Лаптев сфотографировал его. Мы рассматривали боевые награды Фёдора Егоровича – крест и две медали...

Пошли на кладбище к могиле Ф.Е. Михайлова...

В Называевске познакомились с экспонатами будущего районного музея, с братской могилой. Оттуда – в Любино. Сделали привал неподалёку от центральной усадьбы Черемновского совхоза. Разожгли костёр...

За чаем опять интереснейшие рассказы Андрея Фёдоровича, которые затем продолжались почти всю дорогу до самого Омска...

Рассказывал, как в 1962 году в Семипалатинске ремонтировали дом, где жил Фёдор Михайлович Достоевский. Сломали всё уличное украшение дома, оторвали ставни

и всё это выбросили... "Зачем же вы это выбросили?" – спросил Андрей Фёдорович человека, который ломал... "А мы лучше сделаем", – ответил тот. Одну половину ставни Андрей Фёдорович привёз домой, потом показывал мне. "Некоторые не чувствуют аромата прошлого, – говорил учёный, – надо их приучить тонко воспринимать историю".

Вспоминал, в каком запустении до войны находилась могила художника М.С. Знаменского в Тобольске...

После вмешательства Андрея Фёдоровича могила была огорожена, приведена в порядок».

«Отчитывался» А.Ф. о своих поездках этого времени и в своих письмах к старому другу Д.С. Суслову:

«Мой дорогой, милый Дмитрий Степанович! Я не знаю, как благодарить Вас за память, за добрые чувства. Ваше письмо получил за 40 минут до отъезда на Алтай. Давненько мечтал посетить хоть некоторые места его. И вот сейчас в Колывани. По дороге (в машине Геогр. об-ва) проехал Павлодар, Семипалатинск, Змеиногорск и ряд сёл. Предыдущую ночь проводил на берегу озера Савушкинского, которое опоясано грандиозными гранитными замками, черепахами и др., вышедшими из земли чудовищами.

Приятно сидеть на таком берегу и пить чай с кусочком ржаного хлеба, смотреть на бегущие волны и вспоминать знакомых, друзей. Поверьте, мой родной: Вы часто передо мной.

Как мне хочется, чтобы на будущее лето Вы присоединились бы ко мне. Отдохнёте и укрепите свои силы среди природы, на солнце, под звёздами...

С 10-го июня я совершил 6 поездок по Прииртышью. Вы, мой милый, незабываемый, не обижайтесь за молчание. Как перейду на оседлость, – напишу по вопросам, Вас интересующим».

Это письмо, датированное августом 1964 года, – одно из последних. Следующего лета у Дмитрия Степановича Сулова уже не было: в самом конце декабря этого же года он скончался в возрасте пятидесяти семи лет.

Долгие годы мечтал Андрей Фёдорович, что в Омске откроется музей великого русского писателя Фёдора Достоевского, предпринимал попытки добиться чего-либо конкретного в решении этого вопроса, привлекал других энтузиастов. Специально исследовавшая историю существующего ныне Омского государственного Литературного музея имени Ф.М. Достоевского Юлия Зародова, оперируя документами, сообщает, что занялся этим Палашенков ещё в годы войны*. Он ходил к начальству, лично составил первый тематико-экспозиционный план музея, пытался добиться помещения, искал экспонаты, лично обратился к Вс. Иванову, Л. Мартынову, С. Маркову, Л. Сейфуллиной с просьбой прислать соответствующие материалы.

Уже за год с небольшим до смерти, неизлечимо больной, он писал З.Г. Фурцевой – тогдашней заведующей Семипалатинским музеем Ф.М. Достоевского:

«Мне не хотелось ложиться на больничную кровать – приятели настояли. Может быть, это и неплохо. Жалею, что состояние здоровья не позволило продвинуть вопрос об организации в Омске музея Ф.М. Достоевского. В крепости сохранился каменный дом коменданта Омской крепости, в котором бывал Ф.М. Достоевский. Я вот на него претендую. (На месте острога – новый дом.)

Очень хотелось бы увековечить в Омске великого писателя».

* См.: Зародова Ю. Первый в Сибири, единственный в мире. Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского. История создания // Голоса Сибири. Литературно-художественный альманах. Вып. 1. – Кемерово, 2005.

Письма к З.Г. Фурцевой* ярко показывают отношение Палашенкова к памяти о Достоевском, в частности, и к делу музейного работника вообще.

«Завидую Вам, дорогая Зинаида Георгиевна, – пишет он 4 апреля 1966 года, – что Вы работаете в стенах, в которых жил Ф.М. Я этот домик знаю. По пути в 1963 году на Иссык-Куль (на могилу земляка Н.М. Пржевальского) я смотрел его (он тогда был на ремонте), виделся с ним и в 1964 году – по дороге на Алтай».

Из письма от 9 июня 1967 года:

«Посылаю Вам фотоснимки, часть которых имеет то или иное отношение к Ф.М. Достоевскому, другая часть – фото современного нам Омска, некогда города Мёртвого дома».

Палашенков немало сделал для Семипалатинского музея, тогда ещё только встававшего на ноги. Сделал, конечно же, совершенно бескорыстно. Он, например, помогает установить связь с омским художником Константином Щёкотовым, работавшим над большим полотном «Ф.М. Достоевский в Омске». (Кстати, кисти К.Н. Щёкова принадлежит и «Портрет омского краеведа А.Ф. Палашенкова».) Он вдохновляет своего приятеля – талантливого самостоятельного художника из Кемерово Дмитрия Логачёва – на создание серии работ по теме «Достоевский в Сибири», а потом и его заочно знакомит с семипалатинцами. Музей бережно хранит книги, статьи, рукописи своего омского друга.

К 150-летию со дня рождения великого писателя Омская студия телевидения выпустила небольшой документальный фильм «...Из Мёртвого дома». Его премьера состоялась 17 августа 1971 года. Автор сценария и режиссёр Ю. Шушковский, оператор В. Головин и художник В. Кудрявцев соз-

* Письма хранятся в Семипалатинском литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского. Их копии, присланные в своё время из Семипалатинска, переданы автором очерка в Омский литературный музей имени Ф.М. Достоевского.

дали не просто иллюстрированное повествование о каторжных годах Достоевского, получился фильм-размышление, фильм-исповедь.



*Встреча омских литераторов с А.Ф. Достоевским.
На снимке (слева направо): сидят – Б.А. Малочевский,
А.Ф. Достоевский, А.Ф. Палашенков, И.П. Яган,
вдова поэта Георгия Вяткина М.Н. Вяткина, П.Ф. Климина;
стоят – В.Я. Озолин, А.Е. Бражников, Н.Ф. Калашникова,
М.Е. Бударин, дочь писателя Ф.А. Березовского З.Ф. Березовская,
Г.И. Дусавицкий, Ю.А. Макаров, Н.В. Бисеров, неизвестный. 1968 г.*

Есть в фильме кадры, о которых хочется сказать особо. На них мы видим пожилого человека, тоже носившего знаменитую фамилию. Это внук великого писателя – ленинградский инженер Андрей Фёдорович Достоевский. Многие годы он трудился над увековечением памяти деда. «Он только немного не дожил до тех дней, когда дело всей его жизни – мемориальный музей Ф.М. Достоевского – будет открыт в Ленинграде», – писал Владимир Лидин в некрологе, помещённом в «Литературной газете». Незадолго до

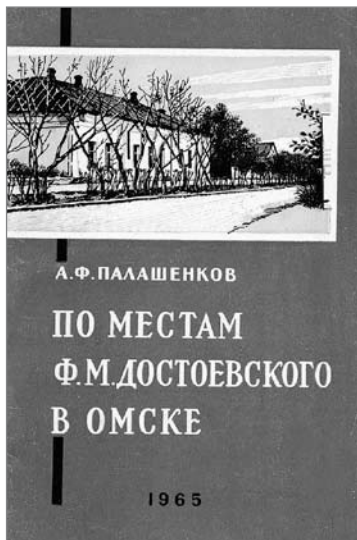
смерти, в 1968 году, Андрей Фёдорович в первый и единственный раз побывал в нашем городе, прошёл по местам, связанным с памятью деда. С большим тактом кинокамера показывает нам это. И всюду рядом с гостем мы видим небольшую сухонькую фигуру другого Андрея Фёдоровича – Палашенкова. Это он организовал приезд А.Ф. Достоевского в Омск.

Их заочное знакомство состоялось в начале 1966 года, когда Палашенков послал в Ленинград несколько экземпляров своей недавно вышедшей книжки «По местам Ф.М. Достоевского в Омске».

«Дорогой Андрей Фёдорович! – писал в ответ А.Ф. Достоевский, – (никогда не приходилось ещё обращаться к своему по имени-отчеству тёзке!). Получил Вашу бандероль и уже уведомил издательство о том, что 1) нужен незамедлительно второй тираж и 2) его целиком надо направить в главные города европейской части СССР, – реализация такого пустяка, как три тыс. экз. – несомненна!»*.

Эту книжечку А.Ф. подарил мне в один из первых моих визитов на улицу Успенского. Находится эта улица недалеко, в двух трамвайных остановках от Дома печати, и часто я отправлялся туда прямо из редакции.

Дарственную надпись на книжке прочитал уже дома: такому-то «на добрый восмин...».



* ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 282. Св. 218. Листы не пронумерованы.

Но вернёмся к письму А.Ф. Достоевского. Из него видно, сколь серьёзно он отнёсся к скромной краеведческой брошюре, вышедшей в Омске:

«Теперь отчитываюсь, как я уже распорядился присланными Вами экземплярами книжечки. Ушли: в Москву (Ин-т мировой литературы) – 1 шт., в Ленинград (Ин-т русской литературы АН СССР, в отдел фондов его музея) – 1, в Симферополь, в педагогические круги – 1, в дер. Достоево, в Достоевскую среднюю школу – 1, в США (в Корнельский и Гарвардский университеты) – 2, в Канаду (в Мак-Гиллский университет) – 1, во Францию (в публиц. парижские круги) – 1. В резерве оставил один экземпляр. Уже запросил издательство о высылке дополнительных экземпляров. Высылка по одному экземпляру только раздражит аппетит, и некоторые, без сомнения, напишут в издательство о присылке».

В следующем письме, написанном после того, как из Омска пришло ещё несколько экземпляров книжки, А.Ф. Достоевский продолжает свой «отчёт»: «Давно получены брошюры (2-я серия) и уже разосланы и розданы в разные концы (3 – в Ленинград, в том числе Смоктуновскому («Идиот»), которого я «готовлю» на роль Ф.М. Достоевского, когда таковая появится – есть надежда, 1 – в США, 2 – во Францию, 1 – в Англию, 1 – в Югославию)»*.

Нам, конечно же, интересно знать и другое – как человек, всю свою жизнь занимавшийся пропагандой творчества своего великого деда, оценил книгу Палашенкова. Оценка такова:

«Самое главное, по-моему, – Вы показали тепло и много Достоевского-человека, именно таким до трёх поколений его оч. мало знают. Тем особенно мил мне Ваш труд. Спасибо!

Прошу в дальнейшем считать меня Вашим «сообщником» во всём, что касается Фёдора Михайловича...»

* ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 282. Св. 218. Листы не пронумерованы.

Это было интересное, плодотворное знакомство. Завершив рассказ о нём ещё двумя цитатами из писем А.Ф. к Фурцевой. Первая – из письма от 15 октября 1968 года:

«Глубокоуважаемая и дорогая Зинаида Георгиевна!

Очень меня огорчило сообщение о смерти дорогого Андрея Фёдоровича, 10 августа мы проводили его из Омска. Он был здоров, по крайней мере, не жаловался на недомогание. Когда и где он умер, где его могила? Может быть, по весне представится возможность поклониться ей».*

И вторая цитата – из письма от 19 июня 1970 года:

*«Из Ленинграда от Улановской получил письмо. Сообщает, что архив Андрея Фёдоровича Достоевского поступил в Ленинградский музей Достоевского**. Среди поступивших материалов имеются вещи, лично принадлежавшие Ф.М. Меня порадовало это сообщение. Боялся, что растащат».*

У меня чудом сохранилась небольшая фотография: внук Достоевского в Омской областной детской библиотеке имени Н.К. Крупской. Он сидит за столом и что-то пишет, на заднем плане, уже не в резкости, просматривается Палашенков. На обороте фото две подписи. Первая сделана рукой моего тогдашнего непосредственного редакционного начальника и хорошего приятеля Валерия Зинякова (1925–1991): «Достоевский в Омске. Август 1968 г.». Вторая, карандашная, понятна только посвящённым: «4 кв. 21 стр.», это означает, что фотография готовилась к публикации в газете. Но в газете она напечатана не была. Хорошо помню, как расстроенный и до крайности злой Зиняков пришёл из секретариата и сообщил, что о приезде в Омск внука Достоевского газета писать не станет – так распорядилось редакционное руководство,

* А.Ф. Достоевский похоронен в могиле Ф.М. и А.Г. Достоевских (Александроневская лавра, Санкт-Петербург).

** Б.Ю. Улановская – в то время сотрудница Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Ленинграде. Сейчас архив А.Ф. Достоевского (в его составе и письма А.Ф. Палашенкова) хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом).

заявив при этом: «Нечего примазываться к славе деда». Партийный апломб, обыкновенное невежество и элементарный провинциализм – обычный для омского (да только ли омского?) начальства тех лет коктейль.

Ругаясь, выражений Валера особенно не выбирал. Обиду на глупость и несправедливость усугубляло ещё и то, что гость был такой же фронтовик, как и он сам. (Однако услышь тогда Зинякова руководящая редакционная дама, к которой, собственно говоря, и адресовалась ругань, пострашней обычных матерков оказалось бы для неё то, что несколько раз её называли «Павликом Морозовым»: когда-то, будучи юной комсомолкой, та публично отреклась от собственного отца, объявленного врагом народа. Отца потом реабилитировали, а прозвище к дочери приклеилось насмерть.)

– Возьми на память, – немного успокоившись, сказал мне тогда Зиняков. – И протянул фотографию.



*А.Ф. Достоевский в Омской
областной детской библиотеке
им. Н.К. Крупской. 1968 г.*

Квартира, где жил почти все омские годы Андрей Фёдорович, стоит того, чтобы её описать. Деревянный дом на тихой омской улице Успенского. В одной половине живут люди, в другой – книги. Люди – это сам Андрей Фёдорович и хозяйка дома – молчаливая старая женщина. А книги – это прекрасная библиотека. Главное в ней – сибирика. Много книг по искусству, особенно много по истории, археологии, этнографии. Много книг с дарственными надписями, авторы

которых – учёные, писатели: М.В. Исаковский, С.Н. Марков, И.С. Соколов-Микитов... Есть в библиотеке и редкости, например, издания XVIII века. Есть прекрасная коллекция старых газет, свыше четырёх тысяч портретов государственных и общественных деятелей России. И немало изданий, касающихся родной Смоленщины. Тут же, в библиотеке, – небольшая, но оригинальная коллекция древних строительных материалов. Зимой в этой половине дома не топят – для того, чтобы от перепадов температуры не было «больно» книгам. (Отапливать весь дом было бы ещё и весьма накладно, а пенсия Андрея Фёдоровича – сорок девять рублей пятьдесят копеек.) И поэтому, если зимой хозяину нужно взять что-либо в библиотеке, он надевает пальто и шапку. (Андрею Фёдоровичу предлагали благоустроенное жильё, но он отказывался: «Сколько мне дадут? Самое большее две комнаты. А куда книги, коллекции, архив?») Отказался он и от звания кандидата наук, которое ему уже на склоне лет предлагали оформить без защиты диссертации, по совокупности научных работ: «Да что я – мальчишка, что ли, тридцатилетний? Зачем мне это?».)

Летом в библиотеке принимаются гости, здесь, среди книжных полок, частенько ночуют приехавшие из других городов друзья.

Сейчас библиотека А.Ф. стала его личным фондом в Омской областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина. (Это была вторая библиотека в его жизни. О трагической судьбе первой известно из уже цитировавшегося черновика письма Ф.И. Быдину: *«Во время второго налёта немцев на Смоленск погибла большая (6000 томов) личная библиотека. Тяжело переживал».*)

И со второй библиотекой тоже получилось не всё гладко. Как-то он спросил, читал ли я «Письма из Русского музея» Солоухина, тогда они только что вышли. Книга у меня была, и в следующий раз я прихватил её с собой. Узнав, что я хочу

не просто дать её почитать, а намерен подарить, А.Ф. обрадовался, как ребёнок. Он вообще-то говорил, что ему неудобно, что к таким подаркам он не привык, что, зная меня, он представляет, что книга нужна мне самому, что... А его сухощавые руки в это время, как живое существо, гладили небольшой изящный томик.

– Вам это нужнее, – прервал я его и перевёл разговор на другое.

Так вот, «Писем» Солоухина в личном фонде Палашенкова нет. Не оказалось там и прижизненного Пушкина, о котором говорилось выше (а он был, я держал его в руках в один из своих приходов на улицу Успенского). Следовательно, библиотека А.Ф. дошла до хранилищ Пушкинки отнюдь не в стопроцентной сохранности. Кто и при каких обстоятельствах приложил к этому руку, остаётся только гадать.

Книги, оформленные потом как Фонд Палашенкова, начали поступать в Пушкинскую библиотеку в феврале 1972 года. Всего их более тысячи шестисот (в отдельном каталоге – два ящика).

Но продолжим описание дома, в котором долгие годы обитал А.Ф. В другой, жилой, его половине была комната хозяйки, кухня и комната Андрея Фёдоровича. Это одновременно и кабинет, и спальня. И опять – книги, папки, картотеки. Кого только нельзя было встретить в этой комнате... Сюда приходили за справкой и советом и приезжий



*Возле дома на улице Успенского.
Фото И.М. Конюшенко. 1958 г.*

учёный, и библиотекарь, и искусствовед, и пишущий дипломную работу студент, руководитель исторического кружка, литератор, организатор заводского музея.

Сюда, в дом на улице Успенского, почтальон приносил сотни писем, проштемпелёванных в самых разных городах страны. И в большинстве из них – опять же просьба о консультации.

«...Этот гражданин, – полушутливо-полусерьёзно писал о себе Палашенков, – очень любит получать письма от друзей, хранит в отдельных папках и ни одного письма не уничтожил. Какая судьба постигнет всё это моё достояние – трудно сказать. А ведь за каждой страничкой – живая душа, дыхание времени, боль и радость сердца. С каким бы интересом читали мы письма своих дедов, прадедов»

(Письмо З.Г. Фурцевой от 5 августа 1970 года).

Письма, о которых беспокоился Андрей Фёдорович, не пропали. Они – в уже упоминавшемся фонде № 2200. И трудно сказать, сколько исследователей ещё будут благодарить человека, сохранившего их, понимавшего, что сохраняет он не просто исписанные листы бумаги, а «дыхание времени». Это письма прекрасного писателя Сергея Маркова, который советовался с Палашенковым, работая над романом о Чокане Валиханове «Идущие к вершинам». Письма талантливого сибирского садовода профессора А.Д. Кизюрина, пейзажиста Дмитрия Суслова, внушки М.И. Глинки, крупнейшего сибиреведа М.А. Сергеева, правнучки В.К. Кюхельбекера, вдовы Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева – Н.П. Гуртьевой, историка архитектуры профессора В.И. Кочедамова, этнографа М.И. Погодина, знаменитого реставратора П.Д. Барановского и многих других замечательных людей.

За консультацией к Андрею Фёдоровичу обращались порой виднейшие специалисты. Например, в 1966 году по совету московского писателя, бывшего омича В.Г. Уткова написал письмо Палашенкову И.М. Кауфман – выдающийся отечественный библиограф. Наибольшей известностью

пользуется составленный им указатель «Русские биографические и библиографические словари» – классическая работа, известная не только у нас, но и за рубежом. Из его письма Палашенкову от 10 марта 1961 года узнаём, что во время работы над подготовкой описания библиотеки Н.П. Смирнова-Сокольского ему потребовалась консультация по поводу книги «Жизнь и деяния Ермака, завоевателя Сибири, выбранные из разных писателей...» (М.: Тип. А. Решетникова, 1807).

А в следующем письме Кауфман уже благодарит своего сибирского корреспондента и пишет: «Мне показались очень убедительными Ваши предположения относительно того, кто мог быть создателем книги о Ермаке. Это весьма вероятно. Во всяком случае, я сделаю это в примечаниях, сославшись, разумеется, на Вас»*.

Так в первом томе известного библиографического описания «Моя библиотека» Ник. Смирнова-Сокольского, выпущенного под общей редакцией И.М. Кауфмана, возле вышеназванной книги о Ермаке появились слова: «Омский краевед и литератор А.Ф. Палашенков полагает, что под этими инициалами скрывается, возможно, поэт И.И. Дмитриев (1760–1837)».

На этом знакомство Кауфмана и Палашенкова не закончилось. Начавшись как чисто деловое, оно вскоре стало носить дружеский характер и продолжалось до конца жизни Андрея Фёдоровича**.

Андрей Фёдорович вёл дневник в последний период жизни. Дневник этот сохранился. Настойчивым мотивом проходит по всем его страницам мысль: что будет с моим архивом?

«Скорблю, что не завершил работу по сбору материалов для Омского областного словаря, не привёл в должное

* ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 287. Св. 18. Листы не пронумерованы.

** См. об этом: Лейфер А. Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках. – Омск, 1989. (Очерк «Несколько старых писем».)

состояние собранные для словаря материалы. Боюсь, что после смерти разлетятся с любовью и трудом подобранные листочки в разные стороны. Хотелось бы, чтобы моя мечта о полном сборе материалов для Областного словаря не умерла с моей могилой.

Скорблю, что не пришлось отдать все свои силы изучению края, радушно принявшего меня, ошельмованного.

*Омск, Прииртышье – вторая моя родина**.

Запись сделана, конечно, в минуту душевного угнетения: тогда Андрей Фёдорович подозревал у себя рак. (Хоть он и в самом деле умер от этой страшной болезни, но много позже.) Мысль же об омском «Словаре выдающихся людей» – заветная мысль Палашенкова. Она, как мы сейчас увидим из дальнейших записей его дневника, повторяется вновь и вновь. Впрочем, записи эти не только и даже не столько об этом. Они – о так понятном каждому нежелании уходить из этой жизни – от этого ежедневного труда, от общения с людьми...

Цитируем без всяких комментариев.

«1969.

3 января, суббота. Всю ночь болела голова. Минутами набегали мрачные мысли. Всё может случиться. К этому "хозяйство" моё (архив, книги, коллекции и т. п.) не готово.

25 февраля, среда. После чая приступил к обычным своим занятиям – разборке архива. Хочется привести свои накопления в такой порядок, чтобы после меня люди могли пользоваться.

...Когда возвратился домой, застал у себя друзей – Ксению Алексеевну Зубареву (преподаватель зарубежной литературы Омского пединститута) и славную девушку из редакции газеты мединститута. Гостей волнует вопрос об организации в Омске музея Ф.М. Достоевского. Говорили о

* ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 2. Св. 1. Листы не пронумерованы.

Твардовском, Ахматовой и др. За горячим крепким чаем прошло часов около 3. Милые собеседницы не подозревают, что я серьёзно болен. Вскоре после их ухода пришла Нина Митрофановна (Н.М. Столповская. – А.Л.).

Часок поговорили. После её ухода занимался разборкой материала на букву "М". Удалось окончить разборку только в 9 ч. вечера. Мучает меня вопрос, много ли удастся мне сделать по приведению в порядок материалов. Тороплюсь, устаю.

10 марта, вторник. Меня всегда интересовали люди и не только знаменитости на том или ином поприще.

12 марта, четверг. Весь день занимался уборкой в библиотеке. Навёл некоторый порядок, но, конечно, далеко от хорошего. Папку за папкой беру в руки. Сколько было затрачено сил для того, чтобы собрать всё это. Может быть, теперь смотрю на собранное в последний раз. Другие руки будут развязывать папки, перелистывать листы. Одно желание – чтобы материалы не пропали, чтобы после моей смерти служили людям.

8 апреля, среда. Что принесут оставшиеся месяцы 70 года? Придётся ли посетить родные места, поклониться дорогим могилам, встретиться с дорогими и милыми моему сердцу [людьми], посмотреть на родной город, на его исторические памятники, на Днепр, побывать под смоленским небом, солнцем, звёздами? Всё, всё это безмерно дорого и мило мне.

16 апреля, четверг. Делал выборки из книги Н. Колмогорова "Красные мадьяры" для Словаря.

2 июля, пятница. Рад, что девочки привели в порядок материал к словарю уроженцев и деятелей края. Всего 2305 имён».

Зря я тогда в онкодиспансере не спросил доктора, как его зовут. Теперь вот придётся называть его просто «доктор». Имя бы я запомнил, несмотря на то, что прошло с тех пор

тридцать шесть лет. Не такой у нас был разговор, чтоб не запомнить.

Вначале доктор всё расспрашивал меня, кем именно я прихожусь Андрею Фёдоровичу, ничего не хотел рассказывать. Потом, видя, что я пришёл не просто из вежливости, сказал: да, то самое. И ничего уже не сделаешь. Вопрос времени.

В онкодиспансере я был первый раз в жизни. Поразило, что среди больных есть и дети.

А молодой доктор неожиданно вдруг стал рассказывать, как ему и его коллегам интересно с А.Ф. Как по вечерам они собираются в его палате и слушают бесконечные рассказы – об истории и о собственной жизни этого необычного больного.

В последний раз я видел Андрея Фёдоровича за несколько дней до смерти – в конце апреля 1971-го. Умирал он в другой больнице – на улице Лермонтова, в общем-то недалеко от своего дома. Иссох, ничего уже не ел: пищевод не пропускал пищу. Рядом на тумбочке стояла нетронутая баночка сметаны. Фактически это была смерть от голода.

– Вот, Сашенька, весна, а я умираю...

Я молчал, только гладил его лежавшую поверх одеяла руку. Его хватило только на одну фразу, пытался сказать ещё что-то, но я уже ничего не понял. Потом шёл по залитой солнцем улице – вдоль трамвайной линии, мимо дома Со рокина – к площади. Слёзы душили меня.

«Я скупой, – писал он З.Г. Фурцевой 17 декабря 1969 года. – За 30 лет работы в Омске накопил много нужного и ненужного... И теперь, когда недалеко время ухо-

дить в вечность, хотелось бы хоть мало-мальски разобрать это своё единственное богатство. В последние 2 месяца занимаюсь отборкой в Госархив. Свыше 50 папок подобрал... Самый большой материал – это персоналии, люди».

Незадолго до смерти Палашенков передал папки с материалами в архив. Остальное пришло туда уже после кончины – по завещанию.

Это триста семьдесят семь единиц хранения: исследования по истории, археологии и палеонтологии Сибири, дневники многочисленных путешествий, описания, схемы и фото исторических памятников края, рукописи. Немало ценного найдут здесь для себя люди, изучающие историю колхозов, учебных заведений, населённых пунктов... Есть и коллекции – небольшая, но интересная – экслибрисов (преимущественно сибирских), визитных карточек, фотографий, связанных с пребыванием в Сибири декабристов...

А что такое «Фонд Палашенкова», если посмотреть на это другими глазами? Это не только «единицы хранения». И даже не только его книги и статьи в сборниках, журналах и газетах. Это ещё и его многочисленные ученики и друзья, живущие и работающие сейчас над тем же, над чем работал и он. Это давно уже открытый в Омске Литературный музей имени Ф.М. Достоевского. Это, наконец, его читатели.

Истинное богатство!

При жизни да некоторое время и после смерти о Палашенкове писали редко, скупно и как-то неохотно, как бы сквозь зубы. Начальство его не то чтобы откровенно не любило, но относилось к нему как-то с прохладцей. Впервые, как ни крути, а в лагере-то всё-таки побывал; что

он в Смоленске натворил? Как говорится, – то ли он украл, то ли у него украли... Да к тому же и беспартийный – в случае чего по-настоящему и не прищучишь. Вот поднял шум по поводу снесённых Тарских ворот. Что теперь шуметь, ведь это в конце концов бестактно: всему городу известно, кто отдал негласное распоряжение ворота снести, – Первое Лицо. И многие догадываются, по какой причине: достала Первое Лицо собственная супружница – квартира их как раз напротив ворот, и державный взор первой дамы Омска оскорбляли поддатые мужички, то и дело прибегавшие к воротам от соседнего гастронома справить малую нужду. Может быть, и ошиблось Первое Лицо, погорячилось. Но надо ли лишний раз говорить обо всём этом, будоражить общественное мнение, подрывать тем самым авторитет власти?... Ворота ведь всё равно не вернёшь*...

Или к чему выносить сор из избы и сообщать в «Литературную газету», что к бывшему Казачьему собору пристроены два помещения с буквами «М» и «Ж» на дверях?.. Да, верно, говорят, собор был построен по проекту знаменитого архитектора Стасова. Да, с туалетами можно было решить как-то по-другому, не обижая бывших прихожан бывшего храма. Но ведь вокруг собора городской сад, в здании давно

* Печальная история Тарских ворот теперь подробно описана, см.: Поспелова Л.Б. История Тарских ворот Омской крепости // Известия ОГИК музея. – 2003. – №10. При этом были использованы записи А.Ф. Палашенкова, хранящиеся в его музейном фонде. Что же касается виновника сноса ворот – первого секретаря Омского обкома КПСС Е.П. Колущинского, то он, естественно, не понёс за это даже морального наказания: не те были традиции в правящей партии. Что там ворота?! Несмотря на то, что его преемник С.И. Манякин чётко указал в своей известной книге: предыдущий «хозяин» области был освобождён от занимаемой должности «за промахи и упущения в руководстве сельским хозяйством», 1 мая и 7 ноября того в числе почётных гостей приглашали на трибуну, с которой омские руководители приветствовали праздничные демонстрации (сам не раз, будучи посылаем писать для газеты отчёты с этих демонстраций, видел Колущинского там). Более того, после смерти его именем была названа одна из находящихся в самом центре города улиц, и только перестройка вернула этой улице её старое, ещё дореволюционное название – Почтовая. (Раз уж зашла речь об улицах, то добавим такой факт: в 2001 году одной из новых улиц стремительно разрастающегося омского Левобережья было дано имя А.Ф. Палашенкова.)

уже кинотеатр, рядом танцплощадка, музыкальная «раковина», летний театр, аттракционы – без «М» и «Ж» никак не получается. И зачем же звонить об этой неудобной истории в московские колокола, пытаться дискредитировать местную власть? Нескромно это, бестактно, похоже на стремление заработать дешёвый авторитет. И непатриотично по отношению к Омску.

Опять же взять навязший в зубах вопрос с Достоевским, с Литературным музеем, который всё время будирует уважаемый А.Ф. Кто спорит – великий писатель, великие романы. Но среди них ведь и «Бесы» есть, где революционеры именно бесами показаны. И определение Владимира Ильича «архискверный Достоевский» тоже никуда не спрячешь. Не стоит, ни к чему тут торопиться – и с музеем, и тем более с разговорами об увековечении, о мемориальных досках, тем более – о памятнике. А пенсионер Палашенков всё не унижается – брошюру о Достоевском выпустил, статьи в газетах помещает, общественность призывает на помощь...

В самом конце семидесятых годов известный писатель Иван Петров, выпускавший тогда сборники «Судьбы, связанные с Омском», поручил мне написать очерк о Палашенкове. Работал я, разумеется, с удовольствием – вспоминал свои встречи с А.Ф., вёл переписку со знавшими его людьми, не раз разговаривал с Н.М. Столповской, с архивистом Е.Н. Евсеевым и многими другими, помнившими Палашенкова людьми, сидел в госархиве над бумагами из его личного фонда. Писать решил не от первого лица, казалось, так будет убедительней и объективней. Наличие «я» не предполагал и сам формат издаваемых И.Ф. Петровым сборников. Долго ломал голову над тем, как объяснить читателю, почему, собственно говоря, уроженец и знаток Смоленщины вдруг оказался в наших сибирских палестинах. На дворе стоял «расцвет застоя», лагерная тема давно уже была объявлена «исчерпанной», и любое прямое указание на истинные причины перемены героем очерка прописки цензурой было бы

замечено. Помог сам Андрей Фёдорович. Он оставил в своих бумагах немало черновиков собственных писем к разным лицам, один из таких черновиков и пригодился.

«Смоленск крепко меня обидел, – писал в 1956 году Палашенков старому большевику Ф.М. Горнову. – Работа по охране памятников и довела меня до Сибири. Спасая от разрушения Смоленскую стену, Большой Успенский собор, памятники 1812 г. и Кутузову, я приобрёл много недругов».

Приведя эту цитату и сделав к ней сноску на фонд 2200, вслед за этим я написал фразу, неуклюжее «изиящество» которой может оценить только человек, работавший в печати в те же невнятные годы:

«После короткого пребывания в Караганде и недолгой работы в Тюменском музее Палашенков в 1936 году навсегда связывает свою жизнь с Омском».

Так всё и прошло в третьей книге «Судеб, связанных с Омском» (1983), никто не придрался – ни в издательстве, ни в ЛИТО. И только через тринадцать лет, когда уже в «другой» стране вышла моя книга «"Вокруг Достоевского" и другие очерки», в которую была включена и вторая редакция очерка об А.Ф. Палашенкове, вместо туманного предложения о «коротком пребывании в Караганде» я процитировал неопубликованную «Автобиографию» А.Ф.:

«29 марта 1934 г., будучи обвинён в шовинизме, осуждён и выслан в Карлаг на 3 года. За ударную работу (работал по организации музея) срок сокращён, и 27 марта 1936 года – освобождён. С 15 апреля 1936 года работал в Тюменском музее в качестве сотрудника по оформлению, а с ноября перемещён в Омск».*

Профессиональный историк описывает этот период гулаговской эпопеи Палашенкова более детально.

«...Любовь к истории, пристрастие к музейному делу, приведшие А.Ф. Палашенкова в лагерь, помогли ему и вы-

* ГИАОО. Ф. 2200, Оп. 1. Д. 1. Св. 1. Л. 16.

браться оттуда. В марте 1935 г. начальник управления Карагандинского исправительно-трудового лагеря НКВД Линин издал приказ № 84, которым предписывалось "для успешного и чёткого выполнение приказа... об организации общелагерного музея, ставящего целью выявление результатов работы лагеря по переделке природы и перековке человека... временно для подготовки музея организовать под руководством з/к Палашенкова А.Ф. проведение работ по оформлению музейной экспонатуры"»*.

Далее перечисляются фамилии специалистов, выделенных Палашенкову в помощь (среди них был даже придворный художник последнего российского императора).

«Приказ начальника лагерного управления действительно был выполнен "успешно и чётко", и 27 марта 1936 г. за ударную работу по созданию музея А.Ф. Палашенков был досрочно освобождён»**.

Сборник «Судьбы, связанные с Омском» (книга третья), включивший мой очерк «Фонд Палашенкова», вышел в 1983 году. (До этого его газетный вариант был напечатан в «Омской правде», выходявшей тогда немыслимым по теперешним меркам тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров.) В солидном и популярном сборнике Палашенков вставал в один ряд с другими его героями – знаменитыми учёными, великими писателями, государственными деятелями. Может быть, и это, а скорее всего – само время, медленно, но неуклонно начинавшее меняться, способствовало тому, что о Палашенкове стали вспоминать всё чаще и чаще.

* Ремизов А.В. Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк истории. Ч. II. – Омск, 1998. – С. 9.

** Там же.

В 1986 году началась подготовка к его столетию. Меня попросили поучаствовать в написании тематико-экспозиционного плана довольно обширной юбилейной выставки. Она открылась в краеведческом музее в ноябре этого же года, на вечере выступили главный хранитель музея Т.В. Раскевич, председатель Омского отдела Географического общества А.Д. Колесников, профессор Д.Н. Фиалков, ботаник Н.А. Плотников, археолог А.И. Петров, научный сотрудник госархива Н.Г. Линчевская. Я впервые присутствовал при таком солидном разговоре о своём учителе.

На следующий год упомянутый здесь маститый омский историк А.Д. Колесников весьма своеобразно «продолжил» Палашенкова: он выпустил книгу, почти в точности копирующую название известной работы А.Ф. – «Памятники и памятные места Омска и области» (пропущено лишь слово «Омской» перед словом «области»). Видимо, чувствуя себя из-за этого не совсем уютно, в коротком «Предисловии» Колесников написал:

«Научное изучение памятников истории Прииртышья было начато А.Ф. Палашенковым, многие годы работавшим директором краеведческого музея. В 1956 году им была издана книга "Памятные места Омска"».

И дальше:

«В начале 50-х годов автор настоящей книги, став заведующим областным отделом культпросветработы, подключился к изучению памятников Омской области. Собранный материал был частично использован Палашенковым в книге "Памятники и памятные места Омска и Омской области", изданной в 1967 году»*.

Как понимать данный пассаж? Не в том ли смысле, что знаменитая среди всех, кто интересуется омской историей, книга Палашенкова, оказывается, с самого начала «частично» появилась на свет Божий при помощи Колесникова? Выходит, у самого А.Ф., совершившего для сбора краеведческого материала де-

* Колесников А.Д. Памятники и памятные места Омска и области. – Омск, 1987. – С. 4.

сятки поездок по области, имевшего громадный архив, «тяму» на это не хватило, и только благодаря щедрости чиновника от культуры, поделившегося «собранным материалом» с бывшим директором музея, мы получили в 1967 году книгу, каждый экземпляр из двадцатипяти тысячного тиража которой вскоре был зачитан читателями до дыр? Чем уж так мог помочь начинающий ещё тогда историк съевшему на этом деле зубы профессиональному краеведу? Областное общество охраны памятников будущий зубр местной исторической науки А.Д. Колесников возглавил только в 1966 году, кандидатскую диссертацию об освоении Прииртышья в XVIII–XIX веках защитил только в 1967-м, то есть в год выхода книги А.Ф.* Непонятно.

В 1989 году на домике по улице Успенского была установлена мемориальная доска.

В 1993 году краеведческий музей возобновил выход своих «Известий». Их первый выпуск появился ещё в 1928 году, и вот после шестидесятипятилетнего перерыва читатель получил «Известия» № 2. В начале их значилось: «Посвящается светлой памяти историка-краеведа Андрея Фёдоровича Палашенкова». Рядом были помещены его большой фотопортрет и статья П.П. Вибе «Андрей Фёдорович Палашенков».

Через четыре года «Известия» вернулись к этой теме. В № 6 за 1998 год помещён обзор А.И. Розвезевой «Архив А.Ф. Палашенкова в фондах Омского государственного историко-краеведческого музея». Следом идёт «Список опубликованных работ А.Ф. Палашенкова. 1926–1971 гг.», включивший в себя сто одиннадцать названий.

В 1994 году в Москве был выпущен «Омский историко-краеведческий словарь». Его авторы – П.П. Вибе, А.П. Михеев и Н.М. Пугачёва – не только поместили в словаре сопровождающуюся фотографией статью о Палашенкове, но

* См.: Колесников А.Д. // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска. Биобиблиографический словарь. – Омск, 1993. – С. 90–93. Кстати, в этом справочнике утверждается, что в 1953–1959 гг. А.Д. Колесников был заместителем начальника областного управления культуры.

и постоянно ссылаются на его работы в различных других статьях и заметках данного справочника.

В последние годы о Палашенкове писали Н.Ф. Климова, Т.М. Назарцева, Б.А. Конилов, С.Г. Сизов, Н.И. Лебедева, И.Е. Бродский, Н.А. Томилов, Ю.А. Макаров, Д.И. Фиалков, А.М. Лосунов, Е.Н. Евсеев, М.Е. Бударин, А.В. Жук и другие. Наверняка, не всё мне удалось прочитать. Попал А.Ф. в авторитетный справочник Н.Н. Яновского «Русские писатели Сибири XX века» (Новосибирск, 1997) и в роскошно изданную «Российскую музейную энциклопедию» (М., 2001).

Думаю, никто из вышеперечисленных авторов не обидится на меня, если я выскажу мнение, что наиболее полно и системно написал о Палашенкове кандидат исторических наук А.В. Ремизов в своей двухтомной монографии «Омское краеведение 1930–1960-х годов» (Омск, 1998). Он не только рассказывает биографию А.Ф., но и подчёркивает, что во многом его многогранная деятельность стала основой для дальнейших разработок специалистов. Например, говоря об археологии Прииртышья, Ремизов замечает, что почти все современные археологи так или иначе ссылаются на опыт Палашенкова. При этом даётся обширная ссылка на труды В.И. Матющенко, Б.А. Конилова, А.И. Петрова, Б.В. Мельникова, М.Ю. Сафарова, Е.М. Данченко и других. Завершая свой рассказ о Палашенкове, занявший в монографии более шестидесяти страниц, исследователь утверждает: «...Годы работы на омской земле замечательного краеведа-энтузиаста, по нашему мнению, были не чем иным, как особым «палашенковским» периодом в истории омского краеведения»*.

Много лет назад я получил письмо от человека, которого, как и Андрея Фёдоровича, тоже осмеливаюсь считать своим

* Ремизов А.В. Указ. соч. С. 64.

учителем. Имею в виду писателя Виктора Григорьевича Уткова (1912–1988). Говоря об А.Ф., он написал, что такие подвижники – это «люди, принадлежащие не только берегам Иртыша, а тому всемирному движению человечества вперёд, к счастью, которое и осуществляется отдельными личностями».

На такой высокой ноте мне и хочется закончить свой рассказ об Андрее Фёдоровиче. И в самом-самом конце ещё раз привести слова его дарственной надписи на книжечке о «достоевских» местах Омска – «на добрый воспомИн...». С ударением на втором слоге.

1983 г., 1996 г., 2005 г.

Примечание 2013 года

За восемь лет, которые прошли после того, как мой очерк «На добрый воспомин...» был издан отдельной книжкой (Омск, 2005), многое изменилось. В 2011 году было широко отпраздновано 125-летие А.Ф. Палашенкова. В рамках этого празднования на здании Омского государственного историко-краеведческого музея открыта посвящённая ему мемориальная доска.

Выпущены двухтомная «Энциклопедия Омской области» и трёхтомная «Энциклопедия города Омска», на страницах обоих изданий то и дело встречаются ссылки на работы Андрея Фёдоровича. Сделаны новые шаги в изучении его биографии. В частности, исследователи начали писать и об её лагерном периоде – и в Смоленске, и в Омске появились документальные публикации, проливающие свет на эту когда-то «нежелательную» тему.

Замечательным доказательством того, что у всех у нас выработалась достойная оценка сделанного этим человеком, станет и большой сборник его избранных трудов, который готовят сейчас к публикации сотрудники музея.

ТРИ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЯ энд «ЖАРА»

Учиться в первый класс я пошёл в 1951 году. В омскую женскую школу № 13.

Дело в том, что обучение тогда было ещё раздельным, но, видимо, система эта себя уже изживала, на нарушения её смотрели сквозь пальцы, поэтому родители отдали меня в тринадцатую. Рядом с ней стояла другая школа – семнадцатая, мужская семилетка. Именно в неё по идее я и должен был поступить, но школа эта считалась «хулиганской», репутация у неё была плохая, вот и отдали меня родители в более спокойную и respectable тринадцатую.

Надо сказать, что я был в нашем классе далеко не единственным исключением: в нём училось ещё около десятка мальчишек. Забегая далеко вперед, скажу, что с одним из них, Толей Царенко, я много лет спустя встречался: он стал директором Омского театра юного зрителя. Мы с ним не раз сжиживали за одним столиком в кафе Дома актёра, бывал я и в его театральном кабинете. К несчастью, сердечная болезнь рано свела Толью в могилу. Человеком он был мягким, приветливым. Да и со своими директорскими обязанностями справлялся, как говорили, хорошо.

Обе школы – и тринадцатая, и семнадцатая – находились недалеко от домика моей бабушки, где жила тогда наша семья. Вокруг было море разлитое таких же домишек – одна из городских окраин – Восточные и Ремесленные улицы (народные наименования этих «микрорайонов» – Игнатовка и Лобовка).

Тринадцатая школа до сих пор располагается в том же солидном двухэтажном каменном здании, что и тогда. Уже в наше время не раз бывал в нём вновь. В самый первый приход удивила установленная на здании мемориальная доска. Оказывается, в годы войны в этом здании формировались два воинских соединения – 282-я Тартуская стрелковая дивизия и 712-й отдельный линейный батальон связи. А мы, школьники, ничего об этом не знали. Тогда как-то было не

принято интересоваться историей своей школы. Не принято было говорить и о минувшей войне, хотя она напоминала о себе на каждом шагу. Например, на всех базарах и возле располагавшихся на каждой трамвайной остановке закусочных можно было встретить инвалидов-колясочников, предсказывающих судьбу. В колясках у них имелись клетки с учёными морскими свинками или щеглами, которые по приказу хозяина вытаскивали из специальных ячеек всем желающим небольшие свёрнутые листки бумаги, на них были отпечатанные на машинке тексты предсказаний. Велеречивые рекомендации нынешних столь широко распространённых гороскопов в принципе очень напоминают те наивные, полуграмотные тексты.

Проучился я в тринадцатой школе два года. А потом система раздельного обучения перед своей кончиной вдруг ненадолго воспряла, так иногда бывает и с безнадежно больным человеком – перед смертью он неожиданно на несколько дней или даже часов начинает чувствовать себя лучше. Так вот, тогда кто-то наверху строго-настрого приказал «вычистить» мальчиков из женских школ. И в третий класс я пошёл учиться в страшную мужскую школу № 17.

Сразу скажу, что ничего страшного там со мной не случилось. Наоборот, классным руководителем у нас была фронтовичка Варвара Семёновна. И я до сих пор благодарен этой несколько суровой женщине за то, что она научила меня воспринимать Книгу.

Читать-то я начал, спасибо маме – тоже педагогу, вообще ещё до школы. А Варвара Семёновна завела на своих уроках обязательное чтение вслух. Те, кто умел это делать лучше других, два-три раза в неделю по очереди читали всему классу разные хорошие книги. Меня «отряжали» на это довольно часто. До сих пор помню то волнение, с которым я каждый раз приступал к такому публичному чтению. И, хотите верьте, хотите нет – до сих пор (а ведь шестьдесят лет прошло!) я, начиная читать (про

себя, конечно) художественный прозаический текст, невольно прикидываю – а как бы я стал читать его вслух?..

Семнадцатая школа была тоже двухэтажная, но деревянная, срубленная из брёвен. Как оказалось, и это здание тоже связано с Великой Отечественной войной. Об этом мне в своё время рассказал весьма компетентный человек – известный омский краевед Ференц Карольевич Надь (1929–1995). «А ты знаешь, – сказал он мне, когда узнал, что я учился в семнадцатой, – во время войны здесь было одно из самых страшных мест Омска – специализированный госпиталь для потерявших на фронте зрение...»

Лет, однако, двадцать назад здание семнадцатой школы за ветхостью разобрали.

Отучившись в третьем классе, я вернулся в тринадцатую школу, так как раздельное обучение отменили.

Иногда меня приглашают в один изысканный литературный салон, где говорят о книжных новинках или, наоборот, вспоминают литературное прошлое, встречаются с писателями, слушают хорошую музыку. А также пьют чай или кофе с каким-то необыкновенно вкусным фирменным печеньем. Вот за таким чаепитием ко мне подошла незнакомая женщина средних лет и, волнуясь, спросила, помню ли я, кто учил нас в тринадцатой школе русскому языку и литературе. Вообще-то, с фамилиями, точнее, с их запоминанием, у меня всегда были большие проблемы – я часто их забывал и забываю, не раз попадал из-за этого в неудобное положение. Но тут будто кто-то нажал в голове нужную кнопку – без всякого напряжения я ответил, что не только помню Симу Борисовну Протопопову, но и считаю её одной из тех, кто привил мне интерес к литературе.

– Может быть, вы тогда помните и её мужа?

И опять будто щёлкнула под причёской ещё одна соответствующая кнопка:

– Анатолий Васильевич Зябкин, он у нас не преподавал, но мы знали его как завуча.

Оказалось, что со мной разговаривает дочь Симы Борисовны, что та жива, помнит меня, передавала привет! Не знаю, прав я или нет, но встретиться с ней не решился. Тоже передал огромный привет, слова благодарности за тот заряд, который получил когда-то на её уроках. Передал в подарок и одну из своих книжек, сделав на ней соответствующую надпись.

Когда я учился уже в шестом классе, наша семья переехала в другой район Омска – тоже на окраину, на Линии. Переезд состоялся прямо посреди учебного года, и мне с ходу пришлось «въезжать» в жизнь совсем незнакомого подросткового коллектива. Теоретически это было непросто, но практически – скажу честно – никаких особых трудностей не запомнилось.

Школа № 65 располагалась (и располагается сейчас) в большом четырёхэтажном здании, построенном, как это явствует из цифры на его фасаде, в 1937 году. Никаких дурных ассоциаций цифра эта у меня тогда не вызывала, Двадцатый съезд «родной коммунистической партии», на котором обнажилась страшная суть этой даты, к тому времени уже состоялся. Но до съездов ли мне тогда было. Я, тринадцатилетний, с размаху влюбился тогда в одноклассницу Нину – страдал, вздыхал, старался почаще попадаться ей на глаза. Потом – через год или два, точно уже не помню, – выяснилось, что ещё сильнее я люблю Розу – свою бывшую соседку по прежнему месту жительства.

Я стал чаще навещать оставшуюся в своём старом доме бабушку. По бабушке я тоже скучал. Но, признаюсь, что не реже одного-двух раз в неделю приезжал не столько к ней, сколько к Розе. Страдал, вздыхал, старался почаще попадаться ей на глаза. А в меня примерно тогда же влюбилась Оля из параллельного класса – роскошная девица с большими голубыми глазами и толстенной косой. Я, дурачок, был к её чувствам стопроцентно равнодушен, а она, как я теперь понимаю, страдала, вздыхала и старалась почаще...

В этой третьей и последней моей школе у меня было всё, что и должно быть, – любовь, друзья, чтение запоем, увлечение стихами Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной, первый

алкоголь, нелюбимые и любимые предметы и учителя. Среди последних хочу помянуть добрым словом Юлию Николаевну Колосову, преподававшую нам русский язык и литературу. Дамой она была весьма скептической и едкой – таким, что называется, палец в рот не клади. Носила короткую стрижку типа каре и курила «Беломор». Иногда читала вслух перед классом мои сочинения на вольные темы, ехидничая при этом по поводу пропущенных запятых, которые должны стоять на своих местах даже в таких претендующих на нечто большее, чем требует школьная программа, текстах. В конце одиннадцатого класса, когда я уже твёрдо решил поступать на отделение журналистики Казанского университета, Юлия Николаевна написала мне свою – отдельную, дополнительную – характеристику, и я приложил её к посылаемым в приёмную комиссию документам.

Но сегодня речь не об этом. Сегодня, следуя заявленной в названии этого эссе теме, я прежде всего должен рассказать о здании шестьдесят пятой школы. А оно, как оказалось, тоже самым непосредственным образом было связано с войной, уже к зиме 1941–1942 годов школу из него выселили, так как ещё задолго до начала войны здесь планировалось разместить один из эвакогоспиталей.

Я не оговорился: война ещё не началась, ещё не были взломаны и польские границы, в высоких правительственных кабинетах нашей страны и её будущего смертельного врага ещё не составляли и не подписывали печально знаменитый пакт о ненападении, а во многих городах нашего будущего глубокого тыла уже строили десятки, если не сотни, одинаковых школьных зданий. В них предусматривались широченные лестничные марши и площадки, по которым так удобно было потом затаскивать и разворачивать носилки. Двери всех классов выходили в этих школах в коридоры – тоже широкие, похожие на длинные залы; в них без особого напряжения ставили потом дополнительные койки, и было не так уж от этого и тесно. Одним словом, проект такого школьного здания заранее предусматривал, что в течение одного-двух дней его без особых трудностей

можно переоборудовать в госпиталь: выбросил парты, затащил койки – и принимай раненых. Обо всём этом мне рассказал всё тот же Ференц Надь. Помню, мы долго рассуждали с ним о том, как совместить такую предусмотрительность с версией о ВНЕ-ЗАПНОМ нападении фашистской Германии. Ведь только в Омске таких типовых зданий имеется несколько.

А о войне, в местном преломлении данной темы, нам ничего не говорили и в шестьдесят пятой школе. На уроках новейшей истории Великую Отечественную нам представляли как десять победоносных сталинских ударов – изменения в школьную программу внесли много позже Двадцатого съезда и сноса всех имевшихся в Омске бронзовых и каменных памятников Верховного главнокомандующего. Об эвакогоспитале, о десятках выпускников нашей школы, не вернувшихся с фронтов, мы, будучи школьниками, так ничего и не узнали.

Теперь о «Жаре». Так называется стриптиз-клуб, имеющийся в нашем городе. Его реклама размещена чуть ли не на всех главных магистралях Омска. В центре этой рекламы расположено символическое изображение либо крупной ягоды клубники, либо сердца – олицетворение, как, видимо, следует понимать, любви. Но если присмотреться чуть внимательней, нетрудно понять, что одновременно рисунок изображает и женскую, так сказать, корму – на «сердце» натянуты символические минитрусики – стринги.

Не стал бы писать обо всей этой хренотени, ею сейчас никого не удивишь, поскольку подобных заведений полно везде. Фишка – для меня – заключается в том, что расположена «Жара» не где-нибудь, а в здании бывшего Куйбышевского райкома комсомола. Именно здесь осенью 1958 года, в день сорокалетия ВЛКСМ, меня принимали в комсомол.

Волновался, помню, я жутко. Мало того, что осенью пятьдесят восьмого мне, родившемуся в конце декабря, ещё не исполнилось полных пятнадцати, и могли тормознуть уже из-за этого. В школьном комсомольском комитете нас сильно напугали, подчёркивая, что вступление наше особенное, происходящее

в день сорокалетнего юбилея, что гонять по Уставу в райкоме станут усиленно, и вообще – в этот день будут принимать самых достойных, в то время как мы... Ну, а кое-какие грешки у меня за плечами уже и в пятнадцать лет имелись.

Коммунистов, полжизни вешавших мне и тысячам таких, как я, лапшу на уши, честно скажу, недолюбливаю. Достаточно, например, вспомнить государственную сказку про построение коммунизма к 1980 году. «Партия торжественно провозглашает, – было написано тогда на всех «заборах», – нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» (Хотя справедливости ради следует заметить, что лапша – явление вневременное, муки для неё хватает и в наши посткоммунистические годы.)

Что же касается комсомола, то обижаться мне на него не за что. В комсомоле мне было интересно и в чём-то даже комфортно. Был комсоргом студенческой группы, потом – членом комитета ВЛКСМ всего университета. Комсомольской была наша с моей первой женой Галей свадьба. По комсомольской путёвке я в составе студенческого стройотряда поехал в шестьдесят четвёртом году на целину – мы строили в Северном Казахстане школу, которая, как мне недавно рассказали, до сих пор работает. А поскольку несколько своих выходных мы в ту осень потратили, помогая обустроить совхозный зерноток, меня, как, впрочем, и всех остальных, наградили тогда памятным значком «Участнику уборки десятого целинного урожая». Мои первые публикации состоялись не где-нибудь, а в газете «Комсомолец Татариин». Сотрудниц этой славной газетки Юлию Колчанову и Надежду Сальтину до сих пор считаю своими первыми профессиональными наставницами.

Вернувшись после учёбы в Омск и начав – согласно распределению – работать в редакции газеты «Омская правда», я сразу же параллельно стал сотрудничать и с комсомольской газетой «Молодой сибиряк». И совсем не для того, что сшибить на стороне дополнительный гонорар. В молодёжной газете можно было даже тогда напечатать то, что никогда не прошло бы в бо-

лее серьёзной партийной. Нравы в редакции молодёжки были немножко повольней, в ней работали замечательные ребята, ставшие со временем моими личными друзьями – Иван Токарев (1933–1973), Виталик Попов (1935–1987), Слава Карнаухов (1940–2008), Миша Сильванович, Витя Чекмарёв, Михаил Малиновский (1933–2010). Позже я на несколько лет стал литконсультантом этой газеты. И с удовольствием публиковался в ней до тех пор, пока в наступившую эпоху гласности и свободы печати её благополучно не загубили.

А вместе с обкомом комсомола, точнее – с его отделом пропаганды, мы в своё время раскрутили немало интересных литературно-молодёжных дел (или, как теперь модно выражаться, проектов) – семинаров начинающих авторов, литературных праздников, конкурсов.

В целях экономии печатной площади умолчу о некотором количестве встретившихся на моём довольно-таки извилистом личном мужском пути членов ВЛКСМ противоположного пола.

Так что обижаться на покойный комсомол мне совсем не след.

А что – может, взять да и посетить как-нибудь бывший райком? Поглядеть, достаточно ли ударно трудятся у своих шестопилонов нынешние, капиталистические, «комсомолки»?..

2010 г.

ЖИТЬ ВМЕСТЕ...

Из разных блокнотов

Часто люди бывают жестокими и в детстве. Причём, детская жестокость не прикрыта, не закамуфлирована.

До сих пор не забылось чувство острейшей обиды и тоски от одиночества, когда мои товарищи, сговорившись, убегали от меня с хохотом и криками:

– Заразный! Заразный!

Я болел в то лето коклюшем.

Как горько мне было, как плохо!

Как всегда, выяснив, что надо ехать, он раскрыл шкаф и достал атлас СССР – большую книгу в твёрдом красном переплёте. Нашёл нужную карту и стал внимательно рассматривать изображение мест, в которых предстояло побывать. Он читал названия населённых пунктов, рек, горных хребтов и привычно думал о дороге, о будущей работе, о людях, которых увидит и узнает...

Затем, не найдя большое село, в которое, возможно, придётся заехать, он начал искать его в конце атласа – в списке названий. И обратил внимание, что некоторые названия подчёркнуты простым карандашом. То есть он и раньше не раз это видел, но никогда не задумывался – кто и зачем этим подчёркиванием занимался.

Подчёркнут Билимбай. Ещё старшеклассником он ездил в этот маленький старинный городишко под Свердловском, где жил тогда его приятель.

Алексеевское – райцентр в Татарии, туда их, студентов, посылали на уборочную.

Пресновка – посёлок в Северном Казахстане, где их
стройотряд строил школу для детей целинников.

Альметьевск – туда посылали на практику.

Гудаута – там прошёл первый отпуск.

Тара, Алушта, Петровск-Забайкальский, Тобольск...

И он всё понял. Раскрыл первую страницу и прочитал давно
знакомую надпись: «Милому сыночку-первокласснику от мамы».
И дата, дата, после которой прошло более шестидесяти лет.

Это она подчёркивала когда-то имена городов и деревень, в
которые он уезжал. Провожала, потом надевала очки и подолгу
разыскивала их в атласе. Смотрела на маленький кружочек с
незнакомым названием рядом и думала о сыне. Сидела над той
же книгой, над которой то и дело сидит теперь он, в очередной
раз собираясь в командировку или просто тоскуя по дороге.

Как давно он не был на кладбище...

«Зелёные цветы» – моё любимое у Николая Рубцова. Мне
кажется, пройдёт еще сколько-то лет, и останутся «Зелёные
цветы» да ещё десять-пятнадцать вещей. И будем мы, уже
совсем поседевшие и – Бог даст – поумневшие, снова и сно-
ва читать эти строки – про рай земной, про благоухающий
луг, про тишину, про верного друга рядом. И снова будет
сжиматься сердце от беспощадной правды поэта:

Но даже здесь... чего-то не хватает...

Недостаёт того, что не найти.

Это, как приговор всем нам.

Ночью, лёжа на его руке, она вдруг заговорила:
– Ты помнишь, я звонила тебе сегодня на работу?

Он уже засыпал, но уловил что-то настораживающее в тоне, которым была произнесена эта фраза.

– Конечно, помню. А что?

– Да, так, ничего...

– Нет, почему ты спросила?

– Это был уже третий звонок.

– Как «третий»?

– Я хочу сказать, что дозвонилась до тебя лишь с третьего захода. Два раза мне говорили, что тебя нет.

– Ну, и что же, выходил куда-нибудь. Ты же знаешь, какая бешеная у меня работа.

– Ты не понимаешь. Оба раза один и тот же голос говорил мне одни и те же слова: «Его нет». И мне показалось, что тебя и вправду нет. То есть, понимаешь, нет и не будет. Со-всем, никогда. И мне стало страшно.

– Фу ты, глупости какие!

– Конечно, глупости. Спи, пожалуйста, спи. Извини меня.

Но спать ему уже не хотелось. Осторожно повернув голову, он попытался в слабом свете уличного фонаря, пробивавшемся сквозь тюлевую штору, рассмотреть её лицо. Глаза женщины были закрыты, но ресницы подрагивали. И дышала она не так, как дышат засыпающие.

– Слушай, старуха, – начал он, тщетно пытаясь придать своему голосу шутливость.

– Да?

– В общем, как бы тебе это сказать?..

– Так и говори.

– Одним словом, ты, это, – не влюбись, слушай, в меня, не надо, пожалуйста. А?

– А вот это, извини, уж моё дело.

– То есть, как это твоё? Нет, ты не поняла. Я хочу сказать, что я – не тот человек, который тебе нужен. Ты хорошая, очень хорошая. А я не дам тебе того, чего ты достойна, чего тебе нужно. Не смогу, не сумею. Поэтому не надо тебе в

меня влюбляться. Ведь тебе и так хорошо, правда? А может стать плохо...

– А я тебе ещё раз повторяю: не твоё это дело, понял – не твоё! Идиот!

Она встала и, сдёрнув со стула халат, ушла на кухню. Было слышно, как, ломая спички, она закурила. Он хорошо знал, как она курит – как всегда нервно, каждый раз затягиваясь так, будто эта затяжка последняя.

...Уже под утро он увидел странный, опустошающий сон. В этом сне он обнаружил себя на нижней полке купированного вагона. Поезд стоял. В купе, кроме него, никого не было. Одевшись, он прошёл по вагонному коридору, освещённому лишь луной из окон, и понял, что в вагоне он один: двери всех остальных купе были раскрыты настежь, а за ними – голые полки. Он хотел пройти в соседний вагон, но за дверьми оказалась пустота. С громко стучащим сердцем побежал он по коридору к противоположным дверям, и, раскрыв их, с ужасом убедился, что догадка его верна: вагон отцеплен и ни справа, ни слева не видно никаких построек либо огней. Он один посреди ночной степи в этом стоящем на однокорейном пути вагоне. Один!

– Не стони, не стони! Успокойся! – услышал он и ощутил ласково глядящую его лицо ладонь. – Проснись скорее, и всё пройдёт. Проснись же...

В Южной Якутии я жил в маленькой шофёрской гостинице, обслуживающей водителей «Аямтранса», работающих на тяжёлой и опасной Амуро-Якутской автомобильной магистрали.

В тот день у меня до удивления всё ладилось. Я рано встал и много успел сделать: побывал там, где наметил побывать, встретил тех людей, которых хотел встретить. И люди эти

оказались интересными, они немало рассказали нужного для моей работы. К полудню, к самой жаре, я был уже в гостинице, принял душ, пообедал. До возвращения соседей по комнате оставалось ещё много времени, я решил воспользоваться и этим. Сел за стол, разложил свои блокноты, чистую бумагу. Приведу в порядок записи, планировал я, а может быть, и сделаю кое-какие наброски.

Для разгона решил написать письмо домой. Писал его долго – о своём житье-бытье, о том, как всё тут у меня прекрасно получается, о том, как интересно мне тут и как здорово, что я сюда приехал. Казалось, и письмо у меня тоже выходит хорошим – в меру остроумным и таким, что ли, мужественным. Именно такое письмо, думал я, нужно послать сейчас домой, где остались всякие личные нелёгкие проблемы. Мне уже начинало казаться, что вот именно оно, это письмо, как раз и может в сильной степени способствовать разрешению моих домашних сложностей, что оно – чем чёрт не шутит! – станет неким поворотным пунктом, некой решающей точкой.

И тут раздался в коридоре страшный этот крик:
– Повесился! В туалете повесился!

Потом мы снимали этого одним махом решившего все свои вопросы человека с рукава его же собственной рубашки. Около часа мы по очереди делали ему искусственное дыхание, а потом помогали двум милиционерам нести уже похолодевшее тело в машину.

Ещё вчера я встречал его в столовой. Он приехал сюда откуда-то из средней полосы подзаработать и жил в соседней комнате.

Потом я ушёл к себе. Всё на столе оставалось по-прежнему: блокноты, авторучка, бумага. Машинально я стал перечитывать письмо и содрогнулся от контраста его содержания с тем, что только что произошло. Каким идиотизмом, каким мелким пижонством и актёрством показалась мне эта писанина по сравнению с диким, непоправимым и суровым

фактом свершившегося добровольного ухода из жизни! Нет, не сможешь ты мне, письмо, не сможешь...

Чуть ли не с удовольствием изорвал я исписанные листы и стал ждать соседей: пить один я тогда ещё не умел.

Когда он закончил свою затянувшуюся, поднадоевшую учёбу и начал, наконец, работать, ему повезло с компанией. Компания подобралась отличная. Все трудились в одной сфере. Были общие интересы, были разговоры – и серьёзные, значительные, и лёгкие, ни к чему не обязывающие. Вместе встречали праздники, отмечали дни рождения. Он гордился тем, что оказался среди них, что все ценят его, любят. Он даже знал, что их компании завидуют, иные стремятся попасть в неё. Часто за праздничным столом он смотрел по влажневшим от выпитого глазами на милые лица друзей, и ему становилось так хорошо, так хорошо, что он вставал и говорил свою ставшую вскоре козырной фразу:

– Ребята! Слышите, ребята, – давайте жить вместе!

Сейчас, спустя много лет, от компании остались только эти слова.

– Ты помнишь, старик, – говорят ему иной раз во время случайной встречи, – ты помнишь, как ты всё кричал: «Давайте жить вместе!»? Неужели забыл?.. Действительно: такое впечатление, будто всё это было лет триста назад. Ну, пока, звони хоть иногда...

Было это в Новосибирске. Я добирался из Забайкалья домой в Омск, добирался с остановками, которые по разным причинам необходимо было сделать в нескольких местах.

И не рассчитал: оказался на новосибирском вокзале как раз накануне большого и затяжного праздника.

Новосибирский вокзал и так-то подавляет своей огромностью, а тут ещё он до отказа был забит людьми, желающими уехать, и уехать как можно быстрее, – хоть вместе с выходными впереди было четыре нерабочих дня, никому, естественно, не хотелось тратить на дорогу и лишнего часа. В залах было шумно, душно и уже отчасти пьяно.

Я нашёл конец длиннющей очереди, тянущейся к кассе, и решил безропотно отдаться во власть МПС.

Часа через полтора я приблизился к кассе настолько, что можно было облокотиться на барьер и сквозь стеклянную перегородку увидеть кассиршу. Была она не первой молодости, с холёным, умело нарисованным дорогой косметикой лицом, хорошо причёсанная, несмотря на ночное уже почти время – подтянутая, со свежим маникюром.

Я уже почти ненавидел её, ибо, благодаря радиофикации, давно и хорошо было слышно, как она разговаривает с нашим братом. Она не хамила открыто, нет. Она завуалированно, тонко и снисходительно иронизировала почти над каждым. Мне казалось, что она наслаждалась растерянностью и беспомощностью подходивших к окошку людей, их усталостью и волнением.

«Мегера, – думал я, глядя на её красивое лицо, – змея. Наверняка, у тебя дома что-то не так. Муж тебе неудачный попался. А впрочем, его у тебя совсем нет, ушёл он – кто же сможет жить с такой стервоточиной. Точно ушёл: обручального-то кольца нету, одни перстни. И любовник тебя перед самым праздником бросил – тоже не выдержал. Вот ты и злишься, вот ты и изощряешься...»

Сознание того, что и я через несколько минут окажусь в её власти, подогревало мою фантазию.

– Билетов на Омск нет.

Это отвечали не мне, а человеку, стоявшему впереди. И я всё-таки тоже подошёл к окошечку и спросил, когда станут продавать на следующий поезд.

– Через четыре часа.

Потом кассирша взглянула на меня и добавила.

– Если будут.

Появилась вполне реальная перспектива встретить праздник на огромном вокзале огромного чужого города, уставшим после сложной командировки, без лишнего рубля в кармане.

С трудом убив два часа, я снова встал в хвост очереди, прикинув, что окажусь у окошечка как раз к назначенному времени. Кассовый зал напряжённо гудел, народу стало ещё больше, все кругом были наэлектризованы тем особым возбуждением, которое бывает на российских вокзалах.

И вдруг я увидел кассиршу. Одетая, она пробиралась сквозь толпу к выходу. «Отработала, пересмена», – успел подумать я, и тут глаза наши встретились.

– Ой, вы опять стоите, а на Омск опять ничего нет.

Я молчал. Что можно было ответить на это? Какая-то апатия охватила меня.

А кассирша не уходила.

– Знаете что, – сказала она, – давайте деньги. Я попробую...

...Боже! Как перевернулось во мне всё, когда я взял из её рук заветный кусочек картона! Целая гамма чувств переполняла меня, когда я стоял перед этой женщиной и бормотал слова благодарности. И мелкое тщеславие: вот ведь – не кого-нибудь, а именно меня, какой я, однако, заметный мужчина. И элементарная радость. И стыд за недавние дурные мысли.

А она молчала и устало улыбалась, глядя на мою суету...

У Блока в Шестой записной книжке:

«Увидел на странице древней книги свой портрет и загрустил».

А что, если в самом деле – мы уже были когда-то? Ну, не совсем мы, а вот хотя бы жил, предположим, когда-то человек с такими же, как у меня чертами лица. Ведь говорят же: «Он похож на такого-то», называя при этом какого-либо известного в истории деятеля. А вдруг самой природе надоедает каждый раз придумывать нам уникальные физиономии?

Чушь, конечно... Гораздо интересней, почему всё-таки «загрустил»?

Памяти Станислава Сопова

Мы, балуясь, плыли в прохладной ласковой воде. Это было какое-то водохранилище, не река. С островками, с кустами на берегу. Вокруг много купающихся, загорающих, много смеха, криков. И день стоял прекрасный.

Вначале он плыл впереди меня, он всегда плавал быстрее. Потом мы взялись за руки и стали плыть рядом. И так это у нас здорово получалось, такую мы, будто бы, скорость набрали, что кусты и деревья на берегу слились в одну зелёную линию. А мы всё плыли, хохоча, наслаждаясь купанием, скоростью, своим здоровьем. И вот водохранилище стало уже рекой, появился у него второй берег, и воды под нами всё меньше. Вот уже и дно видно.

– Смотри, да это же асфальт! – крикнул он.

И правда: дно у этой странной реки или водоёма асфальтовое, и даже знаки движения на нём белым обозначены, как на самой настоящей городской улице. Всё ближе асфальт, всё меньше воды под нами. А мы всё плывём, всё плывём, не сбавляя скорости, и брызги, высоко поднятые нами, сверкают на солнце. Наконец, мы задеваем за асфальт животами и останавливаемся. Всё это так необычно, нам так весело! Мы брызгаемся, дурачимся, хохочем. Как хорошо!

Я смотрю на своего друга, на его ладную стройную фигуру, на его подтянутый мускулистый живот, на длинные ноги, которыми он когда-то на городских соревнованиях выиграл восьмисотметровку. Смотрю на полный безупречно белых зубов смеющийся рот, на кудрявые волосы, которые настолько жёстки, что кажутся сухими. Я смотрю и вдруг замечаю, что на лице его кровь. Тоненькая струйка выбежала из ноздри и, обогнув рот, стекает на подбородок. Это бывает, когда перенапряжешься, а ведь мы здорово устали, пока плыли. Надо сказать ему, чтоб перестал хохотать, а закинул голову назад и немного постоял спокойно.



*Станислав Дмитриевич
Сопов (1944–1973 гг.)*

Но я не говорю этого. Я вдруг с ужасом осознаю: мне известно, что будет через несколько лет. Будет его комната с запахом лекарств. Его блуждающий взгляд и его повторяющиеся через каждые две-три минуты вопросы: «Который час? Сколько там набегало? Почему она опаздывает?» Действие предыдущего укола прошло, он опять один на один с болью и живёт лишь ожиданием медсестры, её спасительного шприца.

Мне известно, что его лицо, которое сейчас так нравится девушкам, превратится в страшную, обтянутую жёлтой кожей маску, что живот безобразно вздуется от непомерно увеличившейся печени. Боже мой, почему, почему я это всё знаю?!

А он всё смеётся, брызгает водой и на меня, и на себя. Вода смыла с лица кровь, но та вновь начинает сочиться из левой ноздри.

И я просыпаюсь. И с тоской начинаю понимать, что это сон. Сон не о будущем – о прошлом...

...Сорок лет прошло с похорон друга детства и юности – Стасика Сопова. До 1962 года, то есть до того, как я уехал на учёбу в Казань, мы были неразлучны. Были похожи внешне, однажды даже выдали себя за двоюродных братьев, и начальство московской военной части, где он служил действительную, поверило – без звука отпускало его на КПП, в комнату для свиданий или вообще в увольнение, когда я, приезжая в столицу из Казани, туда приходил.

Отслужив и вернувшись в Омск, он вскоре женился, стал отцом. А потом заболел. Состоялась операция. Правду врачи сказали только жене, сам больной и все остальные думали, что две трети желудка были удалены из-за язвы.

В армии сержант Станислав Сопов командовал караульным отделением, развозившим в специально оборудованных железнодорожных вагонах по разным секретным «точкам» необъятного Союза ССР некий секретный, помещённый в большой свинцовый контейнер груз. Свинец оказался слабой защитой, и «холодная война», солдатом одного из незримых фронтов которой был мой друг, сразила его через несколько лет. Когда думалось, что всё в жизни только начинается.

Сорок лет уже прошло, с кем только я не распрощался за эти годы, а боль от его ухода свежа, будто случилось это вчера.

Я тоскую по тебе, Тбилиси!..

Тоскую по чистильщику обуви, который долго расспрашивал меня про морозы в Сибири и не взял денег за работу – должно быть, из жалости.

Тоскую по твоим бездельникам с проспекта Руставели – таким великолепным, что, кажется, на них и сердиться-то невозможно.

По слонихе в зоопарке, которой я скормил все свои бутерброды.

По русской старушке, стоявшей на коленях перед могилой Грибоедова, крестившейся на неё и говорившей мне: «Вот ведь – святой был человек, святой – за веру пострадал».

По твоим огням у подножия Мтацминды.

По своей молодости, которую ты видел и, конечно же, не запомнил...

Почему запомнился этот ничем внешне не примечательный день?

Лето 1964 года. Целина. Степь и жара. И я иду по пустынной дороге от Пресновки в сторону совхоза имени Амангельды.

Только до свёртка с профиля около девяноста километров. Сегодня воскресенье, и я мог бы дожидаться завтрашнего дня, переночевать в Пресновке, в гостинице. В будний день больше попутков, больше шансов быстрее доехать. Но я пошёл, несмотря на уговоры остаться, пошёл, хотя и нужды-то в этом особой не было. Купил в дорогу бутылку пива и пачку печенья и иду себе, шагаю. На мне тяжёлые грубые ботинки, шапочка из газеты. И хорошо, радостно отчего-то. Может, потому я и запомнил всё это, что был тогда глуп, но счастлив.

Однажды Достоевский сказал о себе на страницах «Дневника писателя»:

«Я человек счастливый, но кое-чем недовольный».

Кое-чем!

Сколько интереснейших, неповторимых людей прошло мимо меня, а я не поговорил с ними хотя бы раз! И не поговорил не только из-за нехватки времени или из-за стеснительности, но порой из-за равнодушия, из-за элементарной лени...

...В Костроме, где всё ещё много старых, требующих реконструкции текстильных фабрик, мне рассказали про двух человек – отца и сына, которые сделали своей профессией разборку отживших фабричных труб.

Устарела труба, убирать её надо, новую ставить, а как уберёшь? Сложены давними мастерами, насмерть. Взрывать нельзя – кругом цеха, разные другие постройки. Не с вертолёта же её ломом долбить... Вот тогда и зовут этих двоих. Они лезут наверх и всего за несколько недель по кирпичику разбирают какую-нибудь стометровую восьмигранную машину. Работают с утра дотемна, обедать не слезают – к чему лишний раз рисковать? Принесут им из фабричной столовки супчику в бидоне, подтянут они его бечёвкой к себе, похлебают и опять за дело.

Сами они, вроде бы, не костромские: то ли из Ярославля, то ли из Иваново. И, говорят, текстильные эти города прямо-таки рвут их друг у друга, прямо-таки в очередь на них стоят.

Раз, правда, я видел их работу. Две фигурки наверху копошатся, что-то делают. Нет-нет да и летит вниз маленькая точка – кирпич.

Что их загоняет туда – по шатким, изржавевшим скобам, на смертельную верхотуру, под ветер, под дождь, под мороз или жаркое солнце? Неужто одни деньги? Как они работают: на чём стоят, чем трубу ковыряют?

Вот подождать бы, дураку, внизу, посмотреть бы на них вблизи, порасспросить. Так ведь нет – срочно, якобы необходимо надо было мне тогда куда-то идти. Куда? Сейчас и под пистолетом не вспомнить...

...А как-то в Кургане, на одном заводе рассказали мне про женщину, работавшую кузнецом. Рассказывала заведующая заводским музеем. Ей, заведующей, когда-то давно нужно было про эту женщину листовку выпустить – про её отличный труд, про опыт. Взяла все данные у начальства – проценты выполнения и перевыполнения, какие взяты обязательства и всё такое. И текст уже заочно написала, но всё же, будучи сама человеком на заводе новым, решила познакомиться лично: опять же через начальство пригласила к себе.

– И вот, – рассказывала мне заведующая, – заходит в музей дама. Фигура, осанка, походка – всё при ней. Одета, обута с иголочки, в маникюре, причёсана парикмахером... «Я такая-то, – говорит, – вызывали? Ничего, что пораньше, а то сегодня я выходная, муж вот в кои-то веки в театр собрался вести, сами понимаете – нельзя его в такой ценной инициативе расхолаживать».

А появилась эта женщина в кузнечном цехе ещё в сорок четвёртом, совсем девчонкой пришла. Как после войны лет через десять полегче стало, много раз пробовали её на другую работу перевести, на более женскую – ни в какую. Отстаньте, говорит, от меня. У нас равноправие, где хочу, там и тружусь. Так и проработала до самой пенсии.

Историю эту я услышал в городе Таре, на пристани, от высокого седого мужчины.

– Вот пишут в романах: произошло, мол, такое, что запомнилось потом на всю жизнь. Чаще всего – враньё это. Чего только лично в моей жизни ни случилось, – если б хоть половину запомнил, – знаешь, какая бы голова была?..

Хотя один особенный случай помню – из детства. И так помню, что за сердце берёт – до мельчайшей крошки.

В сорок первом открыли возле нашего села детский дом.

И вот пришла сверху баржа. Говорят – ленинградских ребяташек привезли. Вышли мы все их встречать. Залез я по трапу на баржу и взял одного пацанчика лет пяти на руки, чтоб на берег его отнести. А он как вцепится в меня, целует. Слушай, говорит, а у вас бомбить не будут? Нет, говорю, не будут, не бойся.

Так пока я его нёс – ты не поверишь – раз пять он меня про это спрашивал: а бомбить не будут? Не будут?

А отнёс я его не в детдом, а к нам домой. Мама, говорю, давай возьмём его.

Ничего, помню, мать не сказала. Выкупала его, покормила. Спать легли. Утром сели завтракать, а на столе одна картошка без хлеба. Едоков вместе с гостем шестеро. Отвела потом меня мать в сторону. Большой, говорит, ты уж, Петя, понимать должен. Разве выходим мы мальчонку твоего на таких харчах? В детдоме ему намного лучше будет.

Заплакал я, помню, в лес убежал. Вернулся к вечеру, а пацана уже нет. Где-то он сейчас?..

Нет, ты только представь себе: а бомбить, спрашивает, не будут? И лёгкий-лёгкий сам...

Я – БЛОГЕР



ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА ЛОШАДИ

Пару лет назад неожиданно стал не кем-нибудь, а... блогером. Пришли вдруг из администрации рекламно-информационного агентства «ОмскПресс» и предложили: пишите, мол, для нашего сайта раз в две недели несколько страниц – о чём хотите. Об окружающей нас жизни-жестянке. О культурной, в частности, её составляющей. О выходящих книжках. Или вспоминайте что-нибудь.

До этого изредка мои посты появлялись на московском сайте «Отчизна», изредка – даже на «продвинутом» (тоже столичном) «Частном корреспонденте». Но чтобы вот так вот – регулярно.

Решил попробовать. Решил воспользоваться возможностью высказываться. Люди моего поколения, поколения «поздних шестидесятников», как-то по-особому ценят такую возможность. А вдруг её опять отберут?..

За первый год вышло сорок два поста. В количественном отношении это, видимо, нормально (учитывая, что почти месяц отсутствовал по уважительной причине – дважды лежал в больницах). Что же касается не количества, а литературного качества текстов, то тут судить, как говорится, не мне. Не все они, разумеется, равноценны. Второй год вообще прошёл без сбоев.

Греет мою авторскую душу то, что часть постов перекочевала потом на некоторые другие сайты, в Живой Журнал – на личные блоги моих друзей – Светланы Василенко (Москва), Александра Раппопорта (Новосибирск), Вячеслава Тогулева (Кемерово), Елены Завьяловой (Омск), а также в «бумажные» издания – журналы «Сибирские огни» (Новосибирск), «Омская муза», «Начало века» (Томск), «Омск театральный», «День и Ночь» (Красноярск), «Балтика» (Калининград), в альманахи «Аргмак» (Казань), в нашу омскую «Складчину», в «Общеписательскую литературную газету» (Москва), в международную газету «Интеллигент»

(Санкт-Петербург), в «Вечерний Омск». Публикации эти были, за редким исключением, безгонорарными и преследовали лишь цель расширить читательскую аудиторию. Но главное не в этом, а в том, что вести блог – это значит иметь постоянную возможность свободно, без всякой оглядки на цензуру и начальство высказываться. А это, повторюсь, для представителя поколения, получившего такую возможность лишь в 1990 году, после отмены цензуры, дорогого стоит.

Кроме того, в результате постепенно сложилась и основа для небольшой книжки – «Блог-пост, или Кровь событий» (Омск, 2012). Для её появления был и личный повод: в прошлом, 2012 году исполнилось полвека моей профессиональной работы в печати. Плюс – двадцать лет, как меня приняли в Союз российских писателей (1992 год). Но, прежде чем рассказать об этом, сообщу некоторые данные биографического характера. Они сосредоточены в предлагаемой читателю автобиографии, составленной, правда, уже давненько – десять лет назад.

Родился я в Омске 27 декабря 1943 года (так что совсем рядом и ещё одна круглая дата, о которой – б-р-р-р! – и говорить-то не хочется).

Моя мать, Зинаида Васильевна Болотова (1908–1975), в молодости окончила знаменитый Худпром – Омский художественно-промышленный техникум имени М.А. Врубеля, где получила специальность художника текстильной промышленности. Но вначале работала не по специальности, а на различных предприятиях Омска, связанных с лёгкой промышленностью (например, нормировщицей).



З.В. Болотова. 1940 г.

Перед войной её пригласили преподавать рисование в Омское казахское педучилище (ныне – педагогический колледж № 1 на ул. Вс. Иванова). Там она и познакомилась с моим отцом и там же проработала до выхода на пенсию. Её родители – Глафира Алексеевна и Василий Васильевич – перед Первой мировой войной перебрались в Омск из Вятской губернии. Дед воевал, был в германском плену, откуда бежал, долго пробирался домой, где его считали погибшим. Шла Гражданская война, и он смог проехать в Омск только после того, как город был занят Красной армией, отеснившей фронт на восток. Был дед первоклассным портным, но в последние годы служил сторожем, сторожил в районе нынешней зоны отдыха «Зелёный остров» вмёрзшую в лёд деловую древесину и погиб, провалившись в полынью, когда мне было несколько месяцев (см. выше эссе «Перед рассветом»). Бабушка прожила до 1972 года, именно она главным образом меня и воспитала.



Э.Я. Лейфер. 1940 г.

Отец, Эрахмиэль Яковлевич Лейфер (1911–1995), окончил в Бийске лесохимический техникум, затем поступил на химфак Ленинградского университета, но вскоре перевёлся в Омский пединститут – трудно было жить и учиться одному далеко от дома. После окончания института преподавал вначале в школе, а затем был завучем Казахского педучилища. Преподавал он физику. В 1958 году, сразу же после учреждения звания заслуженного учителя, был в числе первых четверых, удостоенных в Омске этого звания. В начале 60-х годов организовалось музыкально-педагогическое училище (оно и сейчас находится там же – на ул. Лизы Чайкиной). Учитывая то, что отец был музыкантом-любителем, его назначили

завучем этого училища, там он и проработал до пенсии. Его отец – мой дед Яков Лазаревич – до революции был главным бухгалтером какой-то крупной частной фирмы в Омске, из-за чего у моего отца и у его братьев и сестёр были потом трудности при получении образования: власти с трудом прощали им некоторое отношение деда к капитализму. Вообще же фамилия наша попала в Сибирь не по своей воле: мой предок (дед деда) принял невольное участие в одном из польских восстаний против царского правительства. Он был фельдшером, и повстанцы силой увезли его в свой лагерь, где заставили лечить раненых. Подавлял восстание Муравьёв-Вешатель; предок мой был сослан со всем семейством в Омск.

В первый класс я пошёл учиться в школу № 13 (это на Ремесленных улицах). Затем мы переехали на Линии, и с шестого по одиннадцатый класс я учился в школе № 65.

В последних классах я с трудом осваивал точные науки, больше интересовала литература, сам пробовал что-то сочинять. В доме всегда было много книг, отец собрал неплохую библиотеку, часто дарила мне книги и мама.

Уже тогда я почитывал толстые журналы; как известно, на дворе стояла «оттепель», был пик интереса к поэзии, к гуманитарной, если так можно выразиться, стороне жизни. В одиннадцатом классе от своего одноклассника Гены Кузьмина я узнал, что в Казанском университете открывается отделение журналистики (его дядя работал в этом университете). Туда я и поехал в 1962 году поступать.

Учился в университете с большим интересом. Много дали самостоятельные занятия в богатейшей университетской библиотеке. С первого курса начал попытки сотрудничества с местными газетами – университетской многотиражкой «Ленинец», «Комсомольцем Татарии» и «Советской Татарией». Пробовал писать и рассказы.

Преддипломную практику проходил в «Омской правде», в конце практики редактор газеты Иван Дмитриевич Фадеев

пригласил меня и мою тогдашнюю жену Галину Усенко (она училась со мной в одной группе и тоже проходила практику в «Омской правде») приехать после окончания университета работать в его газете. Что мы и сделали.

Годы работы в «Омской правде» (1967–1972) вспоминаю с удовольствием. И не только потому, что приятно вспоминать молодость. Благодарен судьбе за то, что попал в редакции в доброжелательную и, главное, истинно творческую атмосферу. Всегда было на втором, на третьем и на десятом



*Журналисты «Омской правды»: (слева направо) заведующая отделом партжизни Р.Б. Сергеева, замредактора А.Г. Яценко, литсотрудник промотдела Г.П. Усенко, завотделом культуры В.П. Ляшко, литсотрудник сельхозотдела О.Л. Ячменёв, замответсекретаря И.А. Городов, литсотрудник отдела культуры Е.Н. Злотина, литсотрудник отдела советского строительства и быта А.В. Абрамский, завсельхозотделом М.И. Сильванович, литсотрудник отдела партжизни М.Ф. Кулешов, внизу – литсотрудник отдела культуры А.Э. Лейфер. Дом печати, 22 апреля 1972 г.**

* В этот день, кто не знает или забыл, по всей стране ежегодно проводился Всесоюзный ленинский коммунистический субботник, выходили на него и мы (попробуй – не выйди!), полдня что-то подметали вокруг Дома печати, а потом все вместе дружно, весело и с удовольствием употребляли оскорбляющие человеческое достоинство напитки.

месте, сколько ты зарабатываешь, главное – как ты пишешь. Учился у таких, например, людей, как Елена Злотина, Михаил Сильванович. Воспитывала и Доска лучших материалов. Попасть на неё можно было после решения летучки, то есть производственного редакционного совещания, которое проводилось еженедельно. От всяческих бытовых неурядиц защищала широкая спина И.Д. Фадеева, которого мы хоть и поругивали «сталинистом» и «самодуром», но который, как я теперь понимаю, был для газеты настоящей опорой, а для многих из нас – настоящим защитником.

Начал работать я в «Омской правде» в августе 1967 года, а уже где-то в декабре Елена Злотина отвела меня в Союз писателей – на заседание областного литобъединения. В 1970-м и 1972 годах был участником областных семинаров молодых авторов, они (особенно первый) были для меня весьма удачными. Помню, подводя итоги семинара 1972 года, один из его руководителей – редактор журнала «Сибирские огни» Анатолий Васильевич Никульков сказал: «А Лейфера чтоб мы на этих совещаниях больше не видели, это вполне сложившийся литератор, способный без всяких семинарских рекомендаций сотрудничать с журналами и издательствами; нечего на него драгоценное время тратить». Этот грубоватый комплимент я воспринял как руководство к действию. Начал печататься в тех же «Сибирских огнях», которые до сих пор считаю своим родным журналом.

В 1972 году мы расстались с Г. Усенко, я уволился из «Омской правды». В последующие годы работал главным образом (хотя были и исключения) на договорных началах, то есть не входя в штат того или иного СМИ. Был литературным консультантом газет «Молодой сибиряк» и «Вечерний Омск», много сотрудничал с радио и телевидением (передачи «Зовут "Сибирские огни"», «Сибирская литература: день сегодняшний», «Дедушкина библиотека», «Из литературного прошлого Омска», «Живое прошлое» – вёл их по несколь-



Автор книги с сыновьями – Антоном (слева) и Дмитрием. Омск, 2001 г.

ку лет). Много дала штатная, хотя и непродолжительная (1980–1983) работа в Омском краеведческом музее, где мы организовывали нынешний Литературный музей им. Ф.М. Достоевского.

Печатался в журналах, альманахах и коллективных сбор-

никах, выходивших не только в Омске, но и в Москве, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове.

Выпустил книги: «"Сибири не изменю!.." Страницы одной жизни» (о П.Л. Драверте; Новосибирск, 1979), «Прошлое в настоящем. Очерки» (Омск, 1984), «...Буду всегда жива. Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях» (Омск, 1987), «Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках» (Омск, 1989 – первая премия Омского филиала Всероссийского фонда культуры и Омской областной организации Союза журналистов), «"Вокруг Достоевского" и другие очерки» (Омск, 1996 – премия Администрации Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства).

В 1992 году принят в Союз российских писателей. При основании Омского отделения Союза российских писателей (1993) был избран его ответственным секретарем (председателем).

Редактор выходящего с 1995 года альманаха «Складчина». Член редколлегии всероссийского журнала (выходящего в Красноярске) «День и Ночь», где часто печатаются омские литераторы.

Выросли двое сыновей – Дмитрий (1969 г. р.) от первого брака и Антон (1978 г. р.) от второго брака с Верой Павловной Лейфер, нынешней женой.

Январь 2002 г.

Прошло десять лет с того момента, как по просьбе одного из омских госархивов была написана эта автобиография, но в моей жизни мало что изменилось. «Догнал» отца – тоже стал заслуженным, только по другой линии. Занимаюсь тем же, чем занимался всю предыдущую жизнь, – пишу. Вышло ещё несколько художественно-документальных книг, они и другие мои публикации перечислены в биобиблиографическом указателе «Александр Лейфер», выпущенном областной научной библиотекой имени А.С. Пушкина (Омск, 2008).

Среди изданного за последние годы я назвал бы документальные повести «Мой Вильям» (Омск, 2003 и 2006) и «Разгадать замысел Бога...» (Омск, 2006), а также небольшую книжку «На добрый вспомин...» (Омск, 2005). Первая посвящена моему другу – поэту Вильяму Озолину, вторая – крупному учёному, уроженцу Омска Александру Горбаню, а третья небольшая книжка особо мне дорога, она о человеке, которого я, как и В.Г. Уткова, считаю своим учителем, – о замечательном омском краеведе Андрее Фёдоровиче Палашенкове.

Кроме того, помог выпустить книги нескольким людям. Это вдова писателя Петра Карякина – Тамара Викторовна, с которой мы составили сборник избранных произведений её мужа (Филипповы дети. – Омск, 1990). Это знаменитый хоккейный тренер, в своё время сделавший наш омский «Авангард» по-настоящему серьёзной командой, Л.Г. Киселёв (Судьба моя – хоккей. – Омск, 1995). Это врач Н.Н. Усынина, рассказавшая об одном из старейших медицинских учебных

заведений Омска – республиканском медколледже, где она трудилась много лет преподавателем (Нет дорожке этих лет. – Омск, 2000). Много пришлось поработать над книгой об ОАО «Омскагрегат» «Между прошлым и будущим» (Омск, 2001). Следует включить в данный список и книгу моего друга детства – гендиректора «Омскагрегата» Е.Г. Руденко «Что было, то было...» (Омск, 2008). Нелегко далась рассказывающая об ОАО «Омскнефтехимпроект» «Открытая книга», роскошно изданная в Новосибирске (2008). Особое место занимают посмертный сборник избранных произведений моего товарища и коллеги – экс-директора Омского краеведческого музея Ю.А. Макарова «Бессонница» (Омск, 2008), который мы составляли вместе с его женой – А.И. Макаровой, а также сборник публицистики почётного гражданина города Омска, заслуженного строителя России Ю.Я. Глебова «Вчера и сегодня» (Омск, 2009). Не считаю время, ушедшее на литературную запись, составление или редактирование этих книг, временем, потраченным напрасно.

Если же говорить о книге «Блог-пост», то, как уже говорилось выше, есть личная причина, что именно в прошлом, 2012-м, году мне пришлось подводить ею некоторые «предварительные итоги». Именно в этом году исполнилось пятьдесят лет моей профессиональной работы в печати. Отсчёт (кстати, совершенно официальный) идёт от первой публикации. А состоялась она 15 сентября 1962 года в маленькой двухполосной многотиражке Казанского университета «Ленинец».

Как только мы стали студентами, нас – по обычаю того развесёлого времени – тотчас же, не прочитав нам ни единой лекции, не устроив в общежитие, отправили на уборочную – в большое, находящееся в глубине Татарии село Алексеевское, где располагался совхоз «Красный Восток». Мы возили кукурузный силос, перелопачивали зерно, убирали картошку и кормовую свёклу. Меня, городского маменькиного сынка, отрядили работать не кем-нибудь, а возчиком. Лошадей я до

этого видел только издали, а тут пришлось научиться их запрягать (а это, доложу я вам, целая наука!).

Однажды в Алексеевское приехал университетский проверяющий – аспирант с кафедры истории КПСС. Оказалось, что, кроме всего прочего, у него есть поручение к нам, новоиспечённым студентам отделения журналистики: редакция университетской многотиражной газеты просила нас написать о том, как мы живём и работаем. Вечером в общежитии, под которую совхозное руководство приспособило к нашему приезду свою старую контору, я уселся на нары, положил на колени большой блокнот и принялся сочинять свою первую в жизни заметку. Утром переписал её начисто, вырвал из блокнота исписанные листки и отдал их проверяющему.

А дней через десять он вновь приехал в Алексеевское, появился в совхозной столовой то ли во время завтрака, то ли в обед и стал раздавать привезённый с собой свежий номер газеты. На его второй странице под рубрикой «Будни трудовые» была напечатана статейка, незамысловато озаглавленная – «В совхозе "Красный Восток"», под ней красовалась моя подпись: «А. Лейфер, студ. 1 курса истфилфака, отделение журналистики».

Впервые я увидел свою фамилию, набранную типографским шрифтом... Волнуясь, читал я своё сочинение, буквы прыгали в глазах. И уже через пару минут испытал на себе первые в своей жизни недоброжелательные критические отзывы. Ехидная второкурсница-филологиня по прозвищу Профанация (она то и дело к месту и не к месту произносила это словцо – «профанация») вслух, причём соответствующим ироническим тоном, прочитала следующие мои строки:

«Не обойтись в совхозе и без живых, мускульных двигателей мощностью в одну лошадиную силу. Их нам тоже доверяют, и это, пожалуй, самое интересное. Неторопливо, с достоинством идёт лошадь, смотрит на тебя умными, мутно-голубыми глазами, трясётся и скрипит телега».

– Вы слышали?! «Мутно-голубые глаза»! Это надо же такое сочинить! Ведь это же полная профанация!..

Слушатели с готовностью засмеялись.

Спорить я не стал. И обиделся, помню, не сильно. Скорее был удивлён – в глубине души надеялся, что меня станут поздравлять, а тут такое.

И, если по большому счёту, то в общем-то до сих пор благодарен этой развесёлой бывалой студентке Профанации, настоящее имя которой я, к стыду своему, позабыл, благодарен за хороший и нужный урок. Ведь, сама того не ведая, она наглядно показала мне: пишущего человека ждут не только и не столько лавры славы и доброжелательное похлопывание по плечу, а чаще всего – такая вот неприятная критика. И часто она, эта критика, бывает несправедливой: ведь глаза у моей изящной и резвой кобылки Земфиры были и в самом деле умные, и в самом деле голубые – от отражавшегося в них голубого сентябрьского неба. Зуб даю!

ЧТО ТАКОЕ ХУДПРОМ?

Однажды друзья из Музея изобразительных искусств имени М. Врубеля пригласили меня на необычное чаепитие. Стол был накрыт в одном из залов бывшего генерал-губернаторского дворца, среди собранных здесь произведений искусства. Во время этого чаепития сотрудники музея подводили итоги выставки «О творчестве, о жизни, о себе... (Личные архивы омских художников XX века)».

Пришёл я пораньше и познакомился с выставкой. Она была устроена к десятилетию документального фонда – самого молодого фонда музея. Несмотря на свою молодость, он сделал уже немало – сосредоточил в себе девятнадцать коллекций, шесть из них были представлены на выставке. Это материалы, связанные с творческими биографиями художников Виктора Уфимцева (1899–1964), Владимира Белова (1923–1988), Владимира Бичевого (1934–2007), Василия Волкова (1909–1988), Алексея Сапожникова (1922–1988) и Николая Третьякова (1926–1989). И каждая из этих коллекций – как айсберг, у которого видна только одна десятая часть.

Прежде всего это относится к коллекции народного художника Узбекистана Виктора Уфимцева, чья молодость прошла в Омске. Большая удача, что директор московской «Галеев – Галереи» И. Галеев подарил Омскому музею немало ценных уфимцевских материалов. Ведь В. Уфимцев, живя в Омске, дружил со многими здешними художниками и литераторами, например, с поэтом Л. Мартыновым, прозаиками К. Урмановым, Б. Четвериковым и Вс. Ивановым, театральным критиком Б. Жезловым. Музей располагает теперь их автографами. Частично это богатство опубликовано, немало в этом направлении потрудились омский искусствовед Ирина Девятьярова, но многое ещё предстоит открыть.

То же самое можно сказать и об архиве художника Николая Третьякова, который сдала в музей его вдова – известный археолог И.В. Захарова. Я имел честь быть знакомым

с Николаем Яковлевичем (через своего друга – поэта Вильяма Озолина), не раз бывал в его мастерских – в «фонаре» жилого дома возле Советского райисполкома, на первом этаже Дома художников, на улице Лермонтова (в «доме Сорокина»), во «вставке» на улице Ленина. Само обстоятельство, что творческие помещения то и дело менялись, что все они (за исключением, пожалуй, только мастерской в Доме художника) были мало приспособлены к полноценной работе, говорит о постоянном «неудоме», в котором при прежнем политическом режиме жил вечно находящийся под «подозрением» у руководства смелый новатор Н. Третьяков. Он мыслил свежо и неординарно, намного опережая своё время.

А художника Владимира Белова хорошо знал мой отец – тот учился у него (в 20-й, кажется, школе), когда отец преподавал там физику. Став художником, В. Белов всегда приглашал его на свои выставки.

Кроме персональных коллекций, документальный фонд собирает материалы, касающиеся художественных организаций, объединений и учебных заведений Омска. В част-



*Омский художественно-промышленный техникум.
Фотография 1920-х гг. Из фондов Омского областного музея
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.*

ности, Художественно-промышленного техникума имени М.А. Врубеля – Худпрома. Это интересовало меня больше всего – ведь текстильный факультет Худпрома оканчивала моя мать – Зинаида Васильевна Болотова (1908–1975), и в своё время я передал в музей её выпускную фотографию 1928 года.

Фото моей мамы вмонтировано в левой нижней части выпускной композиции, а в левом верхнем углу – изображение другой выпускницы, носившей такую же фамилию, – Тамары Болотовой, маминой однофамилицы и подруги.



Третий выпуск художников-техников текстильного отделения художественно-промышленного техникума. 1928 г.

К сожалению, имею сведения ещё только о двух выпускниках. Рассказывала мама о Сергее Барчане (на фото он внизу, в галстук-бабочке). Он был, что называется, душой общества. В доме Сергея иногда по вечерам собирались худпромовцы – танцевали под патефон, читали стихи, в том числе – полузапрещённого Есенина. Умер Барчан (от туберкулёза).

Лично знал я только Ольгу Ильиничну Волкову – близкую мамину подругу. Её отец – художник Илья Васильевич Волков (1875–1938) – преподавал в Худпроме, участвовал во многих художественных выставках со своими пейзажами и жанровыми композициями. В 1936 году в Омске состоялась его персональная выставка, а вскоре он был арестован органами НКВД. Помню рассказы матери об аресте. В спешке арестованного вывели из дома, даже не дав переобуться. При этом уверяли его и членов семьи, что не имеют сейчас буквально ни одной минуты, что сегодня же, разобравшись с какими-то формальностями, его доставят обратно. А потом пожилого художника, так и обутого в домашние тапочки, случайно увидела соседка – он шёл в колонне, которую гнали по омской улице в сторону вокзала. Домой И.В. Волков не вернулся. Мать несколько раз рассказывала мне эту историю и каждый раз плакала.

Работала Ольга Ильинична, как и моя мама, преподавателем рисования. Мне она запомнилась улыбающейся и несколько ироничной, до сих пор стоит в глазах её интеллигентное лицо, обрамлённое продуманной причёской с седыми прядями. Хорошо знал её сына – Юрия, красивого, высокого и крепкого парня. Когда его деда реабилитировали, то дали семье какую-то сумму денег. На них отправили Юрия на курорт – поправить здоровье (он с юности страдал эпилепсией). Работал на стройках плотником, был в своей строительной организации очень уважаемым человеком. Погиб рано – захлебнулся во время припадка, который случился, когда он купался.

В музее ИЗО собралось уже немало документов и художественных материалов о Худпроме. В этом уникальном учебном заведении, кроме текстильного, было ещё че-



О.И. Волкова

тыре факультета – полиграфический, деревообделочный, живописно-декоративный и архитектурный. С Худпромом связаны творческие биографии известных художников – К. Белова, К. Щёктова, Т. Козлова, В. Волкова, архитекторов – Г. Капустина, П. Русинова, Е. Семёнова, Е. Степанова.

Однажды (где-то в конце шестидесятых годов), узнав, что я в качестве корреспондента «Омской правды» иду на открытие персональной выставки Кондрата Белова и буду там с ним разговаривать, мама попросила меня передать ему привет.

– Это которая же Болотова? – спросил меня Кондратий Петрович, когда я выполнил просьбу мамы. – Тамарка или Зинка?

Я ответил, что маму мою зовут Зинаида и что ей уже за шестьдесят.

– Да, помню, помню – все они младше меня были...

И, подкрутив свои знаменитые усы, тоже передал поклон.

Сотрудники музея дорожат любыми подробностями, связанными с техникумом, интересуются буквально каждым из его преподавателей и выпускников. Говорят, планируется большая выставка, посвящённая этому уникальному учебному заведению. Поэтому я передал в музей часть маминой переписки, некоторые документы и её фото в молодости.

Передан, в частности, и подлинник Свидетельства об окончании техникума (копию я оставил себе). Документ этот интересен прежде всего тем, что в нём перечислены все дисциплины, которые проходили студенты за четыре года обучения. Среди них есть, например, «История культуры и быта», «Сибиреведение», «История орнамента», «Теория теней и перспективы», «Изучение стилей», «Специальный курс по искусству в тканях». Одним словом, учили их основательно.



З.В. Болотова. 1920-е гг.

САША

Эссе с хорошим постскриптумом

В теленовостях был сюжет: власти Латвии намерены закрыть Рижский театр русской драмы. Из экономии. В связи, естественно, с мировым кризисом.

Я не театрал. Но до сих пор помню лето 1976 года, гастроли этого театра в Омске. Большую часть их пропустил – меня не было в городе, но на главное событие гастролей, к счастью, попал. Речь идёт о единственном (вне афиши и только по пригласительным билетам) спектакле «Утиная



А.В. Вампилов

охота» по Вампилову. Задержись я хоть на неделю в Якутии, куда посылал меня за репортажем журнал «Сибирские огни», и этого бы события в моей жизни не состоялось...

Не буду и пытаться передать тонкости – столько лет всё-таки прошло. Но до сих пор осталось в душе ощущение от потрясения. Потрясения не столько (да простят меня люди театра) от актёрского мастерства и режиссуры, сколько от открывшегося второго, третьего и бог знает ещё какого смысла, внутреннего пласта вампиловского текста.

Каждый, каждый из нас, в общем-то, Зилов. В большей или в меньшей степени.

И никогда в жизни – ни до, ни после этого спектакля – не наблюдал я такого: зрители вышли из театра и долго – может быть, около часа – не расходились, стояли возле театрального здания. Некоторые вполголоса разговаривали. А некоторые просто молчали... А после я несколько раз видел, как в кафе Дома актёра люди подходили к исполнительнице роли Зилова и благодарили – просто жали руку. (Через

несколько лет мне рассказали, что этот актёр, как и Вампилов, погиб. И смерть его была не менее дикой и глупой, чем у Саши, – попал под трамвай.)

И вот этот театр – один из лучших на всём огромном пространстве бывшего Союза – пытаются закрыть...

Что же касается моего знакомства с Александром Валентиновичем Вампиловым, моих встреч с ним в Иркутске и Омске, состоявшихся в 1971 году, то вот несколько запомнившихся штрихов.

Он ехал тогда в столицы – на две свои премьеры и сделал короткую остановку в Омске. К тому времени мы были уже немного знакомы. А познакомились в Иркутске, куда месяца за полтора до этого я приезжал на совещание литературных критиков Сибири. Открывалось наше совещание в каком-то большом торжественном зале, где собрались не только



*Эклибрис Вампилова
работы иркутского
художника А. Аносова.
1971 г.*

гости, но и большинство иркутских писателей. Вот тогда-то я впервые и увидел Александра Валентиновича. Но те иркутские встречи были мимолётными, все разговоры короткими, состоявшимися, что называется, на ходу. (Правда, Саша успел познакомиться меня и со всеми остальными тремя членами легендарной неформальной литературной группы «иркутская стенка», в которую входил и сам, – Валентином Распутиным, Геннадием Машкиным и Вячеславом Шугаевым.)

И вот Саша в Омске, пришёл в мой дом.

...Мало встречал я людей, разговаривать с которыми было бы таким же наслаждением. С виду он был немного странен. Чёрные его кудри были такой густоты и нечёсанности, что казалось – в них согнётся и стальная расчёска.

Но был он красив, когда говорил. Голос тихий, спокойный. Такой голос не приходится повышать, чтобы его услышали, просто, когда начинает звучать такой голос, все и так умолкают. Сами. Ибо таким голосом не произносят пошлых глупостей. Таким голосом разговаривают с друзьями, ведут беседу, а не вещают, не самоизливаются, не повторяют бесчисленное количество раз «я», «мне», «у меня».

Гость рассказал, что до того, как пойти ко мне, он обошёл все «достоевские» места города. Был и у комендантского особняка, и во дворе медицинского училища, где много лет назад располагался сам Мёртвый дом, и возле деревянного зданьяца, где была когда-то арестантская палата и где Фёдор Михайлович часто получал передышку, благодаря доброте милейшего Ивана Ивановича Троицкого — штабс-доктора военного госпиталя...

А потом Саша говорил, что перед отъездом он перечитал «Записки из Мёртвого дома». Говорил, что это замечательная, глубочайшая книга, и она не такая уж страшная, как мы привыкли считать. Много в ней и смешного. Но дело не в страхе или в смехе, а в том, что она уникальна, эта книга, — своей философией, своим доходящим до недостижимых пределов психологизмом и тем, что она очень русская. Никакой француз, никакой немец не смог бы написать такую книгу, просиди он в каторге не четыре, а хоть сорок лет. И говорил ещё Саша, что плохо у нас понимают эту книгу, мало говорят о ней, неумело толкуют.

Он расспрашивал меня о разных подробностях сибирских лет Фёдора Михайловича, о разных деталях и деталях. И очень жалел, что арка крепостных Тобольских ворот с обеих сторон забрана сейчас решётками и нельзя под ней пройти, как сотни раз проходил когда-то каторжник Достоевский, таская для крепостных построек кирпич, или просто так — с работы и на работу.

С детства я привык к тому, что имя этого великого писателя ставят с именем моего города. Я тоже любил и люблю «За-



*Памятник А. Вампилову
в Иркутске. Скульптор
М. Переяславец*

До сих пор храню старый номер иркутского альманаха «Ангара» с первой публикацией «Утиной охоты» (1970. – № 6). Вот и Сашина дарственная надпись: «...на добрую память, на дружбу. Старина, не забывай Иркутск. Ноябрь 1971».

Пьесу предваряет короткое, на страничку, предисловие Марка Сергеева – тогдашнего руководителя иркутских писателей. Но ни это предисловие с его обращениями к Гоголю и «лауреату Ленинской премии» Межелайтису, ни купюры в самом тексте пьесы не избавили М. Сергеева от

партийной выволочки, а главного редактора «Ангара» Анатолия Шастина от увольнения. Правда, далеко не все тогда знали (сейчас-то об этом давно уже можно рассказать), что всё было обговорено и срежиссировано заранее: «Вы (то есть писательская организация и альманах) печатаете пьесу, а мы (то есть обком компартии) собираем потом бюро и снимаем редактора». Так всё и было сделано – разыграно, как по нотам, – вплоть до предварительного приискания: а) кандидатуры нового редактора и б) другого места работы А. Шастина. Полное тогда получилось взаимное удовлетворение: и «меры» приняты, и – главное – пьеса напечатана. Сидели же, чёрт побери, кое-где и в обкомах хорошие ребята!..

P.S. Как хорошо, что братья-журналёры иногда врут! Или (выразимся поделикатней) не всегда проверяют полученную информацию перед тем, как её обнародовать.

Это я к тому, что слухи о закрытии Рижского театра русской драмы оказались слегка преувеличенными. А если уж поточнее, то реальные факты прямо противоположны тому, что утверждалось в теленовостях.

Прочитал в Интернете интервью директора театра Эдуарда Цеховала (между прочим, бывшего омича), в котором он с восторгом рассказывает о том, что длившаяся долгих два года реконструкция здания театра завершена, стоила она огромную сумму – семнадцать миллионов латов (шестнадцать из них выделено по решению Рижской думы). Что коллектив, уставший мыкаться по чужим площадкам, возвращается в родное здание на улице Калькю. Что театр оснащён теперь новейшей театральной техникой, сменил мебель (в том числе и кресла в зрительном зале), убрал из первого этажа торгующие модным барахлом бутики... И т. д. и т. п. А рядом – снимки великолепных обновлённых интерьеров старинного театрального здания.

Как хорошо, что братья-журналёры... Впрочем, я повторяюсь...

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ

Хочу поделиться своими впечатлениями о том, как провёл однажды День памяти А.С. Пушкина. Считаю, что подробности будут интересны не только мне. На этот праздник я неожиданно был приглашён в омскую школу № 13, о которой я немного уже говорил в эссе «Три школьных здания энд «Жара»». Расположена она на одной из городских окраин – на 7-й Ремесленной. Это моя родная, самая первая в жизни школа, здесь я проучился до шестого класса.

Признаюсь, что до этого приглашения ничего не знал и о том, что когда-то, ещё до войны, школа наша носила имя А.С. Пушкина, присвоенное ей в 1937 году, когда вся страна отмечала Пушкинский юбилей – столетие со дня его гибели. И вот оказывается администрация школы официально, через городскую Топонимическую комиссию добилась, чтоб имя великого поэта их школе было возвращено.

10 февраля всё в школе было посвящено Поэту – все внеклассные мероприятия, классные часы и все уроки – не только литературы, истории или русского языка, но и биологии, алгебры, иностранного языка. Вот, например, темы некоторых занятий: «А.С. Пушкин auf Deutsch», «А.С. Пушкин – математический гений», «Имя А.С. Пушкина в истории, культуре и искусстве города Омска». А вечером ребят ждал Музыкальный театр – 10 февраля там давали балет «Руслан и Людмила».

Сходил на один из уроков и я. Послушал, как читают пушкинские стихи о любви сами ребята – одиннадцатиклассники, а потом немного, что знал, рассказал о юбилее тридцать седьмого года. О том, каким грандиозным государственным праздником он был. О начавшем тогда выходить первом шестнадцатитомном Полном академическом собрании сочинений поэта, которое не утратило своего значения до сих пор. О небывалой по охвату и разнообразию материалов Всесоюзной пушкинской выставке, развёрну-

той в московском Историческом музее. О сотнях библиотек, клубов, школ, населённых пунктов и улиц, получивших в тот год имя А.С. Пушкина. Рассказал я и о нашей любимой учительнице литературы – Симе Борисовне Протопоповой, которая здесь, в тринадцатой школе, учила нас понимать Пушкина. До сих пор помню набор посвящённых жизни поэта открыток, который она приносила на свой урок и про который рассказывала, что приобрела его в Ленинграде именно в 1937 году, во время юбилейных торжеств. Набор этот был удивительно ярким, видимо, поэтому Александр Сергеевич запомнился мне весёлым и голубоглазым – до сих пор так и стоит в глазах.

В 1999 году, когда одно тысячелетие сменяло другое и многие ждали в связи с этим чего-то особенного, каких-то небывалых перемен, Омская мэрия и редакция газеты «Вечерний Омск» задумали проект «Омск в XX веке: факты, события, судьбы». Курировать этот проект было поручено кандидату исторических наук Александру Ремизову и вашему покорному слуге. Мы с Александром Викторовичем готовили большие – на полосу, а то и на две – подборки материалов, в которых старались рассказать о местной истории с необычных, а точнее – с непривычных позиций. Например, в полосе, посвящённой тридцатым годам, есть небольшая статья «Пушкиниана тридцать седьмого года», где говорится о том, как отмечался юбилей поэта в нашем городе. А рядом помещена моя беседа с видным омским учёным, доктором исторических наук В.М. Самосудовым (1926–2000), материал напечатан под характерным заголовком – «Планы расстрелов перевыполнялись...» Да, по жуткой иронии судьбы именно на «пушкинский» 1937 год пришёлся пик политических репрессий – до сих пор до конца

не понятой странной войны, которую вела наша тогдашняя власть с собственным народом. В конце беседы я спросил у Вениамина Михайловича, какова, по его мнению, была конечная цель репрессий? Допустим, жестокость, с которой проводилась та же коллективизация, можно хоть как-то объяснить: за счёт выжимания всех соков из деревни осуществлялась необходимая, как воздух, индустриализация – впереди маячила большая война. Но чем объяснить массовые расстрелы ни в чём не виноватых людей, в том числе и тысяч опытных кадровых офицеров, прошедших Гражданскую, Халхин-Гол, Испанию?

Ответ историка и сегодня представляется мне несколько туманным: «На мой взгляд, – сказал он тогда, – сверхзадача всей этой жестокости была одна – подавить всякое сопротивление режиму, исключить малейшую возможность оппозиции, внедрить всеобщий страх и во что бы то ни стало удержаться у власти. Доносительство стало нормой поведения. Это поощрялось как проявление бдительности... Объявлялось: "Все мы – сотрудники НКВД". Народ становился участником расправы с мнимыми врагами. А для режима уже сам народ становился врагом...» (Вечерний Омск. – 1999. – 27 апреля).

Насколько я понял, школа № 13 – сегодня одна из лучших в Омске. Недаром несколько лет назад она стала победителем Всероссийского конкурса в рамках национальной приоритетной программы «Образование» и получила грант в миллион рублей. На этот миллион для школы сделано немало хорошего. Например, вставлены современные окна, приобретены такие «крутые» компьютеры, в которых нет системных блоков – только клавиатура и экран, в него и упрятаны все «системные» премудрости. Трое педагогов

школы стали (тоже недавно) лауреатами Всероссийского конкурса учителей и получили индивидуальные гранты по сто тысяч рублей. И вообще – каждый второй в педколлективе чем-то награждён в последние годы за свою профессиональную деятельность – либо на федеральном, либо на региональном уровне. В учебном процессе упор здесь делается на изучение гуманитарных и общественных предметов, а следовательно, можно надеяться, что история преподаётся так, что молодые люди в итоге по-настоящему задумаются, чем же был для нашей Родины 1937-й «пушкинский» год. Продолжается процесс рассекречивания архивов НКВД, и кто знает, может быть, поколение нынешних старшеклассников приблизится к разгадке одного из самых мрачных и противоречивых моментов нашего прошлого.

Нынче школа № 13 официально позиционируется как «школа диалога культур». Замечательное слово «диалог» – ведь именно диалог часто избавлял человека от многих и многих неприятностей. На сайте школы сказано: «Школа № 13 обеспечивает условия для раскрытия духовного, интеллектуального и физического потенциала личности на основе освоения богатого наследия культуры, воспитывает чувство человеческого достоинства, независимость суждений, ответственность за свои действия, гражданственность, любовь к Родине». Прекрасные намерения! С ними никак не сочетаются слова, которые употреблялись выше, – «репрессии», «расстрелы», «доносительство». И это вселяет надежду.

Пока же школа торжественно сменила вывеску, сделано это было в тот же День памяти А.С. Пушкина: теперь над входом в школьное здание появилось изображение великого поэта. Надо полагать, это уже навсегда.

ПАРАДОКСЫ ЕФИМА БЕЛЕНЬКОГО

В середине семидесятых, зимой, я прилетел в Якутск для того, чтобы поработать в Якутском республиканском госархиве с документами, касающимися поэта и учёного Петра Драверта, – собирал материал для книжки о нём (после участия в революции 1905 он отбывал в Якутске ссылку). В один из дней, когда сидел в читальном зале архива, вдруг пригласили к телефону. Звонить мне мог только один человек – якутский прозаик Семён Никифоров, с которым мы за несколько лет до этого познакомились на отдыхе в Абхазии, больше никого здесь я не знал.

– Тебя разыскивает Леонид Попов, этот наш известный поэт, – сказал мне Семён. – Заходи после архива в Союз писателей...

Ни про какого Попова я и слыхом не слыхал, поэтому пришёл в Союз несколько заинтригованный.

– Сёма сказал, что вы из Омска, – пожав мне руку, начал разговор Попов – пожилой, улыбчивый человек. – А знаете Ефима Беленького?

Я ответил, что очень даже хорошо знаю, и в ответ на расспросы Попова начал рассказывать ему о Ефиме Исааковиче. Оказывается, незадолго до этого в журнале «Сибирские огни» появилась рецензия Беленького на сборник Леонида Попова «Песни Вилюя», который перевёл с якутского Анатолий Преловский. Как видно, хорошие слова, сказанные маститым сибирским критиком в авторитетном журнале, весьма поддержали якутского стихотворца, благодарен он был моему земляку безмерно.

И я, помню, подивился тогда прихотливости и даже некоторой парадоксальности ситуации, связавшей изысканнейшего, тончайшего знатока литературы и этого, с немалым акцентом говорившего по-русски якута.

Но, если вдуматься, парадоксов и неожиданных поворотов в судьбе Ефима Исааковича было больше, чем достаточно.



Взять, к примеру, его участие в войне: два ранения в первом же бою под Шкловом 10 июля 1941-го и третье на следующий день, уже во время эвакуации в тыловой госпиталь – поезд, в котором раненого Ефима везли в тыл, попал под бомбёжку. После четырёхмесячного лечения медицинская комиссия признала его негодным к дальнейшей службе.

А затем был второй призыв – на этот раз в трудовую армию. И он оказался в глубоком тылу – в горняцком посёлке на Дегтярском медном руднике под Свердловском. Пришлось осваивать новое, совершенно неизвестное для выпускника литературного факультета Смоленского пединститута дело, а вскоре даже встать во главе цеха.

Думается, далеко не всем его тогдашним товарищам, добывающим столь нужное для фронта сырьё, было известно, что рядом с ними трудится человек, ещё недавно водивший знакомство с Михаилом Исаковским, Николаем Рыленковым, Александром Твардовским, публиковавшийся в смоленском журнале «Наступление», сотрудничавший с газетами и радио.

Мне в своё время не раз приходилось писать о Ефиме Исааковиче для омских газет, брать у него интервью, а следовательно – не раз задавать ему вопрос о его творческих планах. Однажды он сообщил, что собирается взять в Союзе писателей командировку и съездить именно на тот медный рудник, где довелось трудиться в тяжёлые военные годы. Съездить, освежить в памяти те события, а затем попробовать написать обо всём этом. Не знаю, осуществилась ли такая поездка и остались ли её следы в его архиве, но само намерение говорит о многом.

После победы Ефим Беленький приезжает в Омск и в соответствии с назначением Министерства просвещения ста-

новится преподавателем пединститута. Наш город стал его второй родиной, именно здесь формировался он и как опытный работник высшей школы, и как исследователь литературы, и как литературный критик.

Не всё шло гладко. В 1949 году, когда в обеих столицах шла азартная охота на «безродных космополитов», ретивые партфункционеры решили поискать таковых и в наших сибирских палестинах. Исполнителем была назначена омская журналистка, которая в своё время, будучи ещё комсомолкой, уже продемонстрировала безаветную преданность всегда «единственно верной» линии партии, – когда её отец был объявлен «врагом народа», публично отреклась от него. За что и получила прозвище «Павлик Морозов», которое не отклеилось от неё до конца жизни. А тогда, в сорок девятом году, она напечатала в «Омской правде» статью, главным «антигероем» которой стал преподаватель Омского пединститута и нештатный сотрудник той же «Омской правды» Е.И. Беленький (не так давно, когда в нашем городе отмечалось столетие со дня рождения Е.И. Беленького, об этом эпизоде подробно рассказал омский литератор Марк Мудрик – журнал «Бизнес-Курс», 18 июля 2012 г.). К счастью, кампания по борьбе с «космополитизмом» была уже на исходе и оргвыводов по отношению к омскому «антигерою» после данной статьи сделано не было; оправившись от нервного стресса, Е.И. продолжил свою преподавательскую и литературную работу.

(В скобках замечу, что вполне успешно развивалась в дальнейшем и карьера авторши этой статьи: вначале она стала одним из руководителей «Омской правды», затем первым лицом областного Комитета по телевидению и радиовещанию – партия, повторюсь, умела ценить преданность. В какой бы уродливой форме это не проявлялось. Уж не знаю, как эта руководящая дама смотрела в глаза собственной матери после того, как был реабилитирован её отец, но от глаз Ефима Исааковича свой взгляд она отнюдь не отводила.

А встречаться им приходилось довольно часто – ведь вначале он был автором многих статей для руководимой ею газеты, а затем – большого количества передач для Омского радио. Сейчас время всё уравнило: в Энциклопедии Омской области про них обоих помещены одинакового объёма заметки, и даже фотки к текстам даны тоже одинакового размера. Шекспир, как говорится, отдыхает.)

Сейчас начинаешь понимать, что, несмотря на весь свой внешний академизм, как критик Ефим Беленький всегда был актуален, а в некоторых случаях даже намного опережал своё время.

«Литературный ли город Омск?» Так называется статья, открывавшая книгу «Из сибирской тетради» (1978). Статья написана остроумно и с изяществом, она отвечает на поставленный в названии вопрос утвердительно, автор на ярких примерах доказывает: литературные традиции города на Иртыше имеют крепкие корни в прошлом, а его литературное сегодня и интересно, и перспективно. И многое в этой статье звучит так, будто написано не сорок с лишним лет назад, а вчера.

Почему в Омске в годы, предшествовавшие Октябрьской революции, работала самая большая в Сибири группа писателей? Какой была литературная жизнь Омска в период колчаковской диктатуры? Что напечатано на страницах редчайшего ныне издания – омского журнала «Искусство», два номера которого вышли в тяжёлые 1921–1922 годы? Обо всём этом можно узнать из очерков, составивших первую часть сборника «Из сибирской тетради». Ставшая библиографической редкостью книга, малодоступная широкому читателю старая газета, архивный документ – вот что составляет основу этих очерков.

Последнее относится и к литературным портретам, помещённым в книге. Их герои – прозаик Антон Сорокин, поэты Пётр Драверт, Георгий Вяткин и Павел Васильев – по разным причинам на долгое время были забыты, не издавались их книги, а исследователи русской литературы Сибири лишь вскользь упоминали их имена на страницах своих работ. И Ефим Беленький (опять же практически первым) проанализировал их творчество, подробно показав любителям литературы своеобразие таланта каждого. Характерен в этом отношении и пример работы Ефима Беленького с поэзией Петра Драверта.

В 1956 году Сергей Залыгин (тоже, как известно, в прошлом омич) напечатал в «Литературной газете» статью «О товарище, который старше меня», в которой цитировал П. Драверта, с горечью констатируя: «Стихи, которые я приводил выше, опубликованы в четвёртой книге «Омского альманаха», изданной в 1944 году. Опубликованы и... забыты». Как бы в ответ на эти слова в Омске на следующий же год выходит сборник Петра Драверта «Стихи о Сибири» с предисловием Ефима Беленького. Через тридцать четыре года после выхода последней прижизненной книги П. Драверта «Сибирь» (Новониколаевск, 1923) перед любителями поэзии предстал незаурядный мастер стиха. И с тех пор изучение и пропаганда литературного наследия П. Драверта заняли заметное место в творчестве Ефима Беленького. В результате небольшое предисловие к «Стихам о Сибири» вылилось в полнообъёмный литературный портрет. А в 1979 году (тогда отмечалось столетие со дня рождения поэта-учёного) в Новосибирске выходит большой однотомник П. Драверта «Незакатное вижу я солнце», который составил, снабдил предисловием и комментариями опять же его омский исследователь.

Помню, когда Ефим Исаакович узнал, что П. Дравертом увлёкся и я, он стал всячески поощрять этот мой интерес. Когда появились мои первые статьи на эту тему, стал ссы-

латься на них в своих работах. Надо ли говорить о том, насколько важна была такая поддержка для меня, делающего самые первые шаги в литературе, только находящегося в преддверии своей первой книжки?..

Не раз, разумеется, бывал я у Е.И. дома. Конечно же, книги составляли главную «мебель» его квартиры в большом солидном доме на улице Герцена. Были среди них и букинистические редкости. Но запомнил я почему-то не их, а обычай хозяина выставлять «лицом» наружу новинки, присланные их авторами в течение года. В декабре хозяин подводил итог этим присылкам – иногда их набиралось до двух десятков. Это говорит о широте его «литературно-дружеских» связей – бандероли с книгами, украшенными автографами авторов,



Омск, Пушкинская библиотека, литературный вечер, открывавший юбилейную неделю журнала «Сибирские огни», посвящённую его 50-летию. Сидят (слева направо): Ефим Бельский, Владимир Новиков, Тимофей Белозёров, редактор отдела прозы «Сибирских огней» Геннадий Карпунин (Новосибирск), Иван Яган; стоят в верхнем ряду: Михаил Малиновский, Пётр Карякин, Эдмунд Шик, секретарь Омского обкома ВЛКСМ Юрий Ошлаков, Михаил Сильванович, Леонид Иванов; стоят ниже: Нинель Созинова (Новосибирск), Тамара Саблина, ответственный секретарь «Сибирских огней» Николай Самохин (Новосибирск), Роман Солнцев (Красноярск) и Александр Лейфер. Март 1972 г.

приходили из Смоленска, Москвы и Ленинграда, из Свердловска, Новосибирска, Иркутска, Томска...

Я многому учился у него. Например, когда мне предложили писать для Омского радио ежемесячную передачу «Зовут "Сибирские огни"». Перед тем, как засесть за первую, взял в архиве с десятков текстов, тех, которые делал до меня Ефим Исаакович, и, чтоб не изобретать велосипед, «с карандашом в руке» проштудировал их, принял за основу некоторые внешние приёмы этой популярной тогда радиопередачи.

Или другой пример. Не помню, по какому поводу, Е.И. однажды сказал мне: «Знаете, Саша, я ещё ни разу в своей жизни не выступал, чтоб заранее не заготовить конспект этого выступления». Конечно же, мне стало стыдно, хоть и не стал признаваться в этом: уже в те годы иногда приходилось выступать перед различными аудиториями, но готовить конспекты таких выступлений мне, нахалу, как правило, и в голову никогда не приходило. Вполне возможно, что именно данный разговор немного сдвинул это дело в правильном направлении – перед наиболее важными выступлениями набрасываю их на бумаге – хотя бы тезисно...

Ещё один его совет запомнил я на всю жизнь и стараюсь ему следовать: разрабатывая ту или иную тему, не стремлюсь потоптаться «по костям» тех авторов, которые уже писали об этом до меня. Хотя к этому нехитрому и выигрышному приёму многие, как правило, прибегают. «Саша, – помню, говорил мне Е.И., когда я рассказывал ему об очередной несуразице или неточности, вычитанной в литературе о Драверте. – Вы пока только собираете материал для будущей книги, но, когда станете писать, не соблазняйте лёгким хлебом – не ругайте своих предшественников. Ведь, признайтесь, – хочется? Знаю, – хочется, это стремление всех начинающих.

А ведь предшественники ваши ошибались не потому, что они такие уж дураки, а потому, что им было труднее, чем вам, им вообще не от кого было оттолкнуться... Лучше тактично, как бы мимоходом поправьте ту или иную ошибку и затем подробнее расскажите читателю о своих находках, сосредоточьтесь на изложении своих взглядов».

В обширной библиографии Е.И. Беленького указана одна его публикация, которая напоминает мне сегодня о недолгой (1980–1983 годы), но дорогой и важной для меня работе в Омском литературном музее имени Ф.М. Достоевского. Речь идёт о статье «Самокладки киргизские» в «Вечернем Омске» за 3 июля 1981 года. Но тут не обойдёшься без предыстории.

В 1980 году тогдашний директор Омского краеведческого музея Юрий Анатольевич Макаров добился в Министерстве культуры РСФСР и у местных властей создания ОГОИЛМ – Омского Государственного объединённого исторического и литературного музея. Среди восемнадцати новых (дополнительных) штатных единиц, выделенных ОГОИЛМу, была и «единица» заведующего отделом литературных экспозиций. Занять эту должность Юрий Макаров, с которым мы были хорошо знакомы ещё с конца шестидесятых годов, пригласил меня. Никаких «литературных экспозиций» тогда ещё не существовало, здание будущего Литмузея находилось в стадии реконструкции и напоминало своим видом жертву бомбардировки, но научные сотрудники Виктор Вайнерман и Надежда Собянина, руководителем которых я вдруг стал, уже около двух лет собирали экспонаты.

Не они были первыми в этом нелёгком деле, история Литмузея уходит своими корнями аж в далёкие двадцатые годы, интеллигенция Омска мечтала о нём уже тогда. В 1928 году Г. Круссер, Н. Феоктистов и П. Драверт опубликова-

ли в журнале «Сибирские огни» статью «К вопросу об организации историко-литературного музея в Сибири». Много сделал для будущего литмузея краевед А.Ф. Палашенков. В самом начале шестидесятых годов сбором материалов для него занимался Ю.И. Шухов, затем – Л.С. Худякова и Л.Ф. Хапова. Экспонаты поступали и от таких энтузиастов, как Иван Коровкин, Ксения Зубарева, Светлана Нагнибеда... Но вот беда – собранное в разные годы сосредоточивалось не в одной «кучке», предназначенной именно для будущего Литмузея, а в разных местах. Помню, поняв это, я, новоиспечённый музейщик, полушутя-полусерьёзно всё повторял тогда, что поисковые экспедиции нам следует направлять не в какие-то далёкие края, а в собственные музейные шкафы, коробки и папки.

Недаром говорят, что в шутке часто присутствует истина. Так, в богатейшей музейной библиотеке мы нашли тогда журналы, где впервые были опубликованы некоторые произведения Ф.М. Достоевского (а ведь для Литмузея это были экспонаты первого, подлинного ряда!).

Однажды, весной 1981 года мы с Виктором Вайнерманом перебирали коллекцию автографов, которая входит в состав обширного личного фонда П.Л. Драверта, хранящегося в Омском краеведческом музее ещё со второй половины 1940-х годов. Вдруг мелькнуло знакомое название – «Самокладки киргизские». Именно так назвал когда-то, в самом начале двадцатых годов, свою публикацию в омском журнале «Искусство» молодой Всеволод Иванов (тогдашний его псевдоним – Всеволод Тараканов) – будущий классик советской литературы. Сравнили почерк автографа с имеющимся у нас образцом – без всякого сомнения это была рука Вс. Иванова!

Когда ажиотаж от этой маленькой сенсации спал (а поздравляли в тот день нас многие), возник вопрос: кто напишет о находке? Конечно же, хотелось сделать это самим (ведь нашли-то автограф мы!). Но, как говорится, доводы разума оказались сильнее эмоций. Было ясно, что квалифицированной Е.И. Беленького никто в Омске сделать это не сможет,

ведь он, что называется, «в теме» – именно его перу принадлежала хорошо известная нам, сотрудникам будущего Литмузея, статья о журнале «Искусство». Писал он – и не раз – о Всеволоде Иванове, о его литературной молодости, связанной с Омском. А кроме того, Е.И. ещё при Юрии Шухове, в 1961 году, был включён в общественный Совет литмузея. (Много позже Юлия Зародова, специально изучавшая историю создания музея, нашла один из протоколов заседания Совета. По вопросу о сборе материалов и подготовке экспозиции на этом заседании выступал как раз Е.И. Беленький. Тогда, в 1961 году, он говорил, что основа экспозиции уже просматривается, что следует обратить особое внимание на привлечение материалов, связанных с Ф.М. Достоевским, а также с местными писателями, ставшими жертвами культа личности, подчёркивал необходимость пропаганды будущего музея.)

...Хорошо помню, как я позвонил тогда Ефиму Исааковичу. Он не сразу понял, в чём дело, что именно мы нашли. Но когда до него дошло, о каком автографе идёт речь, я почувствовал, что привычного академизма в его голосе осталось минимум, но зато появилось обыкновенное человеческое волнение.

– И вы хотите, чтоб я написал об этой находке?..

Через час с небольшим он уже сидел в душноватом музейном хранилище и бережно перебирал исписанные характерным почерком Всеволода Иванова листочки.

Статья «Самокладки киргизские» в «Вечернем Омске» получилась замечательная. Недаром редакция не пожалела под неё места – развёрстан был материал на оба «подвала» газетного разворота. «Обнаружение автографа нескольких стихотворений одного из основоположников советской литературы уже само по себе – удача. Но ценность находки не только в этом. Найденная тетрадь содержит новые, неизвестные до сих пор тексты и существенные разночтения уже опубликованных стихотворений Всеволода Иванова».

И дальше идёт тонкий литературоведческий анализ найденного автографа, а в конце приводятся два неизвестных доселе текста – «Жаурын-кора» и «Юрта» – стилизация под казахский фольклор.

Статья о «Самокладках» появилась в «Вечернем Омске», повторю, 3 июля 1981 года. Именно в эти дни в разгаре была наша работа по подготовке первой в только что принятом от строителей здании Литмузея выставки, она была развёрнута пока всего в двух залах и называлась «Первые поступления в Литературный музей». Открылась выставка 24 августа, привлекла немалое внимание, а главное наглядно показала: долгожданный Омский литературный музей – это уже не разговоры, а нечто вполне реальное и приближающееся. Автограф Всеволода Иванова и лежащая рядом с ним статья Еф. Беленького, напечатанная не где-то в узкоспециальном научном издании, а в массовой популярной газете, не просто украсили экспозицию, а наглядно показали, чем занимается музей и его сотрудники.

Запомнилось мне и одно из выступлений Е.И. на писательском собрании. В каком это году было, точно сказать не могу, – видимо, где-то в первой половине восьмидесятых.

Собрание было не «рядовым», а отчётно-выборным, вначале тогдашний руководитель омских писателей Леонид Иванов прочитал доклад. Сделан был доклад по давно уже апробированной схеме: рассказав о работе писательской организации в целом, председатель перешёл к информации о каждом отдельном писателе. Назывались книги и публикации, которые состоялись у того или иного местного поэта или прозаика, перечислялись его выступления в периодике, творческие поездки и пр. Было сказано несколько слов и о работе Еф. Беленького.

Но, как оказалось, эти «несколько слов» не удовлетворили Е.И. Попросив слово в прениях, он вышел к трибу-

не, вынул конспект выступления и по сути дела прочитал своеобразный «со доклад» о своей личной литературной работе, который занял едва ли не столько же времени, сколько перед этим выступление самого Л. Иванова. Ничего подобного никто никогда до этого не делал.

Е.И. перечислял не только те свои публикации, которые были в последнее время в общедоступных изданиях – журналах «Литературное обозрение» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Сибирь» (Иркутск), но и в малотиражных институтских «Учёных записках», называл так называемые внутренние рецензии, которые он писал по просьбе издательств, рассказывал о своей работе в качестве члена редколлегии таких многотомных изданий, как «Литературное наследство Сибири» и «Библиотека сибирского романа», капитального двухтомного труда – «Истории русской литературы Сибири».

Кроме того, говорил о своей деятельности в качестве члена Совета по критике и литературоведению при Союзе писателей РСФСР, о сотрудничестве с омскими СМИ, о встречах с читателями по линии бюро пропаганды художественной литературы и общества «Знания», о своём участии в подготовке экспозиции будущего Омского литературного музея... Всё это было рассказано, как всегда, в негромком, спокойном, «академическом» тоне, без намёка на какой-нибудь «вызов». Но каждый понимал, что своеобразным вызовом был сам факт данного необычного выступления – вызовом против привычного, схематического, «перечислительного» подхода к живой, творческой писательской работе.



*Омская писательская организация.
Выступает Ефим Беленький. 1970-е годы*

«В НАШЕ СМЯТЁННОЕ ВРЕМЯ»

В прошлом, 2012 году, в Кемерове вышла солидная (745 стр.) книга: «Союз российских писателей. Хроника событий 2010». Составили её кемеровские писатели – Мэри Кушникова и Вячеслав Тогулев.

Короткое, но ёмкое вступление «Слово к читателю» носит не просто технический характер, а является своего рода «манифестом», которым руководствовались составители, осуществляя свой трудоёмкий и скрупулёзный проект. «Мы попытались представить себе, – сказано в «Слове», – сколь важной может оказаться такая, из года в год ведомая, Хроника, скажем, через сто лет». И далее: «Задуманная Хроника – попытка противостоять Времени и сохранить всё, что удастся».

А удалось немало: проследив лишь за одним, 2010-м, годом жизни Союза российских писателей, «Хроника» наглядно представила разнообразную и многоплановую деятельность нашей творческой организации на просторах России – прежде всего в провинции. Ведь не секрет, что Союз российских писателей объединяет литераторов, живущих не только и не столько в обеих столицах, а прежде всего – в российских регионах. «Современные провинциальные авторы, – читаем в цитируемом вступительном «Слове», – истинные бесребреники, работающие потому, что есть императив "не могу не сказать", а не за гонорары или премии – и то, и другое скорее достояние мегаполисов, – так рьяно пытаются разобраться в том, какой путь в литературе есть символ прогресса в наше, сегодняшнее, экспериментальное, время, а какой – лишь низвержение основных канонов этики и эстетики...»

Неслучайно выход книги уже замечен прежде всего именно в провинции. Автор молодого, но ярко заявившего о себе казанского альманаха «Аргмак» Сергей Алпатов в своей небольшой рецензии на кемеровскую новинку пишет:

«Культурная аура провинции, одной из самых деятельных опор которой являются литературные организации и СРП,

в частности, кажется забытой. А ведь она и есть часть российской жизни, весомая часть, поскольку Россия – страна малых городов, где тем не менее вызревают таланты, которые оставляют ощутимый след в истории нашей культуры. Все, кто упоминается в Хронике, живут и творят именно в глубинке, а не в столицах» (Аргамак. – 2012. – № 2(11)).

Происходившие в 2010 году на огромном географическом пространстве от Калининграда до Владивостока различные литературные фестивали, встречи, конкурсы, семинары молодых авторов, презентации новых книг, собрания поэтических гостиных и клубов, юбилейные торжества, выставки, демонстрации посвящённых литературе документальных кинофильмов, открытия памятников и мемориальных досок писателям – всего и не назовёшь – нашли отражение в «Хронике».

Отрадно, что то и дело мелькают на страницах этого свода имя нашего города, название альманаха «Складчина», фамилии наших писателей – Виктора Вайнермана, Ольги Григорьевой, Ивана и Сергея Денисенко, Алексея Декельбаума, Игоря Егорова, Натальи Елизаровой, Евгении Кордзахии, Николая Кузнецова, Георгия Петровича, Алисы Поникаровской, Евгения Фельдмана, Вероники Шелленберг и других.

«Мы пытаемся, – утверждают составители книги, – передать некий срез культурного и нравственного состояния России и, прежде всего, её "глубинки" в наше смятённое время, спрессованное донельзя, когда происходят события и перемены быта, а стало быть, и психологии авторов и читателей, которые какие-нибудь полвека назад требовали бы долгих лет».

Вполне возможно, что данное начинание станет продолжающимся многотомным изданием, что мониторинг творческой и социальной деятельности Союза российских писателей будет производиться и в дальнейшем. Пока же следует отметить, что «первый блин» отнюдь не стал «комом» – издание подготовлено со всей тщательностью, снабжено солидным справочным аппаратом – примечаниями и различными указателями.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН...

В Сети осенью 2012-го проходила информация о том, что вдова Александра Солженицына – Наталья Дмитриевна уговаривала нашего президента увеличить в школьной программе часы преподавания литературы. Оказывается, ныне они уменьшены уж совершенно до неприличного уровня.

Вот текст их беседы:

«Путин обещает Солженицыной рассмотреть вопрос увеличения часов литературы в школах

Ново-Огарёво. 5 ноября. ИНТЕРФАКС.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообещал обсудить с Минобразования вопрос увеличения количества часов преподавания литературы в школе.

"Пообсуждаем это с Минобразования. Поговорю еще с ними", – сказал В. Путин на встрече с вдовой Александра Солженицына.

Наталья Солженицына пожаловалась на то, что часы литературы в школе сократили с пяти до двух. Она отметила, что раньше «люди могли говорить друг с другом цитатами из литературных произведений и понимали друг друга, а сейчас не так».

"То, что литературу теснят, – это на самом деле колоссальная опасность для единства страны (...) Выкинули её, а что ввели? (...) Литературу надо бы вернуть", – сказала Н. Солженицына, добавив, что именно литература объединяет общество.

В. Путин отметил, что сейчас идут непростые процессы в сфере образования. "Вот они непростые идут, и все не в пользу литературы", – ответила на это Н. Солженицына.

"Я думаю, что вернутся к этому ещё. Вы знаете, навязывать сверху – всё-таки это неправильно, надо чтобы профессиональное сообщество само...", – сказал президент.

Н. Солженицына напомнила, что скоро будет отмечаться 50-летие произведения "Один день Ивана Денисовича". "Иван Денисович" необходим как лекарство против беспамятства. Потому что, понимаете, вот беспамятство – это всё-таки болезнь слабого человека, слабого общества и слабого государства. Потому что помнить нужно и хорошее, и плохое обязательно, иначе мы будем хромать", – сказала она.

"Точно, это правда", – согласился с нею В. Путин».

Когда-то Н.Д. Солженицына помогла нашему альманаху «Складчина» – органу Омского отделения Союза российских писателей. После дефолта девяносто восьмого года, когда лопнул поддерживавший нас Инкомбанк, мы никак не могли раздобыть денег на «Складчину-4» – в течение пяти почти лет. Перебрав десятки всяческих вариантов и обнаглев от отчаяния, в 2003 году я обратился за помощью и в «Фонд А.И. Солженицына», послал туда три первых выпуска альманаха. В ответ вдруг позвонила сама президент фонда – Наталья Дмитриевна. Она сказала, что альманах наш ей понравился, правда, если вести речь о помощи со стороны их фонда, то её смущает, что до этого Фонд помогал в основном бывшим политическим заключённым, для этого он и был создан. В ответ, помню, я попытался сострить – сказал, что мы живём в стране, где очень даже легко поменять статус свободного гражданина на тот, о котором она говорит. Моя собеседница сдержанно засмеялась и начала говорить о том, какие финансовые документы нужно прислать для получения их субсидии. На следующий год «Складчина-4» вышла.



Не знаю, удастся ли переправить Н.Д. Солженицыной книгу, которую мы выпустили в конце 2012 года на муниципальный грант и которой хотим подвести определённые итоги почти двадцатилетнего существования альманаха. Внешне выглядит она весьма привлекательно. «Не книга – невеста!» – воскликнул один эмоциональный человек, когда взял её в руки.

Это избранное из «Складчины», первая его книга, которая включила в себя прозу и поэзию. Понятно, не мне судить о литературных достоинствах этого Избранного. Поэтому займусь другим – воспроизведу официальный документ, который сопровождает наше новое, вышедшее тиражом в тысячу экземпляров издание. Из этого документа видно, что выпустили мы «Избранное» не только и не столько для того, чтобы потешить своё авторское самолюбие:

**«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА КОЛЛЕКТИВНОГО
СБОРНИКА "СКЛАДЧИНА: ИЗБРАННОЕ"»**

Муниципальные библиотеки – 138 (по 3 экз. в каждую из 46 библиотек),

Школьные библиотеки Департамента образования г. Омска – 370 (по 1 экз. в каждую школу),

Министерству культуры Омской области для райцентров – 96 (по 3 экз. в каждый из 32-х райцентров)...»

Ну, и так далее...

Вместо «передовой статьи» в «Избранном» помещена хроника «Неистребимая "Складчина"», рассказывающая об истории альманаха. В ней среди прочего цитируется моя статья, написанная ещё в 2008 году – к выходу тридцатого выпуска. Называлась эта статья «Делай, что должен, или Комментарий редактора к числу 30»:

«О "Складчине" знают не только в Омске, но и во всех российских городах, где есть отделения и представительства Союза российских писателей (таковые существуют в большинстве регионов страны). Мы – часть общероссийского литературного процесса. Процесса, который силой слова

мужественно пытается противопоставить себя всеобщему оболваниванию, "опопсению" и пошлости, насаждаемым с телевизионного экрана, из-под глянцевого обложки и даже с театральных подмостков. Мы – активные участники данного противостояния, и это ко многому обязывает... Конечно, было бы наивным думать, что мы в обозримом будущем одержим верх в этом противостоянии... Но не сидеть же сложа руки, моральная правота за нами. Поэтому надо следовать древнему правилу: делай, что должен, и будь, что будет».

Даже сам президент страны, как это видно из его беседы с Н. Солженицыной, опасается навязывать своё мнение федеральному Министерству образования, которое уменьшило пять школьных часов, предназначенных для изучения литературы, до двух. Что ж, а мы попробуем зайти с другого конца – не «сверху», а «снизу» – со стороны самой школы. Мы готовы вслед за экземпляром «Избранного» прийти в любую из трёхсот семидесяти омских городских школ и провести беседу о современной литературе, о местных писателях. В такой ситуации на первый план выходит фигура школьного библиотекаря. Теперь уже во многом и от него, а не только от учителя-словесника зависит литературная эрудированность наших детей и внуков. Хорошо бы по каждому экземпляру нашего сборника, поступившему в школы, провести по несколько встреч, литвечеров, а может, и дискуссий. В целом задуманного столичными чиновниками процесса отлучения молодёжи от отечественной литературы это, разумеется, не остановит. Но нужно же сопротивляться. Нужно делать, что должен...

Кстати, понимают это многие. Вот, например, как выразили отношение к «минимизации» (бюрократы от Минпроса употребляют словечко «оптимизация») количества уроков по литературе наши соседи – тюменцы. Тамошняя арт-группа «Цвет города» демонстративно разрисовала одно из пришкольных зданий под книжную полку: пусть дети, ежедневно видя такие огромные книжные корешки, помнят, что не компом единым жив человек...

И в заключение не удержусь – похвастаюсь. О сборнике «Складчина: Избранное» хорошо отозвались журналы «Омская муза» (2013. – № 1) и «Сибирские огни» (№ 6 за сей, 13-й год).

«Не зря "Складчина", как и ее "Избранное", – пишут «Сибирские огни», – составлялись по принципу должного творческого уровня, а не наличия членского билета той или иной организации. Да и другой принцип – алфавитный – тоже вполне демократичен, объединяя в один список таких прозаиков и поэтов, как Е. Асташкин, Н. Березовский, В. Бородин, Г. Бородянский, В. Вайнерман, Г. Гаврилов, О. Григорьева, А. Дегтярёв... Увы, приходится прерывать перечисление всех 44 авторов книги, где каждый достоин быть названным, чьё творчество заслуживает отдельных статей и чьи произведения стали известными не только в литературе современного Омска. Главное их достоинство – увлекательность чтения, "интересность" сюжета и содержания в целом. Будь то последний день жизни милиционера Маклакова из рассказа Н. Березовского или вся жизнь затаившегося иуды Акима Плахина, бывшего полиция-убийцы из повести В. Бородина, эпизод из жизни ребёнка из Подмосковья, ставшего "мышонком" в огромной и циничной Москве из рассказа Т. Мокроусовой и В. Бердичевского или мгновения из жизни в "микропрозе" С. Дрыгина с участием саксофониста, дворняжки, подушки, крестика и др.»

В самом конце этой небольшой рецензии сказано:

«Главный редактор и один из составителей "Избранного" А. Лейфер пишет, что со здоровым чувством юмора относится к любым параллелям и сравнениям омской "Складчины" с историческим "тезкой" 1874 г., где опубликовались Достоевский, Островский, Салтыков-Щедрин, Тургенев. На наш же взгляд, содержание и направленность прозы (о поэзии надо говорить отдельно) "Избранного" «Складчины» вполне

отвечает духу того многообразного реализма, который был создан лучшей русской прозой 2-й половины 19 века. Разумеется, без сравнения степени таланта и лит. дара писателей двух разных эпох. Можно, однако, верить в то, что настанет и такое время, когда подобное сравнение станет возможным. Ведь "Складчине" нет и тридцати лет!»

Что ж, доброе слово – оно и кошке приятно. Попробуем и в дальнейшем соответствовать...

К СВОИМ ВЯТСКИМ ПОЛЯНАМ

Не слышал я (может, пропустил?), чтоб как-то отметили у нас юбилей омского писателя Бориса Малочевского (1923–1997 гг.). А в апреле 2013-го ему исполнилось бы девяносто лет.

Человеком он был закрытым, внешне неброским. Окончил филфак нашего Омского пединститута, военное училище. Демобилизовавшись, вначале преподавал, затем поступил в редакцию «Молодого сибиряка», вскоре стал ответственным секретарём газеты. О его строгости на этом посту, о его доскональном знании профессии газетчика мне не раз рассказывал работавший с ним в молодые годы журналист Валерий Зиняков, с которым мы были друзьями. Потом в течение многих лет Борис Александрович являлся собственным корреспондентом московской «Медицинской газеты». Рассказы начал печатать ещё в середине пятидесятых. И среди них немало таких, которые и сегодня читаются без всякого «напряга».

Хорошо помню, как в конце шестидесятых он, уже член Союза писателей, поддержал только что приехавшего в Омск Михаила Малиновского, тогда ещё ходившего в «молодых литераторах». Ещё говорят (это уже на уровне легенды), что в середине семидесятых годов, воспользовавшись своим статусом корреспондента центральной газеты,



Б. Малочевский заставил администрацию туберкулёзной больницы принять на лечение Аркадия Кутилова – того из-за его бомжевания брать в медучреждение не хотели; вполне можно предположить, что это продлило Аркадию жизнь, – ведь тогда ему сделали удачную операцию, которая на время приостановила процесс, и поэт прожил ещё десять лет.

Знал я Бориса Александровича достаточно хорошо, относился он ко мне благожелательно, но ни в каких дружеских отношениях мы не находились. Только один раз оказался я у него дома – когда в 1983 году по заданию газеты брал у писателя интервью. Жил он на улице Десятилетия Октября – над известным тогда каждому в Омске книжным магазином «Подписные издания».

А нынче, решив немного написать о Борисе Александровиче, я разыскал в своей библиотеке его изданную ещё в 1980 году небольшую книжку «Вятские поляны». Так называется и открывающая её повесть. Которая мне лично из написанного Б. Малочевским нравится больше всего.

О чём эта повесть? Если внешне, то о коротком отрезке жизни скромной провинциальной девушки – железнодорожной кассирши Лёли. «Все Лёлины дни похожи один на другой, ничего не менялось, менялись только времена года: зима – весна – лето – осень». Это первая фраза повести. Фраза, которая, пожалуй, иного читателя и отпугнуть может: для чего же дальше читать, если «ничего не менялось»?

А с другой стороны – повесть своеобразно рассказывает и о жизни страны. О жизни, проявившейся в судьбах Лёли и других героев произведения. Это закономерно. Настоящий писатель, говоря о малом, всегда имеет в виду и большое.

1953 год, потрясая всех смертью диктатора. Б. Малочевский хорошо сумел передать атмосферу той весны, атмосферу тревожного и в то же время радостного ожидания перемен.

Постепенно от страницы к странице, знакомимся мы с героиней повести и так же постепенно начинаем проникаться симпатией к ней, уважать.

Стойко переносит Лёля бесславное крушение своего первого чувства. Красавец Геннадий оказался заурядным сердцем, стремящимся во что бы то ни стало «на все сто» провести двенадцать дней профсоюзного отдыха.

Лёля мечтательна и романтична. Вслушиваясь в названия незнакомых железнодорожных станций, она начинает пред-

ставлять себе, как там живут люди, там – на далёкой станции Ерофей Павлович, в городке Аркадак, на разъезде Бобр... И почему-то «чаще и сильнее всего остального влекли Лёлю к себе Вятские Поляны».

Лёля симпатична и внешне: у неё «пышные волосы каштанового цвета, и чистое лицо, и ясные сероватые глаза, и хороший рост». Всё это очень нравится человеку, который появляется в её жизни, – Василию Макаровичу Вовкодавенко.

Действующих лиц в повести немного. И после Лёли наиболее подробно и интересно разработан этот образ. Вовкодавенко – завхоз вокзала, а также знакомый Лёлиной тётки, которая в потенциальном родственнике души не чает. Это фигура – тут ничего не скажешь. Человек не без «философии». «Надо, чтобы дистанция существовала, – рассуждает он. – Того, кто к тебе за чем-нибудь обращается – всё равно за чем: хоть за билетом, хоть за мясом, – надо, Лёленька, всегда на расстоянии от себя держать, раз он в тебе нуждается и от тебя зависит. Иначе сразу же охамеет человек!»

Вовкодавенко, как и тысячи других людей, потрясён смертью вождя, вначале плохо представляет себе, как без него жить дальше. Он раздражён переменами, начавшими происходить вокруг. Например, он крайне возмущён тем, что переоборудовано его любимое детище – железнодорожные кассы, где деньги и билеты передавались через лоток, а кассир и пассажиры видели только руки друг друга. В новых же кассах между кассиром и пассажирами лишь стекло, – всё видно, всё открыто. И Вовкодавенко возмущён:

«Только не стало хозяина, который всех на дистанциях держал, смертный пот ещё на нём не высох, – и что пошло? Уже охамели люди».

Вот и встречаются два таких разных человека – романтическая, мечтательная Лёля и уверенный в себе и в том, что он знает жизнь, Василий Макарович. И Лёля, подавленная кажущейся ей бесперспективностью собственной судьбы,

вначале покорно следует за новоявленным женихом.

Повесть «Вятские поляны» была первой у Бориса Малочевского, до этого он писал только рассказы. И выдержана она на какой-то особой, негромкой и тёплой, ноте. Да, негромкость – вот, пожалуй, именно то слово, которым можно определить интонацию «Вятских полян». Может быть, это оттого, что негромка была вначале сама жизнь главной героини.



Сказано «была» потому, что от страницы к странице Лёля всё пристальнее вглядывается в окружающих и окружающее, в самое себя. И совершает поступок, невероятный с точки зрения так называемого здравого смысла: рушит собственную свадьбу, когда для торжества уже и баранина с водкой заготовлены, и гости позваны. Это именно поступок, и вместе с автором веришь, что он-то и сделает громче и осмысленнее Лёлину жизнь, что не за горами у неё свои Вятские Поляны, своё счастье.

А неудавшийся жених воспринимает крушение свадьбы как бунт, как вызов, брошенный не только ему лично, но и всему обществу. «Вы у меня ещё попрыгаете, – кричит он. – Думаете, если хозяина нет, так вы, сопливые ещё, уже сами с усами? Не выйдет!»

...Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что в этой повести писатель проявил главные качества своего таланта: умение тонко подметить детали окружающего, видеть за обычными, бытовыми явлениями и случаями события крупномасштабные, волнующие многих людей.

И ещё об одном – о том, что большинство произведений Б. Малочевского населяют простые, обычные люди. Он много ездил по стране, хорошо знал их и с любовью описывал в своей прозе. В его автобиографическом эссе «О ненаписан-

ном» говорится следующее: обыкновенный человек «потому и обыкновенен, что трудно провести грань, где кончается его долг и начинается его подвиг. Но, чёрт возьми, как нелегко писать об обыкновенных людях! Наверное, так же, как и о великих, ей-богу, не легче». (Писатели о себе. – Новосибирск, 1966).

Мне удалось немного посотрудничать с Б. Малочевским уже в новые времена – когда мы начали выпускать альманах «Складчина». Для третьего его выпуска (1997 г.) писатель дал рассказ «Мечта Димки Воронова». Хороший, добротный и умный рассказ, ещё раз показывающий, что Б. Малочевский чётко чувствует нерв времени. Но, увы – фамилия автора забрана в альманахе чёрной рамкой, выхода «Складчины» из типографии он совсем немного не дождался. Я передал несколько экземпляров публикации вдове писателя – суровой, немногословной женщине, которая, как рассказывали, была во время войны фронтовым хирургом.

«СКОЛЬКО ТАКИХ ДНЕЙ...»

Кто знает, может быть, зря взялся я за это дело – за рассказ о небольшой, с ладонь величиной, чёрной потрёпанной записной книжке. Может быть, рассказ этот не нужен, ибо мало что прибавит к нашему представлению о годах, которые обозначены под многими находящимися в ней записями. Но годы эти уже давно и сильно волнуют меня, и то неумолимое обстоятельство, что они неизменно удаляются от нашей жизни в небытие, позволяет надеяться: нижеследующее взволнует и читателя.

Речь идёт о 1921-м и 1922-м. Страшное, безжалостное время для нашей страны, нашего народа. Время, помеченное печатью невиданного голода в Поволжье, разрухой, вполне естественно последовавшей за семью беспрерывными военными годами.

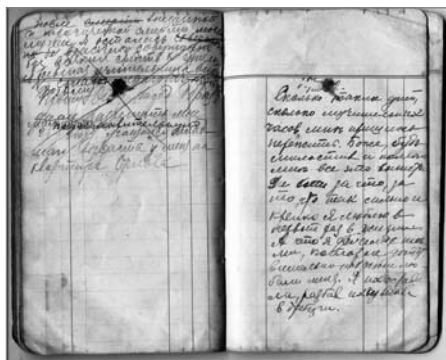
Да, я мало знаю о том, что представляла из себя хозяйка этой записной книжки, попавшей ко мне чисто случайно, будучи найденной в разном бумажном хламе; не знаю, как сложилась дальнейшая судьба этой женщины.

Да, записи отрывочны, случайны, порой странны, порой носят скучный, исключительно служебный характер. Но велика сила документа (а перед нами именно документ – документ человеческий, чаще всего гораздо более волнующий, чем официальная бумага, – ведь за ним острее, трепетнее сохраняются живые приметы самого времени).

Буду листать эту книжку не по порядку, так как, судя по всему, именно не по порядку, без соблюдения какой-либо хронологии, делались в ней и сами записи.

Вот одна из узловых. Это, видимо, черновик, набросок заявления – набросок, написанный в состоянии крайнего отчаяния:

«После внезапной и трагической смерти моего мужа я осталась врасплох совершенно без всяких средств к существованию. Я бывшая учительница, имею стаж педагогиче-



ский, поэтому прошу Отдел народного образования разрешить мне подготовительную учёбу трудящихся младшего возраста у меня на квартире».

Черновик не датирован, не подписан. Вряд ли когда-нибудь мы узнаем, какая трагедия разыгралась в

семье этой учительницы, при каких обстоятельствах ушёл из жизни её муж. Голодная смерть? Нож уголовного? Военная рана? Тиф или какая-либо другая болезнь?

Остаётся лишь гадать.

Во всяком случае, два документа, вложенных в записную книжку, говорят о том, что желание просительницы было удовлетворено.

Вот они, эти документы.

Первый – также недатированный – черновик-заявление в отдел народного образования от Таисии Ивановны Г.:

«Прошу отдел назначить меня воспитательницей на имеющуюся вакансию в один из вверенных Вам детских домов».

Трудно сказать, был ли следующий документ ответом на два предыдущих или наоборот, предварял их, но интересно, что, наконец-то, мы оказываемся привязанными к конкретной дате – 29 июля 1922 года. Штамп отдела народного образования, синий ундервудовский шрифт:

«Школьный подотдел предлагает Вам, с получением сего, явиться в отдел в часы занятий».

Тут будет уместным напомнить некую печальную особенность 1922 года, характерную именно для Омска и других сибирских городов, городков и посёлков, расположенных вдоль Великой Сибирской железнодо-

рожной магистрали. Сюда хлынула тогда масса жителей Поволжья, стремящихся спастись от голодной смерти. И когда силы оставляли этих несчастных людей, они делали последнее: заталкивали в вагоны, теплушки, просто на товарные платформы своих детей, лишь бы «железка» везла их на Восток, к хлебу. И дети приезжали сюда, к нам, полумёртвые, полуобезумевшие. И наши земляки (тоже не очень-то сытно жившие) специально искали их в прибывающих с Запада составах, на руках несли в специально организованные местными властями детприёмники, пищевые и лечебные пункты. Там их отмывали от многонедельной грязи, избавляли от вшей, кормили, лечили, а потом принимались переделывать этих опустившихся, но ни в чём не виноватых, как и всякие дети, существ в нормальных, полезных членов общества.

Их отучали от сквернословия и махорки, учили читать и писать, учили помнить и любить своих матерей и отцов, погибших в пожаре великих народных бедствий, внушали, что страна непременно даст им, вчерашним беспризорникам и потенциальным преступникам, всё необходимое нормальному человеку.

Вспомнилось, что когда-то я читал обо всём этом в небольшой брошюрке под названием «8-е марта (Материалы к проведению Международного дня работниц в деревне)», изданной в Омске несколько позже – в 1925 году. Есть там несколько строк об этом:

«Работницы-делегатки дежурят у эшелонов, подбирая голодных и отставших ребяташек, участвуют в организации столовых, питательных пунктов, сборе вещей, устройстве всяких лотерей, субботников, вечеров, средства от которых идут в пользу голодающих».

Именно по этим причинам люди, подобные Таисии Ивановне Г., были очень нужны тогда. Без них невозможно было бы справиться с огромной работой, о которой я пытался в двух словах рассказать выше.

И, судя по записям в блокноте, эта женщина с головой ушла в дело.

Не всё в записях одинаково интересно. Списки учащихся (это и в самом деле ребята младшего возраста), многочисленные адреса различных людей, расписания занятий и т. п.

Но вот опять строки, как бы освежающие для нас те два года: 1921-й и 1922-й.

«15-го, 10–11 часов в Союз, 46-я комн., о получении тезисов о Дне ребёнка». Далее, видимо, сами тезисы (написано весьма неразборчиво).

«Детская смертность, ранняя (забота. – А.Л.) о добывании куска хлеба, сохранение материнства. Забота о детях с момента рождения. Заботы о беспризорных детях. Борьба с детской преступностью. Заботы о физической культуре... Всем учреждениям вследствие тяжёлого положения страны оказать материальную помощь. Органы власти направляют все силы, чтобы дать помощь детям и детским учреждениям».

Расписание занятий, зафиксированное на странице блокнота:

<i>Понедельник.</i>	<i>Закон Божий.</i>
	<i>Грамматика.</i>
	<i>Рисование.</i>
	<i>Немецкий язык.</i>
<i>Вторник.</i>	<i>Арифметика.</i>
	<i>Объяснительное чтение.</i>
	<i>Диктант.</i>
	<i>Лепка».</i>

Рядом же на страницы записной книжки врываются записи совсем иного, личного характера...

Стихи весьма эпигонского толка, видимо, переписанные из какого-либо «старорежимного» и не самого лучшего журнала:

«Жизнь.

В пёстром наряде из радужных слов жизнь увлекала, манила вперёд – так опьяняло дыханье цветов, так чаровал голубой небосвод...»

Переписано именно так – без абзацев. Середину стиха пропускаю. А конец такой:

«Сброшена маска жестокой судьбой, грёзы увяли, разбиты мечты... Жизнь мне открылась, пугая собой, жалким скелетом своей наготы».

Что ж, не каждый обязан иметь безукоризненный литературный вкус.

И опять – адреса, адреса... И волнуют они меня почему-то. Уж больно знакомые всё улицы: возле одной (Барнаурской) прошло моё детство, на других я бывал и буду, должно быть, ещё много раз. А третьи просто напоминают прошлое моего родного, моего единственного на земле города – Омска: Сиротская, Слободская, Базарная, Фабричная, Кокуйская, Бригадная, Тарская, Банная, Пролетарская, Сергиевская, Надеждинская, Тобольская, 4-я Северная, Тарасовская... Многое переименовано. И многое зря. Зачем? Ведь только об одних названиях этих можно написать целую книгу...

Прекрасно сознаю, что отступаю, отвлекаюсь. Вроде не надо бы, зря. Просто приходят иной раз в голову вещи странные. Например, а вдруг мать моя покойная знала эту женщину, работала с ней? А вдруг дед мой, с которым я так и не успел познакомиться, так как он утонул через два месяца после моего рождения, – вдруг он знал эту Таисию Ивановну: ведь город Омск был маленьким, почти все друг друга знали. Вдруг, наконец, знала её моя полуграмотная бабушка, вятская переселенка? У кого ж спросишь?..

Но вернёмся к блокноту.

Опять идут записи, от которых веет неповторимым ароматом эпохи. Впрочем, оставляю поэтические экзерсисы для стихотворцев средней руки. Не ароматом веет, а холодом и голодом – то бишь инфляцией.

В записной книжке несколько расписок.

Первая (почерк полуграмотный, подпись неразборчива): *«Двести тысяч получил за вывозку дров для школы».*

Другой почерк: *«Гончарук из своих денег одолжила 50.000 на вечер».*

Расписка непонятно от кого (от какой-то благотворительной организации) на один миллион рублей, которые пошли «на ремонт здания». Здания школы, надо полагать...

Дензнаки стоили тогда едва ли больше той бумаги, на которой были напечатаны.

И опять личное. Записано неторопливым, почти хладнокровным почерком:

«15.III.22

Сколько таких дней, сколько мучительных часов мне пришлось пережить. Боже, будь милостив и помоги мне всё это вынести. Да, есть за что, за то, что так сильно и крепко я люблю в первый раз в жизни. А что я делала с теми, которые, возможно, покрепче любили меня. Я их оставила, разбив их чувства в дребезги».

Последняя фраза мелодраматична? Что ж, может быть... Но, тем не менее, вряд ли такие слова пишутся неискренне. Вряд ли...

Выходит, у Таисии Ивановны в её совместной жизни с мужем не было любви, раз в 1922 году это чувство посетило её впервые. Сколько же лет ей было тогда? Думаю, что где-то между двадцатью пятью и тридцатью. Не больше.

Нашла ли она своё счастье?.. Что с ней случилось потом?

Нет и не будет ответов на эти вопросы...

Как там у неё? «Разбив их чувства в дребезги».

Трогательно читать это... «в дребезги», написанное по ещё привычной тогда старой орфографии – отдельно.

Странно и сладко думать о том, что жизнь незнакомой женщины, давно уже несуществующей на этом жутком и прекрасном свете, так тронула меня.

СПАСЕНИЕ ОТ ДУРНЫХ ЗАКОНОВ

Осенью 2012 года отмечалось столетие со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва (1912–1992) – известного востоковеда, доктора исторических и географических наук, основоположника пассионарной теории этногенеза, автора многих всемирно знаменитых книг. Сына поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Участника штурма Берлина.

К этому событию был приурочен выход самой полной его биографии, которая дошла и до наших палестин – выставлена на постоянной экспозиции новых поступлений областной научной Пушкинской библиотеки. Это почти восьмисот-страничный том Сергея Белякова «Гумилёв сын Гумилёва» (М.: Астрель, 2012. – 3000 экз.).

Несколько десятков страниц этого исследования посвящено пребыванию Л. Гумилёва в нашем городе. Судьбе было угодно, чтобы именно на омской земле завершилась его арестантская эпопея. Вообще же он пережил четыре ареста и два лагерных срока (Норильск и Камышлаг).

В июне 1953 года вместе с другими заключёнными Камышлага, где Гумилёв отбывал свой второй срок, он был переброшен из Кемеровской области в Омск на строительство нефтекомбината. «Некоторое время, – пишет С. Беляков, – инвалида Гумилёва не обременяли тяжёлой работой, после смерти Сталина и ареста Берии лагерный режим начал по-

степенно меняться». Например, можно было получать посылки, отовариваться в продуктовом ларьке, активнее переписываться с матерью и друзьями. Правда, в Омске, где было холоднее, чем на прежнем месте, обострились старые болезни, в частности, сердечнососуди-



Фото из следственного дела

стая недостаточность, язва двенадцатиперстной кишки. Но с другой стороны, здесь кандидат исторических наук смог возобновить свою работу над историей Срединной Азии, начатую в 1949 году.

«В России всегда было спасение от дурных законов – дурное их исполнение». Это приписываемое Николаю Карамзину выражение как нельзя лучше подходит для образной характеристики трёх лет пребывания Гумилёва в наших краях. Когда то здесь же, в Омске, нашлись люди, которые всячески стремились облегчить судьбу каторжника Достоевского, сегодня мы называем их имена с благодарностью и уважением – медик Троицкий, педагог Ждан-Пушкин, священник Сулоцкий, офицер де Граве... Они сделали немало для того, чтобы «дурные» законы николаевского времени поменьше бы терзали каторжника Достоевского. Изучены, насколько это возможно, их биографии, узнаны многие подробности их взаимоотношений с будущим автором великих романов. Думается, настала пора узнать имена и тех людей, которые век спустя помогали выжить узнику нового, советского Мёртвого дома – Льву Гумилёву. Это ли не тема для исследования нынешним краеведам?

25 марта 1954 года был готов черновой вариант рукописи «История Хунну». По этому поводу Гумилёв написал «Завещание для оперуполномоченного или следователя», в котором просил в случае его смерти передать данное сочинение в Институт востоковедения:

«Лучшим редактором книги в настоящее время может быть А.П. Окладников. В случае, если книга напечатана не будет, разрешаю студентам и аспирантам пользоваться материалом без упоминания моего авторства... Готические соборы строились безымянными мастерами; и я согласен быть безымянным мастером науки».

Наступил 1956 год – год XX съезда КПСС, в последний день работы которого Н.С. Хрущёв прочитал свой знаменитый доклад о культе личности Сталина, изменивший жизнь всей страны.

Вскоре после этого Лев Гумилёв, как и многие тысячи других, был реабилитирован по причине отсутствия состава преступления. Покинул он Омск 14 мая 1956 года. В нехитром багаже пробиравшегося на запад сорокачетырёхлетнего историка были две рукописи – черновики двух будущих книг. По одной из них будет потом защищена докторская диссертация.

Впереди была долгая, насыщенная научным творчеством вторая половина жизни.

Его книги посвящены Древнему миру и Средним векам. Но они в чём-то объясняют дела сегодняшние, а в чём-то, возможно, даже помогают прогнозировать завтрашний день России и Европы, Китая и мусульманских стран. «Я только узнал, – говорил он, – что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы».

PS-1. За книгу «Гумилёв сын Гумилёва» её автор – екатеринбуржец Сергей Беляков удостоен Всероссийской литературой премии имени А. Дельвига.

PS-2. Недавно вышло весьма примечательное исследование: А.В. Жидченко, В.Г. Рыженко «История повседневной жизни омского городка Нефтяников в 1950–60-е гг.» (Омск: Амфора, 2013). В нём есть глава «Труд заключённых в истории строительства городка Нефтяников и нефтезавода». Из-за крайней скудости материала (архивные документы до сих пор засекречены, а печать тех лет вела себя так, будто никаких заключённых вовсе и не существовало) авторы то и дело цитируют воспоминания очевидцев. Один из них – В.В. Балабанов, участник Великой Отечественной войны, получивший за «неудачно» рассказанный анекдот двадцатипятилетний срок, оказался в том же лагере, что и Лев Гумилёв. «К Лёве Гумилёву, – вспоминает В.В. Балабанов, – мы относились как к большому ребёнку, такой он был непосредственный, какой-то с виду беззащитный, не отличался богатырским здоровьем. Поэтому специально старались оставлять его дневальным по казарме, всё полегче – не землю ворочать».

ВСПОМНИМ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Каждый раз, когда прохожу по второму этажу омского Дома печати мимо кабинета, где когда-то работал художник и фотограф Виктор Резниченко (1930–1996), у меня сжимается



сердце. Много лет то и дело забегал я в эту длинную, как пенал, темноватую комнату, где безвылазно – с утра и до вечера – ежедневно трудился её хозяин, заведующий отделом иллюстрации «Омской правды» Виктор Резниченко.

Виктор любил гостей, здесь я встречал его многочисленных друзей. Разумеется, прежде всего это были люди, имеющие отношение к фотографии, – летописец Омского нефтезавода Евгений Мамакин, известный фотохудожник, певец послевоенного Омска Михаил Фрумгарц, вечно куда-то спешащий Ваня Синичкин, немногословный Борис Чигишев – да мало ли кто ещё... Но круг знакомств хозяина этого насквозь прокуренного кабинета не ограничивался только профессиональными интересами. Сюда заходили инженеры с завода имени Баранова, где в военные годы начался трудовой путь Виктора – вначале в литейном цехе, а затем в заводской многотиражной газете. Здесь бывали врачи, приезжие журналисты из районок, офицеры, артисты Музыкального театра. Многие любили и ценили Виктора Николаевича, считали за удачу хоть на пять минут забежать к нему – замечательному, остроумному собеседнику, доброжелательному, располагающему к себе человеку.

Родился он в Ленинграде в 1930-м. В 1941-м вместе с родителями был эвакуирован в Омск. Рисовать любил с детства. Когда пятнадцатилетним поступил трудиться в литей-

ку авиазавода имени Баранова, то, помимо основной работы, выпускал здесь боевые листки «Всё для фронта!», рисовал карикатуры, писал плакаты.

В 1960 году редактор «Омской правды» Иван Дмитриевич Фадеев пригласил Виктора Резниченко в свой коллектив. Что для журналиста из скромной многотиражки было, конечно же, немалой честью. И.Д. Фадеев имел хороший нюх на хорошие кадры и ошибался редко. В этом издании Резниченко плодотворно проработал тридцать пять лет.

Практически ни один номер газеты не обходился без его «руки». Это снимки, а также многочисленные рисунки – к фельетонам, очеркам, статьям, рассказам, дружеские шаржи, постоянная рубрика «Улыбка художника», праздничные плакаты на первую полосу и т. д., и т. п. – всего и не перечислишь...

Не раз я наблюдал, как Виктор, обалдевший от вечной газетной спешки, от своего крепчайшего «беломора», от телефонных звонков, выскакивал в редакционный коридор с готовым рисунком, хватал любого проходившего мимо человека за рукав и приказывал: «Читай вслух – медленно, громко и по складам!» И тогда на всю редакцию звучало: «С Но-вым го-дом, до-ро-ги-е то-ва-ри-щи!» или другой какой-нибудь подобный плакатный текст, в котором, увлекшись красотой эксклюзивно рисованного шрифта, вполне можно было пропустить, например, «о» или «а» в слове «товарищи». Ещё и не такое случается в газете...

Неоднократно при мне к Виктору приходили дети или внуки тех, чьи отцы и деды погибли на войне. Нужно было увеличить или просто привести в порядок старую, чаще всего любительскую, фотографию – сделанную на фронте, а то и довоенную, порой единственную, а потому – драгоценную. К таким просьбам он всегда относился с максимальным вниманием, хотя повозиться каждый раз приходилось немало – вначале оригинал переснимался, потом полученный отпечаток ретушировался, а затем переснимался ещё раз, после чего ещё раз печатался.

Находилась в кабинете Резниченко достопримечательность, не заметить которую было просто невозможно, – стоящий у входа огромный, почти в рост человека, деревянный ящик. Хранилось в нём настоящее богатство – тассовские фотоснимки, начавшие приходить в редакцию из Москвы ещё в довоенные времена. Их – как прошедшие в газете, так и оказавшиеся «лишними» – хозяин кабинета бережно хранил, сортировал по хронологии, прекрасно понимая, что с каждым годом ценность этой фотолетописи только увеличивается. Сейчас содержимое ящика находится в госархиве.

В последнее время Виктор много занимался ретушированием идущих в газету снимков, делал эту нудную и тонкую работу тщательно, не давая себе никакой поправки.

А потом пришло то, что мы называем сегодня перестройкой. И вместе со многим нужным и хорошим «новый НЭП», к сожалению, привнёс в нашу жизнь и немало такого, что переставило куда-то на последние места уважение и бережное отношение к человеку, тактичность, понимание... Всё это заменено теперь показной тягой к «целесообразности» и «оптимизации». Уволен из «Омской правды» Резниченко был резко, грубо, без всякого предупреждения – чуть ли не в самый день своего шестидесятипятилетия. Пенсионером пробыл меньше года – инфаркт.

А я уверен, что в своей насквозь пропахшей куревом, редко проветривавшейся рабочей комнате он, «законсервиро-



Роберт
Рождественский



Иван
Петров

вавшийся» в такой обстановке, благополучно трудился бы ещё добрый десяток лет...

Проиллюстрировать этот короткий рассказ о своём многолетнем товарище хочу двумя дружескими шаржами его работы, посвящёнными писателям – Роберту Рождественскому и много писавшему о сибирской истории Ивану Петрову.



*Иван
Бухольц*

А вот этот его рисунок по мере приближения 2016 года, года трёхсотлетия нашего города Омска, будет встречаться нам в различных книгах, статьях, буклетах и баннерах всё чаще и чаще. Это «типажный» портрет-реконструкция основателя Омска – полковника Ивана Бухольца. Документальное его изображение до нас не дошло, и Виктор, изучив петровскую эпоху, в частности, литературу о военном костюме того времени, представил себе полковника именно таким.

ху, в частности, литературу о военном костюме того времени, представил себе полковника именно таким.

ЛЮБЛЮ СТАРИКОВ

Он был ещё далеко за углом, а в нашу окраинную улицу уже залетал, заворачивал его пронзительный, с подвизгом голос:

– Стекли-и-им рамы, пересте-е-екливаем! Стекли-и-им рамы, пересте-е-екливаем!..

А уж когда он выводил из-за угла свой велосипед, крик и вовсе заполнял всю улицу, переливался и множился в тонком осеннем воздухе.

Мы же, мальчишки, со всех ног бежали к нему и тоже кричали:

– Курица рябая, вороной петух! Курица рябая, вороной петух!

Странное своё прозвище стекольщик получил из-за частото употребления уникального, выражаясь научно, эффе-мизма. Будучи чем-либо сильно раздражён, удивлён и т. д., он выражал свои чувства одним и тем же странным выражением:

– Эх ты, курица рябая, вороной петух!

Прозвище прилипло к стекольщику, видимо, ещё до моего появления на свет. Так звали его мальчишки и взрослые, и я сомневаюсь, что кто-нибудь знал настоящее имя этого весёлого и лёгкого человека.

Был он, как я теперь понимаю, почти всегда вполпьяна, но хрупкую свою работу делал хорошо и споро, иначе не зазывали бы его наши матери и бабки, не наказывали бы нам:

– Ты смотри нынче Курицу Рябую не прозевай.

Нас Курица Рябая жаловал: угощал семечками и давал вести от дома к дому велосипед.

О велосипеде нужно сказать отдельно. Это была прочнейшая, судя по всему, трофейная немецкая машина с широким рулём, толстыми спицами и тяжёлой рамой. Курица Рябая не ездил на нём сам, а возил своё стекло. Здоровенный ящик со стеклом был приторочен справа по ходу велосипеда,

опорой ему служила правая педаль. Левая же была снята – и за ненадобностью, и потому что мешала: Курица Рябая всегда вёл велосипед с левой стороны, шагая рядом и крепко держа его за рога руля. Кстати, седло тоже было снято.

Вот так и ходил он каждую осень по дворам нашей окраины, готовя её к надвигающимся с севера лютым зимним холодам.

Куда потом исчез – уехал, умер ли, дожил ли свой век на пенсионных харчах?.. Кто же теперь скажет.

Нынче я сам ремонтировал квартиру. И вот, когда белил потолок и дотронулся кистью до электропроводки... Нет, меня не ударило током. Я вдруг вспомнил то, что никогда не вспоминал до сих пор, – вспомнил так чётко, будто было это не шестьдесят с лишним лет назад, а совсем недавно.

...Мне седьмой год, кончается моё последнее «вольное» лето. Маме дали путёвку на курорт, бабушка, пока мы одни, ремонтирует дом. Ремонтирует, конечно, сама – лишних денег в семье не было. В большой комнате, где спим мы с мамой, уже ободраны старые обои. Под ними открылась для меня, уже довольно-таки грамотного, бездна интересного – старые жёлтые газеты – ещё с «ятями», с рекламой французского средства от пота, паровых молотилок и швейцарских часов. Я вслух читаю в полупустой гулкой комнате всю эту белиберду, а бабушка тем временем белит стены в своей, проходной. И вдруг она громко, но не столько испуганно, сколько удивлённо кричит:

– Ох, язвило бы тебя!

Я подбегаю и вижу её изумлённое лицо. Она с опаской глядит на стену, медленно подносит к ней мочальную кисть, медленно ведёт ею вдоль тянущегося к розетке электропровода и опять кричит:

– Ой, да подь ты к Богу!

Пробило намокшую старую проводку, и бабушку бьёт током. Я, конечно, не понимаю этого, мне просто страшно и интересно одновременно. А вот бабушка, несмотря на то, что образование её завершилось в третьем классе церковно-приходской школы, оказывается, обладает стихийным знанием законов электротехники. Она обматывает ручку кисти сухой тряпкой и продолжает работать. Когда тряпка промокает, опять громко поминается либо сибирская язва, либо имя Божие всуе. Мне уже просто весело, я нетерпеливо жду очередного проявления непонятной силы, заставляющей бабушку смешно кричать. Так, под крики и мой хохот стенка добеливается...

...Мгновенно вспомнил я всё это – всё до мельчайших деталей. И неровную, потемневшую от свежей извести стену, и старомодную фаянсовую розетку, и голос бабушки – округлый, с никуда так и не девшейся после долгих лет жизни в Сибири вятской протяжечкой. И саму её – разгорячённую работой, всю устремлённую к тому, чтобы закончить, доделать.

Бабушка лежит, занесённая снегом, под жестяным своим крестиком. Домишко наш разломали и поставили на его месте новый кирпичный дом – со скрытой, должно быть, проводкой. Остался лишь я да моя память.

Почему я так люблю стариков? Почему мне нравится часами слушать их разговоры, наблюдать за ними, задавать им нехитрые вопросы?

Вот напротив меня спит на казённой леспромхозовской кровати дед-пенсионер. Он спит тихо, без храпов и вздохов. Спит как-то по-особенному трогательно, положив одна на другую крупные тёмные руки.

Старику под восемьдесят. Из украинских переселенцев – до сих пор речь его певуча и мягка. В леспромхозе давно.

Когда я спросил, кем он работал, дед помолчал немного, прежде чем ответить: «Та на разном, сынок, на разном. Что скажут, то и робил. А под конец – в гараже сторожил».

Да, хоть и разными были эти работы, но, видно, одинаково нелёгкими, – думаю я, глядя сейчас на его руки.

Старик одинок. Почему так получилось – расспрашивать неудобно. Пара чемоданов под кроватью, немного посуды, будильник, посаженная в огороде картошка, глупый пёс, который ни на кого не лает, – вот всё движимое и недвижимое.

Этот домик принадлежит леспромхозу. Он – миниатюрная гостиница. Места всего два, одно постоянно занимает старик.

Я ночую под одной крышей с ним вторую ночь, завтра будет третья. И последняя.

Чем жил этот человек? Кого любил и ненавидел? О чём думал и думает? Что могу я узнать о нём за три дня?

Старик несколько раз принимался рассказывать о каком-то парне-литовце, который работал зиму и весну вальщиком и спал на моей теперешней койке. Сейчас парень этот уехал поближе к городу. Старик всё ругал его за расточительность и безалаберность: большие рубли, как видно, пропивались парнем тотчас же после получения. Я никак не мог понять, для чего это нужно знать, пока не расспросил о бывшем соседе старика у других. Оказалось, что дед очень привязался к этому парню, относился к нему чуть ли не как к сыну, очень переживал, что деньги, заработанные таким тяжёлым трудом, уходят в песок.

Скучает дед, сказали мне, скучает. Написал литовец: мол, может быть, осенью приеду, так он чуть ли не каждую машину с пристани ходит встречать.

Завидую я ему, завидую.

Случайно попал я к незнакомым людям на семейный праздник – двадцатипятилетие внука хозяев дома. Внук приехал к ним из города на отпускное время. Дело было в старинном сибирском селе Евгашине под Омском.

Сели за стол. А на столе этом чего только нет! И вот собрались уже поздравлять именинника, а хозяйка, маленькая сгорбленная старушка, встала и ушла куда-то. Оказывается, в погреб, за груздями. В погребе у неё своя, особенная система расстановки, и туда она никого не пускает.

Ждут гости – в основном её взрослые дети, зятя и невестки – ждут и рассуждают, что стара стала мама, память слабеет, вот те же грузди давно можно было бы на стол поставить.

Как раз на последних словах хозяйка вернулась.

«Правильно, – говорит, – можно было и раньше поставить. Можно, да не нужно. Запомните, девки, – за груздём тогда полезайте, когда гость уже за столом».

И ставит чашку на стол: грузди беленькие – один к одному. Я таких и не видел, хотя и переел их за жизнь свою немало. Оказывается, темнеют грузди, если их заранее из погреба принести, уже через полчаса темнеют. Нетоварный, так сказать, вид приобретают.

И узнал я на том дне рождения, что к хозяйке за её кулинарными тайнами аж из города приезжают. Да, как видно, не все эти тайны ещё увезли.

Чокались мы за тем столом – и раз, и другой, и третий, и... Только напрасно старались. Не взяло.

Помню, в большом приволжском селе, куда нас, первокурсников, направили на уборочную, мне и моему напарни-

ку отравлял жизнь один дед. Нас поставили работать возчиками. В первый раз конюх, сказав «запоминайте», запряг лошадей сам. Запрячь лошадь в телегу – целая наука, и что могли запомнить после одного урока мы, всю жизнь топтавшие асфальт?

Когда на следующее утро мы пришли на конюшню, там уже сидел этот дед. Хомуты не желали налезать на лошадиные головы, оглобли перекашивались, у нас не было сноровки затянуть супонь, лицевую часть дуги мы путали с задней. Смирные в общем-то лошади пятились, храпели, выплёвывали удила, пытались лягнуть. А всё это сопровождалось издевательскими комментариями деда.

На другой день мы специально явились чуть свет, отказавшись от завтрака. Но не тут-то было: дед уже находился на посту.

– Куды ж ты чересседельник-то суёшь, недоумок?! – кричал дед. – Не знаешь, так не мучай животную! Понасылали работников, мать вашу так! И чему вас там только учат, в ваших ниверситетах?!

Ненавидели мы, конечно, этого старика люто. А за что? Ведь уже на четвёртый раз я и мой товарищ вполне сносно справились с упряжью. И на пятое утро дед не пришёл. Так больше я его и не видел.

2011–2013 гг.

Александр Эрахмиезович ЛЕЙФЕР родился в Омске в 1943 году в семье педагогов. Окончил отделение журналистики историко-филологического факультета Казанского университета. Печататься начал в 1962 г. в университетской многотиражной газете «Ленинец» и казанской республиканской газете «Комсомолец Татарии». Начиная с 1967 г., работал в СМИ Омска.

Участвовал в областных семинарах молодых авторов (1970 и 1972), семинаре очеркистов Сибири (Новосибирск, 1976), Всероссийском семинаре молодых литературных критиков (Подмосковье, Малеевка, 1977).

В начале 80-х годов стал одним из основателей Омского Литературного музея им. Ф.М. Достоевского.

Автор художественно-документальных книг «"Сибири не изменю!.." Страницы одной жизни» (о П.Л. Драверте. Новосибирск, 1979), «Прошлое в настоящем. Очерки» (Омск, 1984), «"...Буду всегда жива". Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях» (Омск, 1987), «Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках» (Омск, 1989 – первая премия Омской областной организации Союза журналистов СССР и Омского филиала Российского фонда культуры), «"Вокруг Достоевского" и другие очерки» (Омск, 1996 – премия Администрации Омской области «За развитие культуры и искусства»), «Мой Вильям. Эпизоды литературной жизни» (Омск, 2003 и 2006), «"На добрый вспомин..." К портрету А.Ф. Палашенкова» (Омск, 2005), «"Разгадать замысел Бога..." Из жизни российского учёного Александра Николаевича Горбаня» (Омск, 2006), «Блог-пост, или Кровь событий» (Омск, 2012) и др.

Член редколлегий альманаха «Лёд и пламень» (Москва) и журнала «День и Ночь» (Красноярск), редактор альманаха «Складчина» (Омск). С 1993 г. председатель Омского отделения Союза российских писателей. На IV съезде СРП (2009 г.) избран одним из сопредседателей СРП. Заслуженный работник культуры РФ. Член русского ПЕН-клуба.

СОДЕРЖАНИЕ

Вадим Физиков. Талант задушевной памяти	3
---	---

НА ДОБРЫЙ ВСПОМИН

Ларец поручика Каландера	8
Библиотечные преступники	16
Верить в душе (Из семейных историй).....	31
Перед рассветом	50
Плетнёв и Горбунов (Летние беседы из 98-го года)	57
Заметки с трёх письменных столов.....	83
Мой Вильям (Эпизоды литературной жизни)	102
«На добрый воспомин»	235
Три школьных здания энд «Жара»	288
Жить вместе... (Из разных блокнотов).....	296

Я – БЛОГЕР

Голубые глаза лошади.....	312
Что такое Худпром?	323
Саша (Эссе с хорошим постскриптумом).....	328
Возвращение имени	334
Парадоксы Ефима Беленького	338
«В наше смятённое время»	350
Делай, что должен.....	352
К своим Вятским Полянам.....	358
«Сколько таких дней...».....	363
Спасение от дурных законов.....	369
Вспомним Виктора Николаевича	372
Люблю стариков.....	376
Об авторе.....	382

Фото на обложке Левона Осепяна (Москва)

Литературно-художественное издание

Александр Эрахмиевич Лейфер
ЖИТЬ ВМЕСТЕ
Избранные очерки и эссе

Редактор О.Г. Даниленко
Корректор Л.В. Давыдова
Компьютерная вёрстка Е.А. Пичугиной

Подписано в печать 13.12.2013.
Формат 84x108/ 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 17,91.
Тираж 500 экз. Заказ № 223630.

Отпечатано в типографии
ООО «Омскбланкиздат»
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34
тел. (3812) 212-111
www.omskblankizdat.ru

